

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2016

№ 6 (44)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Журнал индексируется в БД Scopus и включен в «Перечень
рецензируемых научных изданий, входящих в международные
реферативные базы данных и системы цитирования, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук», Высшей аттестационной комиссии

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

*Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)

M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Гричин С.В., Демешкина Т.А. Авторизация в тексте научного произведения: когнитивно-дискурсивный аспект.....	5
Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В. Трансформация сибирской пищевой традиции в дискурсе диалектной языковой личности: продукты и блюда.....	20
Кондратьева О.Н. «Словарь политических терминов в СМИ» как новый лексикографический продукт	38
Нагель О.В. Функциональная специфика производных имен синкретичной зоны русского словообразования	50
Тубалова И.В. Инодискурсивные речевые формы в личностно-ориентированном диалектном тексте	68

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Анисимов К.В. Пасхальные мотивы в рассказе И.А. Бунина «Легкое дыхание»	83
Мельникова С.В., Крючкова Т.А. Биобиблиографический словарь православных духовных писателей Восточной Сибири второй половины XIX – начала XX в. как теоретическая и методологическая проблема.....	95
Пенская Е.Н. Синтез жанров в драматической трилогии А.В. Сухова-Кобылина «Картины прошедшего».....	112
Турышева О.Н. Между виной и состраданием: штрихи к портрету князя Льва Николаевича Мышкина.....	128

ЖУРНАЛИСТИКА

Жилякова Н.В., Шевцов В.В. Журнал «Товарищ» (1911/12 г.): опыт разработки типологической модели издания для учащейся молодежи в журналистике Томска начала XX в.	139
Серебряков А.А., Лепилкина О.И., Серебрякова С.В. «Berliner Abendblätter» Генриха фон Клейста в контексте эпохи: к вопросу о формировании профессиональной журналистики в Германии	154
ПАМЯТИ А.С. ЯНУШКЕВИЧА	167
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	169

CONTENTS

LINGUISTICS

Grichin S.V., Demeshkina T.A. Evidentiality in the text of a research work: a cognitive-discursive aspect	5
Gyngazova L.G., Ivantsova E.V. Transformation of the Siberian food tradition in the discourse of a dialect language personality: products and dishes	20
Kondratyeva O.N. <i>The Dictionary of Political Terms in the Media</i> as a new lexicographical product	38
Nagel O.V. Functional specificity of Russian nominal derivatives referring to a syncretic zone of the Russian language word-building system	50
Tubalova I.V. Speech forms of other discourses in the personality-oriented dialect text	68

LITERATURE STUDIES

Anisimov K.V. Paschal motifs in Ivan Bunin's "Light Breathing"	83
Melnikova S.V., Kryuchkova T.A. The bio-bibliographic dictionary of Orthodox spiritual writers of Eastern Siberia of the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries as a theoretical and methodological problem	95
Penskaya E.N. Synthesis of genres in the drama trilogy <i>Scenes of the Past</i> by A.V. Sukhovo-Kobylin	112
Turysheva O.N. Between guilt and compassion: strokes to the portrait of Prince Lev Nikolaevich Myshkin	128

JOURNALISM

Zhilyakova N.V., Shevtsov V.V. The magazine <i>Tovarishch</i> (1911/12): an experience of the development of a typological model of a periodical for pupils in Tomsk journalism at the beginning of the 20th century	139
Serebriakov A.A., Lepilkina O.I., Serebriakova S.V. Heinrich von Kleist's <i>Berliner Abendblaetter</i> in the context of the epoch: on the formation of professional journalism in Germany	154

ALEKSANDR YANUSHKEVICH. IN MEMORIAM	167
--	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	169
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/44/1

С.В. Гричин, Т.А. Демешкина

АВТОРИЗАЦИЯ В ТЕКСТЕ НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ

В статье представлен анализ категории авторизации на материале научного дискурса. Авторизация исследуется с позиций когнитивно-дискурсивного подхода, в рамках которого описывается ее роль в реализации авторского замысла и маркировании реализуемых в тексте познавательных операций и прагматических установок, раскрывается взаимодействие с категорией определенности / неопределенности, выявляется осложнение смыслодержательной структуры научного текста авторизационными смыслами.

Ключевые слова: авторизация, научный дискурс, текст, когнитивно-дискурсивный подход, анализ.

Обращение к когнитивно-дискурсивному анализу авторизации в научном дискурсе обусловлено, во-первых, общим поворотом лингвистики в сторону исследования когнитивной обусловленности языковых явлений; во-вторых, тем, что авторизация воплощается в тех языковых структурах, с помощью которых во многом осуществляется хранение, переработка и репрезентация научного знания. Кроме того, уточнение содержания таких понятий, как текст и дискурс, имеющих в настоящее время целый ряд различных определений, представляется невозможным без вовлечения в анализ образующих их языковых категорий и единиц, что определяет необходимость когнитивно-дискурсивного изучения текстостроительных функций авторизации.

Синтез когнитивного и коммуникативного подхода, прагматически-ориентированного при изучении категории авторизации, позволяет выйти за пределы рассмотрения этого явления как сугубо личностного, связанного с личностно-психологической рефлексией субъекта, и причислить его к явлениям, объективно обусловленным реализацией (воплощением) в текстотворчестве мыслительных процессов. С целями нашего исследования, заключающимися в многоаспектном описании авторизации, согласуется и характерная для когнитивно-дискурсивных исследований практика многофакторного анализа изучаемого явления, связанная с реализацией принципа системности, когда рассматриваемое явление описывается как по месту его в самой языковой системе, так и относительно более высоких систем [1. С. 9].

Применительно к авторизации такими системами оказываются одновременно текст и дискурс. Как мы уже отмечали, текстостроительный потенциал авторизации можно рассматривать с чисто прагматических позиций [2], основываясь на интерпретации авторских интенций и сопоставляя их с коммуникативно-прагматической и смыслодержательной структурой научного

текста. Когнитивные же аспекты авторизационных показателей, раскрывающие причины их экспликации, лежат в плоскости когнитивно-дискурсивного анализа. Когнитивно-дискурсивный подход к анализу авторизации, как и речевых процессов вообще, дает возможность исследовать глубинные закономерности текстопорождения. Вероятно, можно также утверждать, что поскольку основной задачей научного дискурса как институционального образования является обработка (передача) научной информации, роль авторизации как способа маркирования и, очевидно, экспонирования в речи (тексте) когнитивных действий становится особо значимой. При этом экстралингвистическая основа дискурса принимается во внимание «для того, чтобы объективируемая в языке форма удовлетворяла требованиям дискурса и оказалась удобным средством коммуникации» [3. С. 326], а также для понимания того, почему рассматриваемые показатели адекватны объективированной в тексте информации [4. С. 140].

Авторизация, рассматриваемая с позиций когнитивно-дискурсивного подхода, предстает перед исследователем как речевое средство, маркирующее в тексте элементы когнитивно-дискурсивной деятельности автора-ученого, состоящей в воплощении в тексте формирующегося знания, структурированного в соответствии с авторской концепцией, картиной мира и погруженного в эпистемические условия его порождения. Когнитивно-дискурсивная деятельность, рассматриваемая через призму авторизации, с объективной стороны заключается в сопровождении смылосодержательной структуры текста авторизационными смыслами, «привязанными» вместе с научным дискурсом к научным фактам и событиям, к определенной дискурсивной ситуации, а с субъективной, в идиостилистической реализации – в авторской аранжировке этих смыслов и индивидуально-авторском отборе авторизационных средств, характеризующем его как языковую личность. Для научного текста когнитивно-дискурсивная деятельность связана с отражением в нем научного содержания и основана на дискурсивной ситуации, определяемой набором экстралингвистических факторов. Текст научного произведения выступает в качестве результата дискурсивной деятельности ученого.

На продуктивность применения когнитивно-дискурсивного подхода в процессе анализа научного текста указывает С.В. Ракитина, отмечающая результативность такого анализа по целому спектру направлений. Данный подход позволяет: 1) представить научный текст как когнитивную сущность, вербализованный продукт познавательной деятельности человека; 2) выявлять показатели различных способов подачи информации; 3) анализировать соотношение понятий «стиль мышления ученого» и «стиль выражения мысли ученого»; 4) рассматривать научный текст в рамках лингвосемиотики с учетом закономерностей порождения и восприятия; 5) видеть в конкретном научном тексте результат дискурса ученого; 6) выяснять, в каких речевых структурах (формах) отображается информация (знание) о внеязыковой деятельности и др.» [5. С. 35].

Методология когнитивно-дискурсивного описания авторизации базируется не столько на характере используемых языковых единиц (как при функционально-стилистическом описании), сколько на интерпретации самого факта их экспликации с учетом смылосодержательного и коммуникативно-

прагматического аспектов. Следует вкратце остановиться на том, что обращение к когнитивно-дискурсивному аспекту изучения авторизации связано с особенностями используемого для анализа языкового материала, т.е. той базы, на которой строится исследование. Как известно, авторизация была введена в лингвистический оборот как категория «предложенческая» и своим выходом на уровень текста обязана функционально-стилистическим и коммуникативно-прагматическим исследованиям, в которых рассматривалась ее текстопорождающая функция, взаимодействие авторизационных конструкций разных предложений между собой, роль авторизации в генерировании аддитивных смыслов и др. [2, 6]. Очевидно, что дискурсивный аспект функционирования авторизации должен рассматриваться на качественно иной основе – на основе дискурса.

Рассмотрим, в чем же заключается дискурсивная сторона авторизации, какой эвристический потенциал заключается в дискурсивном ее рассмотрении и в чем ее отличие от текстовой и стилистической сторон.

Следует отметить, что переход от «предложенческого» уровня анализа авторизации к текстовому связан прежде всего с возможностью включения в него большего количества аспектов рассмотрения. Тот факт, что «текст представляет собой сложное, многоуровневое образование, в равной мере принадлежащее как системе языка, так и системе речи, и определяется как сложная единица более высокого порядка, являющаяся продуктом и процессом речевой деятельности» [7. С. 40], переводит описание авторизации на принципиально иной (текстовый) уровень, вовлекает в анализ смысловое взаимодействие авторизационных конструкций в тексте между собой, в результате чего обнаруживаются явления ступенчатой организации конструкций, авторизационной рамки и, шире, выделение в смылосодержательной структуре текста авторизационных блоков [8].

Выход на уровень текста позволил осуществить комплексное описание феномена авторизации, поскольку, по словам Е.С. Кубряковой, «текст – это событие и семиотическое, и лингвистическое, и коммуникативное, и когнитивное и т.д.» [9. С. 23]. Авторизация обнаруживает все перечисленные составляющие: знаковую, выражающуюся в оппозиции импликации / экспликации конструкции и реализующуюся в последнем случае в конкретных языковых формах, коммуникативную, выражающуюся в реализации коммуникативного намерения в ситуациях общения, и, наконец, когнитивную, связанную с экспликацией в тексте (речи) конструкций авторизации в связи с реализующимися в тексте ментальными операциями автора. Научный текст, выступающий «в качестве продукта актуализированного процесса функционирования языка в специфической сфере научной деятельности и общения» [10. С. 6], представляет собой такой материал для исследования авторизации, который «высвечивает» разные стороны ее проявления и в значительной степени реализует аппликативный потенциал методик анализа рассматриваемых языковых единиц.

Переходя от описания текстового анализа авторизации к дискурсивному, отметим существующие в настоящее время различия в понимании текста и дискурса вообще и научного текста и дискурса в частности, а также выявим сходства и различия текстового и дискурсивного подходов к изучению авто-

ризации. Следует принять во внимание также взаимообусловленность текста и дискурса, заключающуюся в том, что дискурс – это текст «в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами» [11. С. 136]. Важной чертой дискурса в рамках нашей концепции, учитывая функцию маркирования авторизацией эксплицирующихся в тексте ментальных действий автора и прагматической ситуации, является то, что он «обращен одной своей стороной к прагматической ситуации, а другой – к ментальным процессам участников коммуникации, к стратегиям порождения и понимания речи в тех или иных условиях, определяющих соотношение нового и известного, эксплицитного и имплицитного в содержании конкретных текстовых форм» [10. С. 22].

В фокусе исследования в данной работе находятся когнитивно-дискурсивные проявления категории авторизации, рассматриваемые на материале научного дискурса. Как уже было отмечено, когнитивно-дискурсивный подход предполагает многофакторный анализ языковых единиц, осуществляемый в несколько этапов:

1. Определение роли авторизации в реализации авторского замысла, заключающееся в том, чтобы выявить отношение субъективированных / объективированных форм авторизации к предмету высказывания в рамках выделенной микротемы, определить связь авторизации с положительной / отрицательной оценкой данной микротемы, в результате чего формируется несколько моделей с разными типами оценочности.

2. Определение отношения авторизации к категории определенности / неопределенности, кванторами которой являются дейктические местоимения с указательной функцией (указательные местоимения); имена собственные; обстоятельственные актуализаторы (грамматические и семантические): прилагательные и наречия с семантикой определенности, числительные, (локативы, темпоративы и т.д.), а кванторами неопределенности являются языковые единицы с противоположным значением. Соотношение кванторов определенности / неопределенности в модусно-диктумной организации предложения, связанное с экспликацией авторизационных конструкций двух типов (авторизованные и неавторизованные предложения), также можно представить в виде следующих моделей, где М – модус, Д – диктум, О – определенность, Н – неопределенность, «/» – граница между модусом и диктумом: 1) МО / ДО; 2) МН / ДН. Несмотря на то, что данная формула демонстрирует зависимость кванторов определенности и определенности модуса и диктума друг от друга на уровне предложения, т.е. в рамках модусно-диктумной его организации, выявление преобладающего типа отношений в тексте может, при достаточном объеме исследованного материала, характеризовать и дискурс.

3. Маркирование реализуемых в тексте познавательных операций, обуславливающих соответствующий контекстуальный эффект. На данном этапе анализа выявляется реализация следующих операций и результирующих эффектов: «выбор» («выделение»), «подтверждение», «аналогия», «противопоставление», «ограничение» и «обобщение».

4. Определение типа прагматической установки авторизованного высказывания. Для научного дискурса на основе методики, описанной в [12],

выделяются следующие прагматические установки: прогностическая, делимитативная, компенсирующая, экземпликативная, текстооформляющая, установка «обращение к невербальным средствам воздействия».

Перечисленные этапы, отражающие различные аспекты проявления авторизации, находят свое выражение в представлении об авторизации как когнитивно-дискурсивной модели, являющей собой «синкретичное, многоуровневое единство выраженных авторизацией смыслов, основанных на коммуникативном намерении автора, отражающих лежащие за ним ментальные операции, связанные с обработкой и фиксацией в тексте научного знания» [6. С. 5].

Для комплексного анализа авторизации на материале научного дискурса мы остановили свой выбор на статье «Первые российские грамматики английского языка: содержание, предъявление материала, методы» авторов Е.А. Брылиной и О.Г. Сидоровой [13].

В качестве первого шага анализа, в соответствии с выбранной последовательностью, опишем роль авторизации в реализации авторского замысла. Отметим, что возможность анализа авторского замысла, понимаемого как выраженная задача, решению которой посвящен текст, и связи такого замысла с авторизацией обусловлена интегративностью текста, благодаря которой все части текста, включая авторизационные конструкции, связаны между собой и взаимообусловлены.

Реализация авторского замысла рассматривается прежде всего через композиционное устройство текста, в котором в начальной части (среди авторизованных предложений) преобладают отрицательные оценки в смысловом и прагматическом аспекте рассматриваемых грамматик. Оценка содержится в диктумной части предложений, поэтому для ее определения необходим их смыслосодержательный анализ. *По мнению В. Татищева, несмотря на тот факт, что «губернаторы и воеводы везде переводчиков и толмачей довольно имеют», сложно говорить о хорошем качестве переводов, так как «грамматики, без которой переводчику никак правильно переводить невозможно, ни один не знает»; 2) В данной работе он также констатирует, что русские «лексикона и грамматики достаточной не имеют»; 3) Подобную картину рисует и историк Ф.Ф. Веселаго. Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1939 г., когда в собственность академии поступили книги на разных иностранных языках, «кроме Латинских, Английские, Голландские, Немецкие и Французские книги; то для них сейчас начали искать переводчиков: но для последних трех языков и «наймом не нашли». По мнению Э. Кросса, грамматика М. Пермского «была совсем не приспособлена к особенностям России и представляла собой попросту прямой перевод английского оригинала».*

Примером перехода от отрицательной оценки к положительной, отражающей композиционное построение текста, основанное на хронологическом отслеживании выходящих в свет английских грамматик, служит следующее авторизованное высказывание: *В монографии «Очерк истории языкознания в России» С.К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в., отмечает, что «скудность пособий начинает уступать место сравнительному обилию по некоторым языкам».* Оно отражает динамику развития авторского замысла, заключающегося, очевидно, в том, чтобы пока-

зать, что с течением времени ситуация с изданием качественных грамматик меняется в лучшую сторону. Анализ диктумной семантики последующих авторизованных предложений позволяет выявить изменение характера оценок грамматик, они постепенно меняются на положительные. *Он указывает также на то, что в рассматриваемый период «появляется довольно богатая литература важнейших школьных пособий по древним и новым языкам (грамматики, словари и хрестоматии). Предполагается, что учащийся видит, как переводится та или иная фраза в отдельности, какую грамматическую конструкцию необходимо использовать в данном тексте...».*

Вне композиционной обусловленности располагаются авторизованные высказывания с квалифицирующей семантикой и нейтральной оценкой рассматриваемых объектов и событий в рамках микротемы «грамматики». Они представляют собой квалификацию отдельных аспектов и свойств грамматик, без которой, очевидно, невозможно создание целостного представления об описываемом предмете. *М. Пермский пишет, что «грамматика есть наука о буквах, или знание писать и говорить исправно и правильно». Согласно П. Жданову «грамматика есть наука показывающая свойственное мыслей изображение словами». Жданов отмечает, что «поелику из слов составляется речь, слова из слогов, а из букв слоги, то и грамматику можно разделить на 5 частей». По П. Жданову, «сочинение есть часть грамматики, которая учит, что надлежит порядочно располагать». По мнению И.Е. Грузинова, «английская грамматика есть наука говорить и писать правильно по-английски».*

Интерпретация авторского замысла становится полнее, если включить в него высказывания, содержащие показатели категории, взаимодействующей с авторизацией, – метатекстовые показатели [14. С. 60–83]. Субъектом речи в этих высказываниях выступает сам автор. В рассматриваемой нами статье три высказывания, посвященные грамматикам, содержат метатекст. Одно из них связано с положительной оценкой (*В целом мы можем констатировать, что учебник М. Паренаго представляет огромный интерес, так как он является прообразом первых отечественных грамматико-переводных пособий по иностранным языкам*), другое – с нейтральной (*Систематизируя состав и композицию рассмотренных в статье пособий, мы видим, что основной их объем занимает пространная теоретическая часть*) и третье – скорее с отрицательной (*Отметим также, что, несмотря на название «учебник», зачастую в предисловии («предуведомлении») авторы используют следующий синонимический ряд: руководство, пособие, «сочинение, содержащее полное наставление» (И. Грузинов), реже – грамматика*).

Из приведенного материала видно, что авторизованные высказывания начальной части статьи, в которой описываются первые изданные грамматики, содержат в диктуме преимущественно отрицательную характеристику. При переключении фокуса внимания автора на поздние издания эта оценка становится более нейтральной и постепенно смещается в сторону положительной. Нейтральные оценки, касающиеся не столько изданных грамматик, сколько желаемых их характеристик либо определения идеальной грамматики, служат, очевидно, «фоном» при описании процесса совершенствования подходов к их созданию. Положительная авторская оценка учебника М. Паренаго,

вероятно, маркирует замеченный исследователями резкий скачок качества издаваемых грамматик, а нейтральную и отрицательную оценки, представленные единично, следует, видимо, считать нерепрезентативными для аргументированного заключения.

Таким образом, намерение автора продемонстрировать динамику качественных изменений объекта реализуется через переход от отрицательных оценок к положительным, выраженный композиционно. Этой же цели служат и метатекстовые показатели, маркирующие в тексте динамику авторского замысла.

Переходя к анализу выраженности категории определенности / неопределенности через авторизацию в рассматриваемом тексте, отметим, во-первых, что наиболее распространенной является ситуация, когда авторизованные высказывания демонстрируют как определенность (*по нашему мнению*), так и неопределенность (*остается непонятным, почему*) в отношении источника информации, в то время как неавторизованные высказывания в основном указывают на его определенность. Во-вторых, содержание категории определенности / неопределенности содержит когнитивный аспект, связанный со свойствами той объективной действительности, которую высказывание отражает, т.е. с логическим содержанием описываемого факта действительности, а также аспект коммуникативный, связанный с элементами значения, которые не могут быть сформулированы [15. С. 139].

Наша методика определения значений определенности / неопределенности у авторизации базируется на выявлении в модусной и диктумной частях высказывания языковых средств, использующихся для осуществления определенной (конкретной, идентифицирующей) референции, к которым мы относим дейктические местоимения с указательной функцией (указательные местоимения), имена собственные, обстоятельственные актуализаторы (грамматические и семантические), прилагательные и наречия с семантикой определенности, числительные (локативы, темпоративы и т.д.). Кванторами неопределенности считаем языковые единицы с противоположным значением. Таким образом, предлагаемая методика заключается в анализе того, каким образом авторизованность / неавторизованность модусной части высказывания влияет на определенность / неопределенность описания «ситуации», «положения дел» в диктумной части и в конечном итоге на семантическую организацию высказывания в целом. Выявляемое соотношение кванторов определенности / неопределенности в рамках модусно-диктумной организации предложения можно представить в виде моделей: 1) МО / ДО; 2) МН / ДН, где М – модус, Д – диктум, О – определенность, Н – неопределенность, «/» – граница между модусом и диктумом.

Несмотря на то, что данный уровень анализа авторизации является «предложенческим», экспликация преобладающего типа модели выражения категории определенности / неопределенности на уровне текстовой реализации отражает специфику текста. Поскольку предмет исследования в рассматриваемой статье освещается в исторической перспективе, то это предопределяет преобладание моделей, включающих сочетание

определенного источника информации, выраженного, как правило, именем собственным, численными показателями и временными локализаторами: **По мнению А.М. Сафроновой, в первой половине XVIII в.** «не было более страстного пропагандиста пользы изучения иностранных языков, чем В.Н. Татищев». Подобную картину рисует и историк **Ф.Ф. Веселаго. Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г.,** когда в собственность Академии поступили книги на разных языках... В монографии «Очерк истории языкознания в России» С.Б. Кулич, описывая ситуацию **второй половины XVIII в.,** отмечает, что «скудность пособий начинает уступать место сравнительному обилию по некоторым языкам». В Уставе народных училищ, **утвержденном в Российской империи 5 августа 1786 г., было прописано, что** «таковые заведения существовать должны во всех губерниях и наместничествах Российской империи». **Согласно Уставу обучение в 3-м классе во втором полугодии** предусматривало «изучение Российской Грамматики с упрощениями в правописании». **Подчеркнем: именно фонетическим особенностям английского языка посвящена изданная И.Е. Грузиновым первая часть пособия.** Вероятно, во второй части планировалось рассмотрение других составляющих грамматики, но, **согласно В.С. Сопикову, «часть вторая не выходила».**

Следующий этап анализа, заключающийся в выявлении того, какие познавательные операции маркируются авторизационными показателями, обуславливающими соответствующий контекстуальный эффект, связан с идеей о том, что смена авторизационного ключа, представляющая собой дискурсивное действие и переход к новому источнику информации либо переход от авторизованного высказывания к неавторизованному (или наоборот), одновременно маркирует совершаемую автором мыслительную операцию (познавательное действие). Операции могут быть связаны с выбором (выделением) какого-либо объекта, противопоставлением объектов, проведением аналогии между ними, подтверждением информации, а также ограничением (лимитацией) понятия и обобщением.

В рассматриваемом тексте авторизационные конструкции маркируют все перечисленные выше действия, за исключением аналогии:

1. Выбор (выделение): **Он акцентирует внимание на том, что** «всякому шляхтичу надобно думать какой-либо знатной чин достать и потом или самому для услуги государственной в чужие края ехать или в России иметь с иноязычными обхождение».
2. Противопоставление: **По мнению В. Татищева, несмотря на тот факт, что** «губернаторы и воеводы везде переводчиков и толмачей довольно имеют», сложно говорить о хорошем качестве переводов, так как «грамматики, без которой переводчика никак правильно переводить невозможно, ни один не знает. Вероятно, во второй части планировалось рассмотрение других составляющих грамматики, но, согласно В.С. Сопикову, «часть вторая не выходила».
3. Подтверждение: В данной работе **он также констатирует, что русские «лексикона и грамматики достаточной не имеют».** Подобную картину рисует и историк **Ф.Ф. Веселаго. Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г., когда...**

4. Ограничение: *Согласно П. Жданову «грамматика есть наука показывающая свойственное мыслей изображение словами.*

5. Обобщение: *В целом мы можем констатировать, что учебник М. Паренаго представляет огромный интерес, так как он является прообразом первых отечественных грамматико-переводных пособий по иностранным языкам.*

Количественно преобладающими в тексте являются познавательные операции, связанные с противопоставлением, что объясняется авторским замыслом и экстралингвистическими причинами: критический обзор первых изданных грамматик связан со сравнением и противопоставлением их друг другу.

Переходя к следующему этапу когнитивно-дискурсивного анализа авторизации, т.е. выражаемой ею прагматической установки, отметим облигаторность этой функции. В трактовке прагматической установки мы опираемся на работу Е.М. Крижановской, выделившей ряд свойственных научному тексту ее разновидностей, из которых следующие могут приходиться на авторизационные конструкции: компенсирующая прагматическая установка (КПУ), текстоформирующая (ТПУ), прагматическая установка «обращение к невербальным средствам воздействия» (НСВ), оценочная (ОПУ) [12]. Поскольку рамки данной статьи не позволяют нам описать каждое из авторизованных высказываний рассматриваемого текста, ограничимся указанием на реализуемые некоторыми из приведенных выше в разделе о познавательных действиях авторизованными высказываниями о прагматических установках. Так, высказывание, реализующее мыслительную операцию «обобщение», выражает одновременно оценочную прагматическую установку (ОПУ), остальные (подтверждение, ограничение, противопоставление, выбор) – компенсирующую (КПУ).

С реализацией авторской целеустановки связано появление в тексте авторизационных блоков (АБ), представляющих собой маркированные авторизующей конструкцией дискретные единицы текста. Границы определяются по формальным критериям (маркированностью авторизующей конструкцией, номинацией источника передаваемой информации) и содержательным (смена микротемы, коммуникативно-прагматической установки и тематическая однородность текстового отрезка).

В рассматриваемой статье встречаются следующие типы АБ:

1. «Определение содержания термина» (один из высокочастотных АБ). *Согласно П. Жданову «грамматика есть наука показывающая свойственное мыслей изображение словами». ...По П. Жданову, «сочинение есть часть грамматики, которая учит, как надлежит порядочно располагать». По мнению И.Е. Грузинова, «английская грамматика есть наука говорить и писать правильно по-английски». М. Пермский пишет, что «грамматика есть наука о буквах, или знание писать и говорить исправно и правильно.*

2. «Императив». Он акцентирует внимание на том, что «всякому шляхтичу надобно думать какой-либо знатный чин достать и потом или самому для услуги государственной в чужие края ехать, или в России иметь с иноязычными обхождение. В Уставе народных училищ, утвержденном в Российской Империи 5 августа 1786 г., было прописано, что «таковые заведения

существовать должны во всех Губерниях и наместничествах Российской Империи». Далее он подчеркивает необходимость «научиться правильно, порядочно и внятно говорить и писать». На страницах учебника автор проводит мысль о необходимости изучать иностранные языки с помощью носителя языка, принимая в внимание особенности его выговора: «Надобно замечать выговор у самих Англичан, у искусного учителя или выправляться в лексиконе».

3. «Описание свойств объекта». По мнению Э. Кросса, грамматика М. Пермского «была совсем не приспособлена к особенностям России и представляла собой попросту прямой перевод английского оригинала». Автор еще раз отмечает, что по произношению английский «один из труднейших языков Европейских. Данной точки зрения придерживается и С.К. Булич, характеризующий пособие М. Пермского как «простой перевод английского грамматического учебника».

4. «Апелляция к факту». Подчеркнем, именно фонетическим особенностям английского языка посвящена изданная И.Е. Грузиновым первая часть пособия.

5. «Обработка информации». Вероятно, во второй части планировалось рассмотрение других составляющих грамматики, но, согласно В.С. Сопикову, «часть вторая не выходила».

Следующий этап описания авторизации заключается в интерпретации выраженных в авторизованных высказываниях субъектных компонентов речи (СКР). Вслед за Н.К. Рябцевой мы выделяем следующие СКР: метауровневость, т.е. противопоставленность субъектных компонентов речи объектным и фактуальной информации – ее интерпретации; синкретичность как способность компонента речи присутствовать в высказывании в неявном виде; конситуативность как осознание текущей ситуации общения; интенциональность как указание источника используемой информации; супрасегментность как способность создавать дополнительные смыслы [16].

Для анализа СКР возьмем следующий авторизационный блок из статьи: В монографии «Очерк истории языкознания в России» **С.К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в., отмечает, что «скудность пособий начинает уступать место сравнительному обилию по некоторым языкам». Он указывает также на то, что в России в рассматриваемый период «появляется довольно богатая литература важнейших школьных пособий по древним и новым языкам (грамматики, словари и хрестоматии).**

Метауровневость авторизации заключается в данном отрезке в том, что автор, описывая сложившуюся в указанный период ситуацию с учебным материалом, вкладывает эту информацию в уста исследователя С.К. Булича, в результате чего объективность ситуации преломляется через субъективность отдельного исследователя. Синкретичность, представленная двумя конструкциями (С.К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в., отмечает и Он указывает также на то), складывается из двух когнитивных действий: восприятия ситуации и ее оценки как улучшающейся. Конситуативность в блоке определяется контрастированием двух временных планов: второй половины XVIII в. и временем написания статьи (2015 г.) при одновременном осознании авторами этого сопоставления, а также местом данного блока в

описании ситуации: блок встраивается в ряд комментариев других исследователей о том же периоде, эти высказывания включают авторизационные конструкции *По мнению В. Татищева; В данной работе он также констатирует; Подобную картину рисует и историк Ф.Ф. Веселаго; Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г.* Подобный ряд высказываний, объединенный общей целевой установкой и вводящий тематически однородное содержание, как правило, приводит к ситуации, когда в данном отрезке текста актуализируется какой-то новый объект (событие, ситуация). В описываемом блоке такой новой ситуацией является изменение к лучшему (*скудность пособий начинает уступать место сравнительному обилию, появляется довольно богатая литература*), фиксируется качественный переход к новому этапу в разработке пособий.

Об интенциональности было достаточно сказано выше, поэтому здесь ограничимся указанием на то, что сама экспликация авторизационных показателей, обусловленная выбором источника информации автором текста, служит определенным маркером авторской тактики и стратегии в достижении цели текста. Что касается супraseгментности, то, поскольку фонетическая составляющая языковых явлений, как правило, не является дискурсивно значимой для языка науки, этот элемент значения следует признать невыраженным.

Завершающий этап когнитивно-дискурсивного освещения авторизации в рамках нашей концепции представляет собой характеристика стилистической стороны авторизующих средств, которые могут описываться с точки зрения соответствия их нормам определенного стиля, наличия стилистической маркированности, т.е. тех свойств, которые делают авторизацию дифференцирующим признаком научного стиля.

На лексическом уровне стилистической организации авторизации можно отметить следующие характеристики. Источниками, вводящими информацию (авторизаторами), являются действующие в науке субъекты, обусловленные спецификой научного освоения действительности (*В.Н. Татищев неоднократно указывает...; В «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах» он обосновал...; В Уставе народных училищ, утвержденном в Российской Империи 5 августа 1786 г., было прописано, что...; В монографии «Очерк истории языкознания в России» С.К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в., отмечает...; В тексте учебника встречаются авторские комментарии... и др.*). При этом номинации источников со значением ложности, неточности, недостоверности и искажения передаваемой информации, а также уменьшительно-уничижительные формы отсутствуют.

На грамматическом уровне мы наблюдаем количественное преобладание внесюжетных форм авторизующих глаголов, что отражает общую картину функционирования глаголов в научной речи (*И.И. Грузинов пишет...; Говоря о гласных, подмечает следующую особенность английского произношения...; М. Паренаго по-своему характеризует трудности...; Авторы фундаментального труда «Истории преподавания английского языка» также отмечают...*).

На семантическом уровне преобладают конструкции квалификации и обнаружения, связанные с отражением в тексте оценочного и эвристического характера глаголов, значение которых абстрагировано от наглядно-

чувственных элементов, и глаголов, обозначающих ментальные процессы, что свидетельствует об абстрактном характере научной речи (*К сожалению, в большинстве случаев учащийся видит практически готовый ответ на заданный ему вопрос; Автор еще раз отмечает, что по произношению английский «один из труднейших языков Европейских»; Автор традиционно выделяет произношение как самый сложный элемент английского языка; Грамматическое пособие И. Грузинова демонстрирует подобное понимание термина «грамматика»; Например, в главе 12 «О сочинении слов» можно встретить следующее примечание...*). Характерным является также отсутствие в качестве авторизирующих глаголов, передающих физическую сторону восприятия научного познания.

Наличие в тексте предпочтительных для автора авторизационных структур может демонстрировать его индивидуальную стилевую манеру изложения. В рассматриваемом тексте наиболее частотной является синтаксическая конструкция, в которой авторизирующая модель присоединяется к авторизуемой, не изменяя последней, в форме «главного предложения» (*В.Н. Татищев неоднократно указывает...; В.Н. Татищев приводит следующую классификацию наук...; Далее он подчеркивает необходимость...; Он акцентирует внимание на том, что...; В данной работе он также констатирует, что; Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г....; В монографии «Очерк истории языкознания в России» С.К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в., отмечает, что...; Он указывает также на то, что...; М. Пермский пишет, что...; Далее он подробно описывает каждый раздел, например...; П. Жданов отмечает, что...; В дальнейшем автор конкретизирует и детализирует составляющие грамматики. Он пишет...; На страницах учебника автор проводит мысль о необходимости изучать иностранные языки с помощью носителя языка; Во вступлении И. Грузинов пишет...; Говоря о гласных, подмечает следующую особенность английского произношения...; Автор еще раз отмечает...; Авторы фундаментального труда «Истории преподавания английского языка» также отмечают...*).

Таким образом, многоаспектное описание авторизации, основанное на гипотезе о том, что в тексте научного произведения реализуется дискурсивная деятельность ученого, позволяет вскрыть когнитивно-дискурсивные механизмы экспликации авторизационных показателей и, следовательно, механизмы порождения научного текста. Представленная методика комплексного анализа авторизации, охватывающая уровни ее реализации от предложения через текст и стиль к дискурсу, дает возможность выявить, что экспликация авторизационных показателей имеет разностороннюю природу: она обусловлена авторским замыслом, реализующимся в тексте коммуникативно-прагматическими установками и мыслительными операциями, которые маркируются авторизационными показателями, соответствующими нормам научного стиля.

Комплексность методики, основанная на учете различных факторов, приводящих к экспликации авторизационных показателей, а также возможность использования речевого материала, представляющего авторизацию, для описания разных сторон авторизации, т.е. совмещение различных аспектов исследования объекта, позволяет дать авторизации всестороннюю характери-

стику, отвечающую требованиям когнитивно-дискурсивного подхода к изучению языковых явлений. Сочетание текстового подхода с дискурсивным в изучении авторизации дает возможность, с одной стороны, представить научный текст как вместилище реализованных авторизационных смыслов, сопровождающих познавательную деятельность ученого, с другой – дискурс как процесс формирования этих смыслов. Стилистическим аспектом реализации авторизации является, с одной стороны, соответствие используемых авторизующих средств нормам стиля, с другой – индивидуально-авторский отбор авторизующих средств.

Литература

1. Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: сб. обзор. М., 2000. С. 7–25.
2. Гричин С.В. Текстостроительная функция авторизации // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2010. № 4 (12). С. 5–14.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / РАН. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с. (Язык. Семиотика. Культура).
4. Демешкина Т.А. Когнитивно-дискурсивный анализ диалектного текста // Язык и метод 2: Русский язык в лингвистических исследованиях 21 века: Лингвистический анализ на грани методологического срыва / ред.: Д. Шумска, К. Озга. Краков, 2015. С. 137–146.
5. Ракитина С.В. Когнитивно-дискурсивное пространство научного текста: дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2007. 542 с.
6. Гричин С.В., Демешкина Т.А. Аппликативный потенциал когнитивно-дискурсивной модели авторизации // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 6 (32). С. 5–16.
7. Диалектика текста: В 2 т. Т. 1 / О.Н. Гордеева, О.В. Емельянова, Е.С. Петрова и др.; под ред. А.И. Варшавской. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 328 с.
8. Гричин С.В. Авторизация в содержательной структуре научного текста // В мире научных открытий. Красноярск, 2012. № 5.1 (29) (Проблемы науки и образования). С. 265–276.
9. Кубрякова Е.С. Текст и его понимание // Русский текст. 1994. № 2. С. 18–27.
10. Чернявская В.Е. Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 209 с.
11. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. С. 136–137.
12. Крижановская Е.М. Коммуникативно-прагматическая структура научного текста: дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 2000. 260 с.
13. Брылина Е.А., Сидорова О.Г. Первые российские грамматики английского языка: содержание, предъявление материала, методы // Вест. Перм. ун-та. 2015. Вып. 2 (30). С. 44–52.
14. Перфильева Н.П. Метатекст в аспекте текстовых категорий. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006. 285 с.
15. Ревзин И.И. Структура языка как моделирующей системы. М.: Наука, 1978. 273 с.
16. Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект / РАН. Ин-т языкознания. М.: Academia, 2005. 640 с.

EVIDENTIALITY IN THE TEXT OF A RESEARCH WORK: A COGNITIVE-DISCURSIVE ASPECT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 5–19. DOI: 10.17223/19986645/44/1

Sergei V. Grichin, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).
E-mail: grichinsergei@mail.ru

Tatyana A. Demeshkina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
E-mail: demeta@rambler.ru

Keywords: evidentiality (authorization), scientific discourse, text, cognitive and discursive approach, analysis.

The paper presents an analysis of the category of evidentiality (authorization, in Russian) based on the scientific discourse material. Evidentiality is investigated from the standpoint of the cognitive and discursive approach, which allows exploring the principles of text producing in detail. In this approach, evidentiality is presented as a means of speech which marks the author's cognitive-discursive activity in the text. This activity consists in embodying the emerging knowledge structured in accordance with the author's concept, his/her world outlook and based on the epistemic conditions in the text. It is emphasized that the cognitive-discursive approach is a multivariate analysis of linguistic units which can be carried out in several stages. The initial stage consists in determining the role of evidentiality in the implementation of the author's intention as viewed through the composition structure of text. Then, the relationship of evidentiality with the category of certainty / uncertainty based on the identification of the language means in the *modus* and *dictum* parts of the sentence used to carry out a specific reference is studied, the type of pragmatic sets of evidential statements associated with the formation of evidentiality blocks in the text is determined. These blocks are marked as discrete structural units of the text depicting components of communicative, informative and pragmatic content in the text. Cognitive operations reflected in the text, whose succession is accompanied by an "evidential key" which is a discursive action and a transition to another source of information or from an evidential statement to a non-evidential one (or vice versa), are also studied. The cognitive-discursive analysis also includes the interpretation of subjective speech components expressed in the evidential statements: a meta-level character, syncretic nature, consituation, intentionality and supra-segmental nature components. The final stage of the analysis is describing the stylistic side of evidentials. They are described in terms of their compliance with the relevant standards of the given functional style, the presence of stylistic markedness, i.e. those properties that make evidentiality a differentiating feature of the scientific speech style. The stylistic features of evidentiality on the lexical, grammatical and semantic levels and their ability to reflect the author's stylistic manner of presentation are demonstrated. It is concluded that the combination of textual and discursive approaches to the study of evidentiality makes it possible to present a scientific text as a repository of implemented evidential meanings accompanying the cognitive activity of a scientist, and discourse is presented as the process of formation of these meanings.

References

1. Kubryakova, E.S. (2000) O ponyatiyakh diskursa i diskursivnogo analiza v sovremennoy lingvistike [The concepts of discourse and discourse analysis in the contemporary linguistics]. In: *Diskurs, rech', rechevaya deyatel'nost': funktsional'nye i strukturnye aspekty: Sb. Obzorov* [Discourse, speech, speech activity: functional and structural aspects: reviews]. Moscow: INION RAS.
2. Grichin, S.V. (2010) Text building function of authorization. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (12). pp. 5–14. (In Russian).
3. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge: On the way of learning the language: Parts of speech from a cognitive point of view. The role of language in the cognition of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
4. Demeshkina, T.A. (2015) Kognitivno-diskursivnyy analiz dialektного текста [Cognitive-discursive analysis of a dialect text]. In: Shumska, D. & Ozga, K. (eds) *Yazyk i metod 2: Russkiy yazyk v lingvisticheskikh issledovaniyakh 21 veka: Lingvisticheskiy analiz na grani metodologicheskogo sryva* [Language and method 2: The Russian language in linguistic studies of the 21st century: linguistic analysis on the verge of a methodological failure]. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Rakitina, S.V. (2007) *Kognitivno-diskursivnoe prostranstvo nauchnogo teksta* [Cognitive-discursive space of a scientific text]. Philology Dr. Diss. Volgograd.
6. Grichin, S.V. & Demeshkina, T.A. (2014) The applicative potential of a cognitive-discursive authorization model. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (32). pp. 5–16. (In Russian).
7. Varshavskaya, A.I. (ed.) (1999) *Dialektika teksta: V 2 t.* [Dialectics of text: in 2 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
8. Grichin, S.V. (2012) Authorization in the semantic structure of a scientific text. *V mire nauchnykh otkrytiy – In the World of Scientific Discoveries*. 5.1 (29). pp. 265–276. (In Russian).

9. Kubryakova, E.S. (1994) *Tekst i ego ponimanie* [The text and its understanding]. *Russkiy tekst*. 2. pp. 18–27.
10. Chernyavskaya, V.E. (1999) *Intertekstual'noe vzaimodeystvie kak osnova nauchnoy kommunikatsii* [The intertextual interaction as the basis of scientific communication]. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics and Finance.
11. Arutyunova, N.D. (1990) *Diskurs* [Discourse]. In: Yartseva, V.N. (ed.) *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic encyclopaedic dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
12. Krizhanovskaya, E.M. (2000) *Kommunikativno-pragmaticheskaya struktura nauchnogo teksta* [The communicative-pragmatic structure of a scientific text]. Philology Cand. Diss. Perm.
13. Brylina, E.A. & Sidorova, O.G. (2015) The first Russian grammar books of the English language: content, presentation of grammar material, methods. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology. 2 (30). pp. 44–52. (In Russian). DOI: 10.17072/2037-6681-2015-2-44-52
14. Perfil'eva, N.P. (2006) *Metatekst v aspekte tekstovykh kategoriy* [Metatext in the aspect of text categories]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
15. Revzin, I.I. (1978) *Struktura yazyka kak modeliruyushchey sistemy* [The structure of the language as a modeling system]. Moscow: Nauka.
16. Ryabtseva, N.K. (2005) *Yazyk i estestvennyy intellekt* [Language and natural intelligence]. Moscow: Academia.

УДК 81'28

DOI: 10.17223/19986645/44/2

Л.Г. Гынгазова, Е.В. Иванцова

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИБИРСКОЙ ПИЩЕВОЙ ТРАДИЦИИ В ДИСКУРСЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: ПРОДУКТЫ И БЛЮДА¹

В статье решается задача изучения сибирской пищевой традиции и её трансформации в течение XX – начала XXI в. Исследование осуществляется с опорой на дискурсивные практики типичного представителя народной культуры В.П. Вершининой, отражающие почти вековой период жизни языковой личности в условиях глобальных перемен российского общества. Анализ позволяет установить константы сибирской пищевой традиции, а также изменения, проявляющиеся на лексико-семантическом, концептуальном и дискурсивном уровнях.

Ключевые слова: пищевая традиция, Сибирь, диалектная языковая личность, продукты, блюда, лексикон, концептосфера, дискурс.

Изучение понятийной сферы «еда» в силу ее значимости для каждой национальной культуры привлекает внимание представителей многих гуманитарных наук – в первую очередь историков, этнографов, культурологов, социологов (Ф. Бродель, К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Дуглас, Д.А. Баранов, С.А. Арутюнов, Д.К. Зеленин, В.А. Липинская, В.В. Похлебкин, Э.В. Мигранова, М.В. Капкан, И.В. Сохань, Е.В. Сергеева, Н.С. Марушкина и др.). В языкознании данная проблематика наиболее активно начала разрабатываться на рубеже XX–XXI вв. в рамках лексикологии, социолингвистики, прагмалингвистики, этнолингвистики и лингвокультурологии, лингвосомиотики, когнитивной лингвистики, теории дискурса и других областей науки о языке. Объектами анализа становятся номинации пищи в структурно-семантическом и функциональном аспекте [1–3], концепт «Еда» как фрагмент языковой картины мира [4–6], стереотипные представления носителей современного русского языка о еде [7], лингвокультурная специфика этнических пищевых предпочтений [8] и др. Поиски национально-культурной идентичности приводят к постановке вопроса о традициях народной пищевой культуры и их трансформации в современных условиях; реконструкция констант и переменных в этой области отмечается как важная задача антропоцентрической лингвистики [9. С. 344; 10. С. 28].

Одним из важнейших источников изучения пищевой традиции являются народные говоры, выступающие субстратом национальной культуры. Обращение к их данным позволяет выявить черты, репрезентирующие языковую картину мира крестьянского социума в ее развитии. В статье эта задача решается с опорой на дискурсивную практику типичного представителя народной культуры – сибирской крестьянки В.П. Вершининой (1909–2004), уроженки

¹ Исследование осуществлено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02043).

с. Вершинино Томской обл. Источниками анализа послужили записи ее спонтанной речи, которые велись авторами в течение 24 лет (в расшифровке – около 10 000 страниц) методом включения в языковое существование говорящего, и материалы «Полного словаря диалектной языковой личности» [11], созданного на их основе. С учетом установки исследователей на недифференциальное лингвоперсонологическое описание идиолексикона рассматривались как специфически диалектные, так и общерусские единицы.

Обращение к данной языковой личности объясняется несколькими факторами: это наиболее целостное сохранение в диалектах основ традиционной национальной культуры; принадлежность информанта к архаическому типу говора; характер дискурсивных данных, охватывающих почти вековой период жизни личности в условиях глобальных социокультурных перемен российского общества.

Еда является одной из важнейших составляющих жизни человека. Для крестьянина она отмечена особой значимостью, обусловленной важностью физического начала в аграрной культуре, следованием сельского социума веками складывавшимся традициям в сфере быта, религии и обрядности, имеющим и пищевой компонент. В традиции, связанные с едой, входят ориентация на определенный набор продуктов питания, состав приготавливаемых из них блюд и напитков. В настоящей статье анализ пищевой традиции ограничивается рассмотрением продуктов и блюд.

В словарном запасе крестьянки в качестве названий основных продуктов питания зафиксированы *мясо* домашних животных (*говядина, свинина, баранина, конина*), домашних и диких птиц, рыба, молоко, яйца, зерно, овощи, ягоды, грибы, травы, кедровые и грецкие орехи, семечки, фрукты, мёд, вкусовые добавки (*сахар, рафинад, сахарин, соль, лавровый лист, гвоздика, перец, горчица, соус, тома'тна паста, ча'йна сода, уксус*). Часть перечисленных продуктов может использоваться в пищу непосредственно (*молоко, фрукты, некоторые овощи, орехи, семечки, мёд, лесные растения, сахар*). В ряде случаев такие продукты, как мясо и зерно, подвергаются первичной обработке (*фарш; крупа – гречка, манка, пиёнка, рис, перло'ва крупа, геркулёс «геркулес»; мука; макаронные изделия – макароны, лапша, вермишель/вармише'ль¹*) и служат основой для приготовления различных кушаний.

В числе обозначений блюд отмечены:

– виды супов, включающие родовые обозначения (*суп = похлёбка*) и разновидности жидких блюд (*борщ, вармише'ль «молочный суп с вермишелем»; суп с горохом / гороховый суп, грибо'вница / грибо'вница / грибо'вный суп / похлёбка с гриба'ми / грибо'вна похлёбка, лапша «молочный суп с любыми макаронными изделиями», окрошка, по'стна похлёбка, суп с бараниной, уха*);

– виды блюд на основе зерновых культур: родовая номинация *каша* с гипонимами *горошница, заваруха, кутья, манка / ма'нна каша, гре'чневая / гречу'шна каша, пиённа каша*;

– виды мясных блюд: *голубцы, котлеты, холодец, пельмени, тефтели, сосиски, фрикадельки «сардельки»; колбаса «изделие из мясного фарша»,*

¹ Знаком / обозначены варианты обозначения, знаком = синонимы.

колбаса / карто'вна колбаса «домашнее блюдо из кишок, начинённых картошкой, капустой и т.п.», *жа'рено мясо, тушёно мясо, жа'рена курица, начинённый [фаршем] перец*; *колбасу нажарила*;

– виды рыбных блюд: *жа'рена рыба, начинёна рыба*;

– виды блюд из яиц: *яишница* «омлет» и «жареные яйца»; *яйца всмятку и вкруту'*, *яйца пожарила*;

– виды молочных блюд: *тво'рог/творо'г, сметана, сливки, сыр; коро'вно = сли'вочно = скоро'мно масло, бутербро'дно / бутебро'дно масло, шокола'дно масло*;

– виды овощных блюд: *толчёнка* «картофельное пюре», *па'ренки* и *печёнки* «печёные овощи», *драники / дра'нки, винегрет, морко'вница, варёны карто'шки, жарила картошки, картошки нажарила с гриба'ми, картошку натушили с мясом, морковь сварила, натушёна капуста*;

– виды блюд из грибов: *рыжики жарили*;

– виды выпечки: родовое обозначение *пирог* с многочисленными гипонимами (*ку'рник, пироги с мясом, с рыбой, с ливером, с капустой, с морковью, с картошками, с грибами, с черёмухой, с маком, с калиной, с творогом, с яйцом, морко'вны пироги / пироги с морковью / морковкой, разбо'ристый / разборный пирог*), *хлеб, булка, кирпич, калач, батон, блины, оладьи / ола'дни, лепёшки, булочка, ша'ньги / ша'нежки* «небольшие сдобные булочки, перед выпечкой намазанные сметаной с добавлением муки», *ватрушки, печенья, печеню'шки, грибо'чки* «печенье в форме грибов», *хворосты = ро'занцы, ва'хли, завару'шки, пряники, пончики, торт*.

Деление этих групп имеет нечеткий характер; между ними наблюдается пересечение. Так, семантика обозначений многих мясных блюд содержит смысловой компонент «овощи» и наоборот; единицы, обозначающие выпечку с начинкой, а также вареники, могут относиться почти ко всем обозначенным группам.

Примыкают к названиям блюд обозначения пищевых жиров, сладостей и консервированных продуктов. В число жиров, используемых для приготовления тех или иных кушаний, входят натуральные масла животного (*то'плено масло*) либо растительного происхождения (*ленно', конопля'но, подсол'нешно масло*) и новые искусственные жиры (*маргарин, комбизир, кулинарное сало*). Среди сладостей отмечены *конфеты, шоколад, мармала'д* «мармелад», *халва, ириски*. Лексикон включает, кроме того, обозначения заготовок – продуктов питания, подвергшихся обработке в целях более длительного сохранения. Это наименования фабричных консервов (родовое *конце'вра/конце'рва* с гипонимами *тушёнка, зелёный горошек, частик, килька, сгуши'но молоко / гуши'но молоко / сгушонка, ассорти* «смесь консервированных фруктов», *жем «джем», повидло / пови'дла*) и продуктов домашней консервации овощей, грибов, ягод (*солени'на* «овощные соленья», *солёны огурцы, малосо'льны огурцы, солёны грибы', солёны помидоры, Марино'ванны огурцы, мариную / мерину'ю помидоры, капуста* «квашеная капуста», *хренодёр* «острая закуска из хрена, помидоров и чеснока», *овощной салат* на основе моркови, лука и болгарского перца, *салат из зелёных помидор, варенье / варе'нья, желе*). Отдельную группу составляют высушенная выпечка (*сухари*), *сушёны грибы, сушёные ягоды (черёмуха, смородина)* и

фрукты (*узю'м* «изюм», *урюк*, *чернослив*). Помимо перечисленного, заготавливаются различными способами мясо или рыба (*копчёно* или *солёно сало*, *копчёна рыба*, *вяленая рыба*, *солёна рыба* – *селёдка*, *горбуша*, *кра'сна рыба*). Мясные и рыбные заготовки, являясь более сытными, могут использоваться как основные блюда.

Выделенные лексико-семантические группы обозначений продуктов питания, блюд и прочих номинаций пищи дают представление о составе поля «Еда» и его структурных элементах. Большое количество единиц с пищевой семантикой свидетельствует о значимости сферы пищи в жизни диалектоносителя; обращает на себя внимание объемность групп слов, обозначающих виды заготовок, выпечки, овощных блюд и супов. Это соотносится с такими отмечаемыми в качестве типичных для традиционной русской кухни чертами, как заготовки с помощью кисломолочного брожения, разнообразие выпечных изделий, приготовление овощей без измельчения и смешивания; преобладание варки и выпекания над жарением [12]. Единицы лексико-семантических групп чаще всего находятся в видо-видовых отношениях, однако для группы обозначений продуктов питания и наиболее разработанных групп названий блюд характерны родо-видовые связи. Довольно широко представлены отношения формального варьирования; реже встречается синонимия и лексико-семантическое варьирование.

В поле «Еда» входит значительное количество однословных наименований. Вместе с тем их доля (как и число собственно диалектных единиц) в сибирском говоре вторичного образования гораздо меньше, чем в материнских говорах например псковских [1] или воронежских [2]. В диалектах Среднего Приобья таких номинаций либо не было изначально, либо они были утрачены вследствие архаизации. Кушанья в этих случаях стали обозначаться словосочетаниями, указывающими на способ приготовления того или иного продукта (*нажарила картошки*, *начинила кишочки*) или состав пищи (*тушёная картошка с мясом*, *пирожок с морковью*, *похлёбка с гриба'ми*). Более типична модель «действие + объект», вторая модель встречается реже, при обозначении блюд с комбинацией разных продуктов. Очевидно, обе модели являются характерными для разговорной речи. Наблюдается также вариативное обозначение блюда одной лексемой или словосочетанием (*грибо'вница* / *грибо'вница* / *грибо'вный суп* / *похлёбка с гриба'ми* / *грибо'вна похлёбка*). Наши наблюдения соотносятся с выводами И.В. Киреевой о тенденциях к гиперонимизации и аналитизму в русской кухонно-бытовой лексике XX столетия [13].

Дискурсивные данные показывают, что тема еды является одной из приоритетных для диалектоносителя, она частотна в различных жанрах (воспоминание, рассказ, бытовой диалог) и типах речи (спонтанное речепорождение и метаязыковой комментарий).

Воспоминания информанта о родителях и старших родственниках, собственном детстве (период 10–20-х гг. XX в.) отражают жизнь русской дореволюционной деревни с типичным для неё натуральным хозяйством, где питание крестьян обеспечивается за счет собственного труда. Как отмечает И.В. Сохань, «изначальное, первичное пространство национальной кухни (или её основа) – это продукты, возвращенные в данном национальном космосе,

как результат всей совокупности природных условий – земли, климата, особенностей географического расположения, принятых способов возделывания земли (включающей и обычно сложную систему ритуалов, связанных с установлением баланса между человеком и природой)» [14. С. 61].

Жители сибирского села, как правило, держали по несколько коров, в хозяйстве были овцы, свиньи, куры, гуси, утки; на своем огороде выращивали овощи, что свидетельствует о важной роли мясо-молочных и овощных продуктов в крестьянском рационе: *Скота много было [у родителей матери], продавали. Очень хорошо они питались; Овец доржа'ли; Вот этот раз я говорила: у тя'ти скапливалось до девяти лошадей у него, коней. А коров было три коровы, четыре не помню, а там тёлки больши' ешо'; Ну, морковь, редьку, лук – всё садили тако'; Полива'м, таска'м [воду], огурцы, капусту; Раньше безо всякой плёнки огурцы ро'стили и всё, и никакой ни холеры не было; А мы вот, мне лет пятнадцать было, пойдёшь прям не стесня'шься, намоешь брюковку, вытянешь, бе'ла кото'ра, жёлта была и бе'ла, грызёшь сидишь на кругу' там¹. Ягодные кустарники и плодовые деревья ни в огороде, ни около дома сельчане не сажали: Не садили [ничего возле дома], не было, не было, не было. Вот на той улице ешо там дома два было это, чё-то како'-то растение.*

В текстах отражено также выращивание сибирскими крестьянами зерновых и масличных культур для снабжения семьи зерном, мукой и растительными маслами: *Хлеб сеяли. Пашени'цу, гречу'ху, овёс сеяли. Руками обрабатывали, серпами жали. Про'су жали, пашени'цу; Ячмень сеяли раньше. А теперь чё-то не стали сеять; Посеют лён да и сколотят, и масло льняное делают из него; Хоро-оши, как зёрнышко к зёрнышку, да хоро'ши пшеничка, овёс тоды' – хоть чё, хоро'ше было; И ленно' семя делали, и коноплю делали на масло; Масло хоро'ше-прехоро'ше, како' вку'сно-то было: ленно', и подсолнечно, и это, конопля'но.*

В традиционном крестьянском хозяйстве вклад в пищевой рацион вносили результаты промысловой деятельности и собирательства. В Вершинино в связи с близостью реки и озёр на первом месте стояла рыбная ловля. Сосновый бор был богат дичью, ягодой и грибами, кедрач давал орехи. В речевом жанре воспоминания информанта наиболее широко представлена тема сбора даров леса, осуществляемого семьей в течение всего сезона. Этот процесс является важной частью жизнеобеспечения крестьянина, поскольку в условиях сезонных циклов земледелия и собирательства результаты своевременного труда позволяют создать «годовой припас»: *Преображение бува'т девятнадцатого [августа], и после Преображенья их, шишки били раньше; Раньше сколько мы набирали грибо'в – ой-ой-ой! <...> Корзи'нками большими... <...> Двухру'чны, больши', да вот таки'. Как ванна; Брали-то всё: ягоду вся'ку-ра'зну, грибы'-то!; От осенью, глубокой осенью коня тя'тя запрягёт: «По калину за'втре надо»; И чернику брали, дак с ве'драми ходили, не ходили там с какой маленькой посудкой!; Ки'слицу брали это, кра'сну – ведра'ми,*

¹ Фрагменты связной речи в иллюстративном материале отделены точкой с запятой. В квадратных скобках даются реплики или пояснения диалектологов. Полуужирным шрифтом отражается эмфатическое ударение.

ведра'ми всё... При сборе грибов заготавливались только высоко ценимые белые, грузди и рыжики: *Грузди отдельно, рыжики отдельно там, вся'ки грибы' – а таки' не брали, а ма'сленики не брали; О'споди, одна старушка была <...> она: «О'споди, ма'сленика-то, его чё? Только к чирью привязать», зыт.*

В записях часто встречаются упоминания о съедобных растениях, служивших дополнением к крестьянскому рациону в начале лета: *Гуси'нки ели, корень; Пу'чка там, это как дудочка. Мягкий он, очистишь [и ешь]; Вот мы копали ходили, ели канды'к, саро'нки...; Ты знашь какой он есть, канды'к-то? <...> Он сластит прямо, сладкий [корень]; «Свинячий горох» называют. А потом это, таки' у него, как вроде пугови. Ели раньше всё, то'жса ели мы. Рвали да ели.*

Доля покупных продуктов была менее значимой, однако в их список входили речная рыба ценных пород (*нельма, муксун, налим, сетри'на «осетрина», стерлядь...*), консервы, колбасы, варенье, сахарные головы, чай, конфеты: *А отец-то поедет, целый мешок рыбы привезёт – налима, муксу'на, там это, не'льмины вся'ки, стерлядь привезёт... <...> Варенья – бо'чками продавали; Сахар комковой был, каки'-то головы назывались. Комок такой большой. Дырки на ём – помнится всё!; Боцьки узю'ма накупят.*

Следует отметить ключевую позицию русской печи в традиционной крестьянской культуре, в том числе пищевой. В ней готовились все основные виды продуктов питания сибирского крестьянина. Этим определялись типичные способы приготовления блюд без использования открытого огня – запекание, тушение, варка, парение, томление (мяса, круп, овощей, молока): *Ну и от... и каша... в печке... и от таки ла'дки – толчёнка. <...> А там ешо тушёно мясо. Поста'вют его, без воды ли чё ли – как они его прямо? Присоохнет и'жно всё корочки! <...> Жа'рено вроде; Печку истопим... истопит, мама там загребёт всё, жар – а это суды' накида'т [овоци]. А к утру' дак вовсе – мя-аги-мя'жки спели!; Печёнками, так звали. Печёнки... Печка истопится, всё это там всё, у'гли всё... выгребет мама в загнетку, а туды' прям накидают; Потолкли [картошку], накла'ли туды' масла, яйца, в печку поставили, зажарится, ставят в ла'дке прямо на стол; Творогу'-то раньше в кринках варили; В печку составишь в криночках – хоро-оший, крышечкой так, творожок!*

С русской печью связаны все виды приготовления изделий, выпекаемых из муки, среди которых особую роль играл хлеб. Дискурс информанта подтверждает тезис многих культурологов и этнолингвистов о том, что этот вид пищи является знаковым для русской культуры и имеет не только прагматическую значимость, но и несет в себе сакральные смыслы ([5, 6] и др.). О значимости хлеба как основы жизни свидетельствуют усвоенные диалектоносителем с детства прецедентные тексты молитвы (*хлеб даждь нам днесь*) и притчи о хлебе *на собачью долю*, повествующей о наказании человечества Богом за неуважительное отношение к этому продукту.

И хлеб, и другие виды мучных изделий входят в разные сферы употребления: будничную и праздничную. Контексты показывают, что к будничной выпечке в крестьянском быту относился ржаной хлеб (поскольку производилась только ржаная мука), а к праздничной – покупной белый. По воспоминаниям

нениям языковой личности, почти ежедневно пеклись булки и калачи, а в праздники – пироги, ша'ньги, блины, булочки и сладкая выпечка: Булки... Мама так тесто кладёт, перевернёт, так булка станет, они подо'ймутся, потом в печку их со'дят сразу; Хлеб стряпали – то ка'жрый день, то через день. Калачи стряпали; Мы калачи таки' стряпали – от таки', так закрутишь их да... хоро-оши, то'лсты таки'! калачи. <...> Ну хороший такой калачик. Поди, килограмм-то будет; Ну блины пекут, на ма'сленке блины пекут; Мама, гыт, ша'ньги настряпала, це'лу, гыт, эту, се'льницу ша'нег, всё настряпала, на Христов день-то; Пироги вся'ки стряпали <...>. Стряпали пироги с узю'мом, на свадьбу стряпали, печенье тако' краси'во.

Печь также служила для заготовки на зиму ягод и грибов, производившейся высушиванием на слабом жару: Калину – наберём её, мама её – отберёт её, пе'рво в кадку, в воду, а потом, как морозы начинаются, она её слива'т, и в горшки накла'дыват, в печку ставит, парит... А потом мале'нько му'чки, и в печку, сушит всё. <...> Мешками калина была засушена; И смородину сушили. [Как?] Ну как? На листик изде'лают, солома была така', рожана', дак кода' соломки накладывают на лис[т], на про'твень чуть-чуть потряса'т. И грибы так сушили. А потом ягоды кладут и в ру'сску печку ставят, не сильно жа'рку. И вот так берут и су'шут.

Кроме высушивания в печи, при заготовке продуктов на зиму широко применялась засолка солени'ны, в состав которой входили солёные огурцы, капуста и грибы: Солени'на была в кадках больше, огурцы это... капуста; По целой бочке солили их [грибы]. Вымочишь, намочишь, отбира'шь, вы'мышь всё, да в другой воде, да кладёшь да... укроп, да цеснок, да эти грыбы'. Поела бы счас, я люблю!

Рассказы информанта о прошлом позволяют выявить номинации блюд, впоследствии исчезнувших из обихода, и изменения в семантике слов, обозначающих некоторые виды пищи.

Источники дают сведения об утраченных в настоящее время кушаньях и, соответственно, об архаизации их наименований. Так, в воспоминаниях говорится о печёнках и па'ренках – запекавшихся в печи целиком или в порезанном виде овощах (обычно брюкве, репе), упоминается также яишница как вид омлета с большим количеством молока: Ну па'ренки ре'заны. <...> Нарезеешь, печка истопится, закроешь глу'хо-на'глухо, и в печку. <...> А печёнки целиком, всё складут... <...> Они рассол дадут та'м-ка – рассол прям, рассол выпьем. И па'ренки съедим; Яишницу таку' варили – с ли'тру молока и пяток яиц. В этих случаях при исчезновении самих реалий их названия в лексиконе носителя традиционного говора сохранились. Бо'льшая степень архаизации проявляется в контекстах, где устаревшее кушанье утрачивает свое обозначение и описывается информантом через сравнение с близкими по составу и способу приготовления блюдами. В частности, устаревший вид открытой выпечки с начинкой из рубленой капусты с яйцом и сметаной уподобляется ватрушке и ша'ньге, а защипанный сбоку пирог – варенику: Капусту нарубит [мама], нарубит кто – мелко-мелко, потом она её кипятком обдас <...> она [капуста] стечёт, она её... туды' яички положит разобьёт, и сметаны положит, и как в печку садить, она ешо ложку сметаны... Так как ватрушки больши' стряпала – семья была, всё равно. С капустой,

вкусны были. <...> Ну, как с твoрого'м счас таки'... прям от таки' ша'ньги; А я во сне вижу: вот таки' бы, как вареник от такой бы – так пироги стряпали, набок загибали. Я помню, мама [делала], я не любила... не лепила их. Я в серёдке зашпынывала. А мама как-то набок могла сделать... Исходные номинации этих видов выпечки неизвестны.

Семантические особенности отмечены в лексемах *хлеб* и *варенье / варе'нья*.

Можно предположить, что семантика слова *хлеб* в начале XX в. отличалась от современной: оно использовалось для называния не только булок из круто замешанного теста на основе пшеничной и ржаной муки, но и полужидкой, похожей на толстые блины, выпечки из гречневой, просяной, овсяной муки. Контексты воспоминаний указывают на вариативность обозначения устаревшего изделия из муки то с привязкой к родовому понятию *хлеб*, то к видовому блины: [Раньше хлеб пекли только из ржаной муки?] Кака' есь. И бе'лы пекли, и чё'рны пекли. Вся'ку пекли. [А из гречневой?] Пекли. Ну больше как вроде бы... жи'деньки таки'. <...> Мама наливала... про'твени таки' были, она их, так не ши'бко густы' – хороший хлеб был, вкусный. Блины пекли от таки' толшыной. <...> В ско'вороду, например, ско'вороду нальёт [тесто из гречневой муки], и листики таки' были. <...> [И как-то назывался по-другому гречневый хлеб?] У-у. Хлеб, всё равно. Гречневый. Блины гре'чневы. <...> Про'су обдирали, я помню, мололи, ободрали про'су, да мололи, прося'ный был – жё-олтый такой! [Хлеб?] Не хлеб, а тоже блины пекли. Прося'ны. Овся'ны пекли. Тоже жиденький пекли. Не так, чтобы хлеб, а таки'... или он не получался, ли чё ли? Пошто'-то жидкий. Заведут таку'... ну, как на густы' ола'дни, – стряпают.

Слово *варенье / варе'нья*, кроме современного значения «плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе», бытовавшего и в начале столетия (Мама скажет: «Веру'нька! На' вот туесо'чек – так туесо'чки, таки' краси'вы накрашены деревя'нны... с кры'шечками... Деньги дас... «Ступай, варе'нья купи, в магазин». И я помню: я, Катя, иду, туды' открою туесок-то... пальцем [попробую]: густы-ы, хоро'ши! Хоро'ши варе'нья), имело также значение «высушенная, впоследствии распаренная ягода, используемая как начинка для пирогов»: Все прям пойдём, помно'го ягоды набирали. А... сахару, видно, не было ли чё ли? Пошто' не варили? Мале'нько сварят варе'нья, ставят в горшок эту ягоду, горшки были таки', ставят в горшок, и парят в печке в русской её. Испа'рят, складывают, банок не было – таки' крынки были, складывают это, и это... после, значит это... пироги стря'нат [мама]. Сахар положат туды', и пироги стря'нат, хоро'ши были.

Тексты диалектоносителя фиксируют нехарактерные для наших дней способы употребления в пищу блюд, включающих более сытные и менее калорийные компоненты. Такие блюда елись отдельно: в традиционной народной культуре поедание рыбных пирогов было принято начинать со срезанной корки, а мясных супов – с их жидкой части и заканчивать кусками рыбы или мяса, что создавало ощущение большей сытости: Корочку эту сы'мет [мама с пирога], всю так разрежет, потом корочку на кусочки: «Берите корки». Жи-ирны корки! Рыба хоро'ша была. Как счас поела бы я;

Накро'шит мама мясо от так из супа, и посоли'т, супчиком обольёт, и капуста. И вот мне казалось ши'бо вкусно.

Большую роль в крестьянской пищевой традиции играло религиозное начало. Осознание пищи как данного Господом источника жизни проявлялось в обязательном сотворении молитвы до и после любой трапезы: *А как садились за стол, чтобы не помолились – ой, всегда! Всегда молились. Всех, ребяташи-ки – все молимся. И после еды опе'ть молимся Богу.*

Религиозные установки христианства регламентировали состав пищи и её приуроченность к определённому времени. Концептуальная оппозиция профанного и сакрального воплощалась в противопоставлении лексических групп «постная пища» и «моло'сная (т.е. скоромная) пища», соотносимых с периодами постов и мясоедов: *Ну я уже вза'мужем была, не ела моло'сно никогда', кода' пос; В пос не ели моло'сно. Кисели от эти варили да па'ренки варили да, похлёбку по'сну варили, всё масло... Ну, раньше крупа-то была така' перло'ва, да хоро'ша така'. Грыбо'вницу варили. Хоро'шие, всё равно было питанье. Квас делали всё время. Окрошку, всё делали; А в Петров день – моло'сный день; А како'-то за'говнье было. Ой, пелеме'ни стряпают! Варят – ну в ка'жном дому!; Па'ску дождутся – варят всё, жа'рют, па'рют тогда', и всё там – рыбу и мясо, хоть чё ешь.*

В пищевой традиции антиномии «профанное – сакральное» и «повседневное – обрядовое» тесно переплетаются, осложняясь также соотносительностью с христианскими и языческими верованиями. При этом маркированными членами оппозиции, соотносимыми с определёнными ритуальными действиями и номинациями обрядовых блюд, выступают сакральное и обрядовое.

Так, празднование Масленицы сопровождалось выпечкой блинов («молосным»), однако существовал запрет смазывать сковороду жирами животного происхождения: *На Масленке блины пекут, ну это моло'сно тако', а чтобы жи'рно было тако' – ну говяжье сало, или како' ли там – это уж не мазали.* Обряды поминовения усопших в день христианской Радуницы и годовщин смерти близких включали посещение могил и поминальное угощение блинами и крашеными яйцами – пищей, восходящей к языческой символике. В день памяти сорока христианских мучеников в начале марта, в народном календаре знаменующий возвращение перелётных птиц, выпекалось печенье в форме птичек: *Со'роки святы' и вот скворчики прилетают, когда пташки прилетают. Мама нам тесто дас, а мы лепим. Вся'кив пта'шечков налепим, всё.* К одному из предпасхальных дней было приурочено ритуальное кормление домового специально состряпанными булочками: *А от кода'-то каку'-то субботу, называ'тся суббота перед Па'ской... <...> Она [мама] каки'-то булочки стря'пат, таки' булочки стря'пат дедушке-сусе'душке. Вот: «Дедушка-сусе'душка! Попо'й мою скотинушку, пона'стовой нас, не забывай».*

Особое место в традиционной обрядности занимали свадьбы и поминки. В названиях состава подаваемых на них блюд ярко отражались специфические черты каждого из этих обрядов в их противопоставленности.

Свадебное угощение предполагало обильную мясную пищу и разнообразную выпечку. Обязательными праздничными блюдами были жареный гусь, начинённый поросёнок или фаршированная крупная рыба, различные

виды печенья и сладких пирогов. В рассказах крестьянки подчёркивается эстетическое оформление стола через единицы с семантикой красоты: *Всё стряпали: печенье стряпали, хворост стряпали, заварушки стряпали, пироги всяки стряпали, всё, стряпали, много стряпали. Особые, стряпали пироги с узю'мом, на свадьбу стряпали, печенье тако' краси'во. <...> Гусей жарили, поросят жарили, куриц жарили, котлеты, ну всё было. Ро'занцы, ага, стряпают, ну, хворост или ро'занцы. Жаро'вня – жарят. Ла'дка – ла'дки вот в таких глиняных, ла'дки, ага, кладут поросёночка большого от матери, е'жли нет, покупают. Начиняют: каку'-нить крупу делали, масло, мяса немного, сметаны, муку, пова'рят его, обжа'руют и цветочки на его. И гусей так же, ну целого гуся... Рыбу начиняли, шишка-то больша'...; Ну всё угоишали, конечно, по-особому, не как сеча'с – всячина' стояла была наставлена на столе. И всё ставили враз, не то что там холодное или горяче там выбирают, по'лны столы. Важное место в свадебном обряде занимал ку'рник – пирог с курятиной, мясом или салом, связанный с ритуалом дарения подарков молодожёнам: Ну продавали пироги [на свадьбе], так от, например, стряпка. Стря'нат, кото'ра стряпка, она пойдёт, это, ку'рьник возьмёт и там – ну, ешо кто-нибудь с ей: и вино подают, и пирог этот продавали. Свадебным блюдом являлись также блины, подававшиеся на второй день торжества: Погуляют мале'нько, а наза'втре блины. Номинации пирог и блины нашли отражение в устойчивых обозначениях обрядовых действий *продавать пирог, класть на пирог, класть на блины*.*

Поминальный обряд непосредственно после похорон предполагал в качестве обязательных блюд *кутью, блины, пирог с рыбой*, а также угощение киселём и мёдом. При этом кушанья на поминках, в отличие от свадьбы, подавались в определённом порядке, и стол был менее обильным: *От поставят пе'рво на стол кутью, эта стоит кутья, потом блины ставят, за блинами пирог с рыбой ставят...*

В дискурсе сибирской крестьянки сохранились следы архаического обряда, связанного с окончанием жатвы. В прошлом он имел пищевой компонент, к началу XX в. уже утраченный; забылась и семантика наименования обрядового кушанья: *Только говорили [родители, не готовя кушанье]: «Салама'т надо варить. Салама'т надо варить, кончаем, кончаем [жать]! Салама'т варить». А какой салама'т варить – тоже не знаю¹.*

Наряду с речевым жанром воспоминаний, репрезентирующим пищевую традицию начала XX в., тема еды присутствует в диалогической бытовой речи, рассказах о себе и односельчанах, отражающих более поздний временной период – с середины XX до начала XXI в.

Тексты показывают, что, как и ранее, в пищевом рационе крестьян велика доля продуктов своего труда: мяса выращиваемых животных и птиц, молока, сметаны, масла, овощей с собственного огорода: *Скотина – тёлка, корова, бык, шешна'дцать овечек; Скотину до'ржат, две свиньи с поросятами, по-*

¹ Лексема *салама'т (солома'т)* зафиксирована в «Словаре русских народных говоров» в ряде значений: «кисель или жидкая каша из муки», «каша (из овсяной, ячневой, пшенной и т.п. крупы) с маслом или салом», «кушанье из пареной ржи», «лапша с бараниной» и др. [15. С. 56–57]. Одно из значений – «праздник, гуляние с угощением по окончании уборки урожая, полевых работ и т.п.» – указывает на связь с блюдом, упоминаемым информантом.

росились, поросят тоже, корова...; Ну скотинку он до'ржит: корова, бычи'шка, тёлка, эти... Овечек они купили; Ну а чё у их? Мясо своё, молоко своё, всё тоже как своё всё, картошка своя, всё своё; Берут они, бройлеров, то ли в апреле, то ли в мае, они несутся. Однако скотину и кур держат только наиболее обеспеченные и работоспособные хозяева, старшее поколение к этому кругу не относится: Не подумай, что ей столько лет, восемьдесят два. Я говорю: «До'ржишь чё-нибудь, каку'-нибудь скотину, чушечку до'ржишь, ли чё?» – «Нет, нет, ничё не доржу', даже кы'ску не доржу'»; Давно я не держу [корову]. Не знаю, сколько не держу. Дак как итобра'ли, знаешь, кода'? Кода' от Сидоренко-то был, совхоз был хороший, у всех итобра'ли [скот]. И я так не стала.

С появлением колхозов, а впоследствии совхозов зерновые и масличные культуры перестают производиться в собственном хозяйстве. Ржаная мука, льняное и конопляное масло постепенно исчезают из употребления, соответствующие номинации уходят в пассивный запас.

Во второй половине XX в. меняется состав выращиваемых крестьянами овощных культур. В связи с этим на периферию ЛСГ «овощи» перемещаются единицы репа, брюква, а лексемы помидоры, болгарский перец, баклажаны входят в активный словарь диалектоносителя: И репу сеяли раньше, а щас нет; Ну, морковь, редьку, лук – всё садили тако'. А теперь баклажаны, и перец, и вся'ку холеру; [А помидоры раньше сажали?] Раньше, от как я была в девчо'нкав – никогда' не садили; Я помидоры давала рассаду, больше двадцати штук. Появились новые названия ягод, которые раньше не выращивались: виктория «садовая клубника», арбузы, облепиха: Викторию [сажала в огороде]. Было у меня мале'нько. Ну, с кухню-то была пластинка; И арбузы у них [родственников в огороде] садила; А у тебя арбузики больши'?; Ни иблени'хи, ничё нету [в огороде]. Раньше не садили это, а теперь уж и... давно уж и ни к чему мне.

По-прежнему достаточно большое место в пищевом рационе занимают продукты, добываемые охотой, рыболовством: Убивают рябчиков, хватают, едят их, мясо очень хоро'ше бе'ло; Копалу'хи [«самки глухарей»] – это ешь. <...> Мишенька [сын] убивал у меня, така' больша', прям здоро'ва, как курица, бройлер; Наши всё бро'дят тут бродника'ми [«ловят рыбу бреднями»], на лодках; Так, кода' летом – корча'жки тоже ставит, да... у его и бродни'к ешь, и сети были; А сцяс у нас рыбу добывают, мне кажется, она невку'сна; Вчара' Сергей мне дал рыбёшки, небольшие', я пожарила; Шиучку добудь нам, пожарим.

Сбор грибов и ягод стал менее масштабным, но также практикуется жителями села: «По опята, Вера, ездили мы с Олей. Мало корзин взяли, не в чего клась было»; Они берут корзины – ве'дер пять припрут черёмухи в день, и она на базар её; А Тамара-то пришла: «Мама, пойдём сходим по землянику, пойдём. Много, гыт, так земляники. Хыть литро'ву банку сварим». В связи с уменьшением природных запасов расширяется перечень собираемых съедобных грибов: Раньше ма'сленики не брали, а теперь за пе'рву душу съедят. Перестают использоваться в пищу лесные съедобные корни и травы (кандык, пучки и др.).

Значительно увеличивается доля покупных продуктов. К ним относятся мука и растительное масло; при этом мука продаётся только белая пшеничная, а растительное (*постное*) масло – только подсолнечное: *А продавали тот раз, бегали, тоже гыт, помол свежий, хоро'ша мука!; Рассоложда'ют аржану' муку [раньше]. А счас не делают ничё. Муки-то нету аржаной; Масло расти'тельно взяли, говорит, две банки, гыт, взяла.* Контексты отражают усвоение диалектоносителем номинаций новых видов жиров (*маргарин, комбижир, кулинарное сало*) и консервов (*жем «джем», ассорти, зелёный горошек* и др.): *А я подумала, что раз она [продавец] мне подмигнула, да комбинжир подсчитала; А я – пачка была маргарина, я в тесто поло'жила; «У вас и магазин-то какой хороший здесь. Мы вот счас купили жем морковный»; Привезли тут это, каки'-то ассорти были [компот], баночки; И горошек покупали зелёный, и это, как его, амали... нээ, ли как ли его там?* Идиолексикон пополняется также обозначениями видов морской рыбы (*горбуша, кета, чавыча, минтай, килька*): *Чавыча ли чё ли? <...> У вас по шеис'ят в Томске было, а у нас по пиис'ят два. А мо'же, кета; Она гыт: «Рыбу привезли <...> кака'-то, гыт... горбуша, гыт». Ну горбуша така' не быва'т – люди-то говорят; Рыбу минтай берёт: «Это кошке». Из названий новых мясных полуфабрикатов отмечены *сосиски, фрикадельки «сардельки»* и *окорочка / окорока* «бедренные части тушки птицы»: *Может, сосиски отварить, ты, может, будешь исъ?; Эти окорочка – они их везут откэ'дова-то, чёрт е знает, откэдова они их привезут.* Усваиваются обозначения привозных южных фруктов (*гранаты, абрикосы, дыни, мандарины, хурма* и др.): *И фрукты везут продают, где-то вы'раишены, да абрикосы привозили; Миша гранаты любил; Он баклажан навёз, ды'нев навёз, помидоры и перцу-то красного – ну, всего прям; Яблоки были, мандарины.* Состав овощных блюд пополняется *винегретом*, покупной выпечки – *батон*ом и *пончиками*: *Так у ей на столе было – холодец, пельмени были, винегрет был, стряпано тоже...; Как палка батон [длинный], надо же!**

В лексиконе диалектоносителя увеличивается доля литературных единиц, восходящих к иноязычным заимствованиям. Часть неологизмов при этом остается не вполне освоенной, что может отражаться в метатекстовых показателях: *Катя, а ты не видала это... как её, форму' ли хорму' ли, как? Не продают в городе, продают? <...> Я никогда' [раньше] не видывала, не только бы я не ела [о хурме]; Но'нче две... фрикадельки привёз [знакомый]. Вкусненьки таки' были! <...> Коро'теньки таки' [о сардельках]; И этот, баночку этот, май... май... майонэз... малинэ'з этот... утаишыла; А масло Володя Крошко' привозил, бутербро'дно, наверно, ли как ли, как его называют правильно?; Намазала ей, масло... потом сыр накла'ла... битебро'д изде'лала там, она поела...*

Под влиянием литературного языка единичные диалектные названия блюд вытесняются общерусскими синонимами: *Хворост – яичко разобьёшь, вот таки' вот формочки есть, ро'занцы раньше назывались.* Архаизируются такие названия видов пищи, как *калачи, па'ренки* и *печёнки*. Устаревшее значение лексемы *яшница* «разновидность омлета» заменяется современным «жареные яйца»: *Два яичка разбила, на сковородку, яшницу изде'лала.*

Классическая русская печь во второй половине XX в. перестает существовать в сибирском селе, заменяясь на комбинированную печь с плитой. Печка и в этот период важна в крестьянском хозяйстве, в первую очередь для обогрева дома, но как средство приготовления пищи она начинает вытесняться более экономичными электроплиткой и газовой плитой. Функции печи сокращаются; вследствие этого уменьшается количество блюд, приготавливаемых тушением, запеканием, парением, томлением, и увеличивается число жареных кушаний (аналогичные процессы отмечает И.В. Киреева [13]), редко практикуется высушивание ягод и трав. Однако печь остается незаменимой при необходимости приготовления праздничной и обрядовой выпечки, особенно для большого застолья (поминки, свадьбы, Пасха, семейные праздники): *А Рая гыт – как она меня похвалила-то? «От партизанка дак партизанка, гыт. Восемьдесят пять лет!» Однако, пять пирогов с рыбой стряпала [на поминки]; [Вы будете стряпать на похороны?] О, а куды' дева'сся. Буду стряпать пироги с маком, пироги с черёмхой, пироги с морковкой и с яйцом; А у меня день рожденья было. <...> Я пироги с рыбой с солёной стряпала. Большии-и таки' четыре пирога состряпала... Ну много народу было. <...> Ну и так, помидо'ришки да огурчи'шки, всё было, и стря'нано было. Торто'в я не покупаю; Знашь сколько? Пятнадцать штук настряпала па'сок [на Пасху]! <...> А потом в родительский день опе'ть состряпала, пять ли чё ли штук! <...> Ну, о'биэм, я раздала много. На кладьбишше унесла одной; Я стряпала, у Поли брала доски, стряпала ва'хли. <...> Ну, праздник какой-то был. <...> В печке русской пекла их.*

Домашний хлеб выпекается лишь в некоторых семьях; в основном этот продукт становится покупным, и для его обозначения используется не только традиционное *булка*, но и новое *кирпич*. Ценностное отношение к хлебу сохраняется, о чем свидетельствуют и многие фрагменты бытового дискурса (*То ола'дни испеку, то пирожки испеку, мале'нько, то вроде блины то'лсты испеку <...>. А это... всё равно хлеб лу'чче всего; Я но'нче поцеловала хлеб: ой! как от подушка пухо'ва! ой, какой размилый*), и частотные в речи языковой личности пословицы и поговорки *у хлеба, да без хлеба; хлеб всему голова*.

Как и в предыдущий период, ведётся заготовка на зиму ягод, грибов и овощей. Появление новых видов посуды и кухонных механизмов приводит к распространению не применявшихся ранее способов обработки продуктов: домашнее консервирование осуществляется в основном в стеклянной таре с использованием специальных крышек и закруток; наряду с солением внедряются пастеризация и маринование. Лексический запас информанта увеличивается за счет таких слов, как *стеризова'ть / стерилизовать / пастеризовать, мариновать / меринова'ть, маринованный*: *Коля грибы' набрал бе'лы и мне принёс, я баночку сварила; Пошла до Поли по закру'тку, хочу огурцы замеринова'ть; Я вот но'нче сколько банок продала с огурцами, со всем, с помидорами раздала, счас у меня мало, а так дак большие, с полсотни, большие банок было трёхлитровых. Счас-то мало осталось; Стеризу'ет она, наверно, пастеризует [огурцы]; Их [грибы] пастеризуют, сва'рют, завернёшь этой закруткой-то; Надоедает их [огурцы] делать. Солила, стерилизовала тоже. Возьму да посолю.*

В связи с расширением возможности покупать сахар впрок увеличиваются масштабы заготовки варенья; при этом ягоды как варятся в сахарном сиропе, так и прокручиваются на мясорубке с добавлением сахара. Входят в лексикон единицы *провернуть, извертеть, прокрутить* в значении «измельчить на мясорубке»: *И смородина, и черника, и земляника – всего у меня было нава'лом [варенья]; Я хочу так [ягоду] провернуть её, и не варить поди; Ну, извертеть кода' на мясорубке [клюкву]. И пересыпь, перемешать, как варенье, – и хыть кода' годится.*

Отход от русской кулинарной традиции, для которой было не характерно смешивание и измельчение компонентов блюд, отражается в освоении новых видов заготовок и закусок – ягодных *желе, салатов, хренодёра*: *Там это, как вроде бы... желе тако' прям, это, прокручивают [из калины]; Я е'то-то люблю делать, салат-то, дак а у меня моркови нету, лук жалко дёргать тоже ешо. <...> Я... килограмм перцу, килограмм моркови, килограмм луку, килограмм помидор [нужно по рецепту]; Она много выкопала [хрена]. Наверно, хочет хренодёр, наверно, делать, Лена. Вне сферы заготовок эта тенденция реализуется в распространении *фарша и винегрета*: *Фариу есь у меня, пожарить им?; Так у ей на столе было – холодец, пельмени были, винегрет был, стряпано тоже.**

Некоторые изменения претерпевает традиция, по которой употребление пищи было жёстко соотнесено с тем или иным праздником, обрядом или ритуалом. Наиболее крупные христианские праздники (Рождество, Пасха, Благовещение, Петров день, Троица), а также Масленица и родительский день, содержащие языческие элементы, по-прежнему отмечаются в крестьянском социуме, в том числе употреблением праздничной пищи. Вместе с тем утрачиваются языческие обряды с пищевой компонентой, связанные с угощением домового, началом и завершением земледельческих работ. Влияние религиозных установок существенно уменьшается. Исчезают сопровождающая трапезы молитва, строгое соблюдение постов и мясоедов: *А я... никого не разбираю. Пости'сь не постю'сь, голодать не голодаю... ничё! Кода' захочу, тогда' и ем.* При сохранении сугубо сакральной еды (*па'ски* «куличи»), крашеные яйца, *ми'лостинка* «угощение в память умершего родственника») начинает стираться грань между обрядовым и обыденным, праздничным и будничным: блюда, ранее входившие в состав ритуальных и праздничных, теперь широко употребляются как повседневные: *Она ему [мужу] то оладыи пекёт, то блины, то пироги; Пелемени-то и так надоели. Кода' делать нечего – раз, пелемени сварили, поели, ладно, на ско'ру руку. А раньше как-то модно было вроде бы. Гостей потчевали.* Обрядовый стол на поминках сближается со свадебным по количеству и разнообразию дорогих блюд: *Ой, много [готовят блюд на поминки]! Теперь как на свадьбе же. <...> Вишь, всё наставят на стол, и всё. Как на свадьбе, ага.* На свадьбе обрядовый курник и блины заменяются тортом: *Теперь-то торты стряпают да всё [на свадьбу], а раньше-то блины были, на блины клали.*

Поскольку пища крестьян становится более сытной, исчезает раздельное съедание корки и начинки пирога, бульона и мяса в супе.

Итак, тексты исследуемой языковой личности являются богатым источником изучения пищевой сферы жизни сибирских старожилов.

Материал позволяет утверждать, что в пищевой традиции сибиряков неизменными на протяжении столетия остаются: основной состав продуктов питания; потребление еды, произведенной или добытой в крестьянской семье; синкретичное сочетание черт христианской и языческой пищевой культуры; высокая ценностная значимость хлеба. Эти прошедшие сквозь время черты являются одновременно константными для всей русской пищевой традиции в целом и выступают как одна из скреп, способствующих сохранению национальной идентичности.

Главные трансформации пищевой традиции обусловлены рядом причин – от смены общественного строя, развития технического прогресса и пищевой промышленности, расширения торговых контактов между странами и регионами, усиления связей города и деревни до улучшения условий быта и повышения благосостояния крестьян.

К числу изменений можно отнести уменьшение доли продуктов натурального хозяйства при увеличении набора покупного продовольствия, модификации способов приготовления пищи, сокращение роли религиозного и обрядового начала в крестьянской культуре. В языковом плане эти перемены отражаются на уровне лексико-семантического поля «Еда», концептосферы и дискурса диалектной языковой личности.

Поле «Еда» видоизменяется за счет новых номинаций, среди которых значительные группы составляют названия фруктов и овощей, полуфабрикатов и консервов, морской рыбы, искусственных жиров, и архаизирующихся обозначений некоторых видов выпечки, печёных овощей, натуральных растительных масел, ритуальных блюд. Внутри поля происходит перестройка системных отношений лексем: утрата или развитие формального и семантического варьирования, трансформирование родо-видовых и видо-видовых связей. На концептуальном уровне можно наблюдать стирание граней между сакральным и профанным, праздничным и повседневным, а также между отдельными обрядами. Дискурсивный уровень отражает разные стороны процесса изменения пищевой традиции через жанровую приуроченность текстов (воспоминания / рассказ о повседневном), метатекстовые вкрапления, прецедентные феномены (молитва, притча, пословицы и поговорки).

Думается, что отмеченный в речевой практике сибирского старожилы синтез константных черт пищевой традиции и новых явлений в ней репрезентирует современное состояние крестьянской культуры в целом (ср. выводы в работах [12–14, 16] и др.). Полученные при лингвоперсонологическом анализе наблюдения нуждаются в верификации на материале речи других диалектных языковых личностей.

Литература

1. *Дмитриева С.В.* Лексика тематической группы «Питание» в народной речи в ареальном аспекте (на материале псковских говоров): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Псков, 1999. 19 с.
2. *Карасева Т.В.* Названия пищи в воронежских говорах: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2004. 22 с.
3. *Шхумишхова А.Р.* Номинации понятийной сферы «Пища»: структурно-семантический и функциональный аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Майкоп, 2011. 25 с.

4. Миронова И.К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые когнитивно-пропозиционные структуры и их лексические репрезентации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 20 с.
5. Синячкин В.П. Концепт «хлеб» в русском языке: лингвокультурологические аспекты описания: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 22 с.
6. Савельева О.Г. Концепт «Еда» как фрагмент языковой картины мира: лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты (на материале русского и английского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2006. 24 с.
7. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Продукты питания как социокультурные знаки // Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005. С. 577–599.
8. Боваева Г.М. Лингвокультурная специфика этнических пищевых предпочтений (на материале глоттонических номинаций калмыцко-, русско- и немецкоязычных этносов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2012. 21 с.
9. Варбот Ж.Ж. Диахронический аспект языковой картины мира // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч. конф. М., 2003. С. 343–347.
10. Толстой Н.И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 512 с.
11. Полный словарь диалектной языковой личности / под ред. Е.В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006–2012. Т. 1–4.
12. Русская кухня // Традиция: Русская энциклопедия. http://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F (дата обращения: 20.07. 2016).
13. Киреева И.В. Лексико-семантические и лингвокультурные особенности русской кухонно-бытовой лексики: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 21 с.
14. Сохань И.В. Особенности русской гастрономической культуры // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 347. С. 61–68.
15. Словарь русских народных говоров. СПб.: Наука, 2002. Вып. 36. 344 с.
17. Сергеева Е.В. Культура питания низовых чувашей (конец XIX – начало XXI в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2013. 22 с.

TRANSFORMATION OF THE SIBERIAN FOOD TRADITION IN THE DISCOURSE OF A DIALECT LANGUAGE PERSONALITY: PRODUCTS AND DISHES

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 20–37. DOI: 10.17223/19986645/44/2

Lyudmila G. Gyngazova, Ekaterina V. Ivantsova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru / ekivancova@yandex.ru

Keywords: food tradition, Siberia, dialect language personality, products, dishes, vocabulary, concept sphere, discourse.

Siberian food tradition is seen in the article based on the discursive practice of peasant V.P. Ver-shinina, born in 1909, a native of Tomsk Oblast. The sources of the analysis were the records of her spontaneous speech and data of *Polnyy slovar' dialektnoy yazykovoy lichnosti* [Complete Dictionary of a Dialect Language Personality]. A comparative analysis of the period of the 1910s–1920s, reflected in the speech genre of the dialect speaker's memoirs, and of the period from the mid-20th to the early 21st centuries, presented in everyday dialogues, stories about herself and her fellow villagers, is made.

The materials show that the food tradition of Siberians has unchanged elements: the basic set of food; consumption of food produced or obtained by a peasant family; syncretic preservation of features of Christian and pagan food culture; high value of bread. These features are constant for the entire Russian food tradition as a whole and contribute to the preservation of national identity.

Some of the changes include a decrease in the share of products of subsistence farming by increasing the set of purchased food; modification of cooking methods, reduction of the role of religious and ceremonial elements in peasant culture. Linguistically, these changes are reflected at the level of the lexical-semantic field “food”, the concept sphere and the discourse of the dialect language personality.

The “food” field is modified by new nominations, including large groups of names of fruit and vegetables, semi-finished products and canned food, marine fish, artificial fats and archaizing designa-

tions of certain types of baking, roasted vegetables, natural vegetable oils, ritual dishes. Inside the field there is a change of system relations of words: loss or development of formal and semantic variation, transformation of hyponymy-hyperonymy and hyponymy-hyponymy relations.

At the conceptual level, a significant reduction in the influence of religious orientations on food tradition is observed. With preserving individual kinds of purely sacred food, the boundaries between the sacred and the profane, the festive and the everyday, as well as between individual rites, begin to blur.

The discourse level reflects different sides of the change of food tradition through the genre association of texts (memory / story about routine), metatext inclusions, precedent texts (prayers, parables, proverbs and sayings).

The transformation of food tradition has a number of reasons: from the change of the social system, the development of technical progress and food industry, intensification of trade relations between countries and regions, stronger links between cities and villages to improvement of the living conditions and welfare of peasants.

It seems that the synthesis of the constant features of food tradition and of new phenomena in it, noted in the speech of the Siberian old-timer, represents the current state of the peasant culture as a whole.

References

1. Dmitrieva, S.V. (1999) *Leksika tematicheskoy gruppy "Pitanie" v narodnoy rechi v areal'nom aspekte (na materiale pskovskikh govorov)* [Words of the thematic group "food" in folk speech in the areal aspect (on the material of Pskov dialects)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Pskov.
2. Karaseva, T.V. (2004) *Nazvaniya pishchi v voronezhskikh govorakh* [Food names in Voronezh dialects]. Abstract of Philology Cand. Diss. Voronezh.
3. Shkhumishkhova, A.R. (2011) *Nominatsii ponyatiynoy sfery "Pishcha": strukturno-semantichestkiy i funktsional'nyy aspekty* [Nominations of the conceptual sphere "Food": structural-semantic and functional aspects]. Abstract of Philology Cand. Diss. Maykop.
4. Mironova, I.K. (2002) *Kontseptosfera "Eda" v russkom natsional'nom soznanii: bazovye kognitivno-propozitsionnye struktury i ikh leksicheskie reprezentatsii* [The concept sphere "Food" in the Russian national consciousness: basic cognitive-propositional structures and their lexical representation]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ekaterinburg.
5. Sinyachkin, V.P. (2002) *Kontsept "khleb" v russkom yazyke: lingvokul'turologicheskie aspekty opisaniya* [The concept "bread" in the Russian language: linguistic and cultural aspects of the description]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
6. Savel'eva, O.G. (2006) *Kontsept "Eda" kak fragment yazykovoy kartiny mira: leksiko-semantichestkiy i kognitivno-pragmatichestkiy aspekty (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)* [The concept "Food" as a fragment of the language picture of the world: lexical-semantic and cognitive-pragmatic aspects (in Russian and English)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Krasnodar.
7. Kitaygorodskaya, M.V. & Rozanova, N.N. (2005) *Produkty pitaniya kak sotsiokul'turnye znaki* [Food as socio-cultural signs]. In: Toporov, V.N. (ed.) *Yazyk. Lichnost'. Tekst* [Language. Personality. Text]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
8. Bovaeva, G.M. (2012) *Lingvokul'turnaya spetsifika etnicheskikh pishchevykh predpochteniy (na materiale glyuttonicheskikh nominatsiy kalmytsko-, russko- i nemetskoyazychnykh etnosov)* [Linguistic and cultural specificity of ethnic food preferences (based on gluttony nominations of Kalmyk-, Russian- and German-speaking ethnic groups)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kazan.
9. Varbot, J.J. (2003) *Diakhronicheskiy aspekt yazykovoy kartiny mira* [Diachronic aspects of the language picture of the world]. *Rusistika na poroge XXI veka: problemy i perspektivy* [Russian Studies at the threshold of the 21st century: problems and prospects]. Proceedings of the international conference. Moscow. pp. 343–347. (In Russian).
10. Tolstoy, N.I. (1995) *Yazyk i narodnaya kul'tura: ocherki po slavyanskoy mifologii i etnolingvistike* [Language and folk culture: Essays on Slavic mythology and ethnolinguistics]. Moscow: Indrik.
11. Ivantsova, E.V. (ed.) (2006–2012) *Polnyy slovar' dialektnoy yazykovoy lichnosti* [Complete Dictionary of a Dialect Language Personality]. Vols 1–4. Tomsk: Tomsk State University.
12. Traditsiya: Russkaya entsiklopediya. (2016) *Russkaya kuchnya* [Russian cuisine]. [Online] Available from: http://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F. (Accessed: 20th July 2016).

13. Kireeva, I.V. (2005) *Leksiko-semanticheskie i lingvokul'turnye osobennosti russkoy kukhonno-bytovoy leksiki* [Lexical-semantic and linguistic and cultural aspects of Russian cuisine and household vocabulary]. Abstract of Philology Cand. Diss. Krasnodar.
14. Sokhan', I.V. (2011) Features of Russian gastronomic culture. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 347. pp. 61–68. (In Russian).
15. Sorokaletov, F.P. (ed.) (2002) *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Vol. 36. St. Petersburg: Nauka.
17. Sergeeva, E.V. (2013) *Kul'tura pitaniya nizovykh chuvashy (konets XIX – nachalo XXI v.)* [Culture of food of low class Chuvash people (late 19th – early 21st centuries)]. Abstract of History Cand. Diss. Samara.

УДК 811.161.1

DOI: 10.17223/19986645/44/3

О.Н. Кондратьева

«СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СМИ» КАК НОВЫЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ¹

Статья представляет научной общественности новый словарь политических терминов, создаваемый на основе материалов российских средств массовой информации XXI в. Целью работы является обоснование концепции словаря, фиксирующего не нормативное, а реальное значение политической терминологии в медиадискурсе нашего времени. Описывается структура словарной статьи, в качестве примера предлагается словарная статья ОЛИГАРХИЯ, проводится анализ полученных в процессе лексикографирования результатов.

Ключевые слова: лингвополитология, лексикография, языковое сознание, дискурс СМИ, терминология, концептуальная метафора, олигархия.

Многочисленные и разнообразные преобразования, произошедшие в начале XXI в. во всех сферах жизни российского общества, оказали существенное влияние на менталитет русской нации, на особенности восприятия действительности и, как следствие, на языковое сознание.

Среди тематических групп, с наибольшей полнотой отражающих изменения, происходящие в жизни общества, Г.Н. Складывшаяся на первое место ставит тематическую группу «Политика, государственное устройство, идеология» [1. С. 14]. Н.С. Валгина также отмечает, что «на наших глазах фактически создается новый политический словарь» [2. С. 79]. Действительно, изменения в политической и экономической сферах приводят к уходу из употребления терминов, активных в советскую эпоху, наблюдается возвращение политической терминологии периода дореволюционной России (например, *губернатор, чиновник*), внедряется терминология, связанная с экономическим и социальным устройством зарубежных стран (например, *импичмент, инаугурация, омбудсмен* и др.).

Политическая терминология XXI в. переживает процесс семантической модификации, изменения сочетаемости, стилистической переориентации, а также зачастую и переоценки (см. [1, 3, 4] и др.). Все перечисленные процессы не успевают фиксироваться в словарях, но они характеризуют языковое сознание современных носителей языка. Сказанное определяет необходимость создания словарей нового типа, фиксирующих реальное, а не нормативное значение политической терминологии в наши дни.

За каждым политическим термином стоит концепт, состоящий из понятийного, образного и оценочного слоев, т.е. включающий всю совокупность знаний о фрагменте политической реальности, характерную для представителей лингвокультуры в конкретную эпоху. Соответственно, задача словарей

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект 15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ конфликтов в сфере обиденной политической коммуникации».

нового типа – «зафиксировать и описать основные политические концепты, мифологемы, фреймы (типа «политика», «власть», «сильная рука», «мировая закулиса», «Сталин» и т.п.) и основные способы их языкового воплощения» [5. С. 67].

Наиболее активными распространителями «нового слова» являются средства массовой информации, именно в них новая идеология обретает официальное закрепление, их влияние на рядовых носителей языка «в настоящее время не ограничено никакими рамками» [2. С. 129]. Массмедиа не только наиболее мобильно реагируют на происходящие в обществе и в языковом сознании изменения, но и во многом определяют изменения в сознании значительной части рядовых носителей языка, чрезвычайно восприимчивых к влиянию СМИ. Именно поэтому, на наш взгляд, интересным и значимым будет словарь политических терминов, основанный на анализе употребления политической терминологии и экспликации ее концептуального содержания в современных средствах массовой информации.

Задача предлагаемого словаря нового типа – анализ реального функционирования политической терминологии в дискурсе СМИ, выявление стоящего за политической терминологией концептуального содержания. Решение данной задачи позволит определить аспекты политической терминологии, актуализируемые СМИ, установить транслируемую СМИ рядовым носителям языка систему оценок фрагментов политической картины мира.

Словарь, сосредоточенный на описании реального функционирования политической терминологии в медиадискурсе, по своей сути будет словарем описательного типа, он объективно зафиксирует, какую информацию несет в себе политический термин, какое содержание вкладывают в него представители массмедиа, как он оценивается в отечественных средствах массовой информации. Данный словарь предполагает лингвокогнитивную и лингвокультурологическую направленность, поскольку будет ориентирован на анализ не только языковых фактов, но и концептов, он непременно должен учитывать национальную специфику анализируемых явлений.

В настоящей статье предлагается структура словарной статьи «Словаря политических терминов в СМИ» и дается в качестве примера словарная статья ОЛИГАРХИЯ. Выбор термина «олигархия» для иллюстрации предлагаемой концепции словаря определяется, во-первых, тем, что слова олигархия / олигарх являются «знаковыми словами эпохи», они «в современном русском языке буквально за несколько лет обрели статус концептообразующих, вербализующих новую для России реальность власти – концепт «Олигархия» [6. С. 290]; во-вторых, тем, что данный термин и стоящий за ним концепт в Новое время претерпели существенные изменения, и произошли эти изменения во многом именно благодаря российским СМИ.

Продemonстрируем второй тезис двумя цитатами: *«Россию с середины 1990-х годов в СМИ часто называют (выделено нами. – О.К.) олигархическим государством (М. Тульский. Олигархия времен Платона и современная российская олигархия // Русский журнал. 2001); В современной России олигархами с легкой руки СМИ (выделено нами. – О.К.) стали называть практически любого богатого представителя крупного частного бизнеса, причем не обязательно стоящего у власти. Для того, чтобы казаться в глазах неис-*

кушенной российской публики настоящим «олигархом», достаточно продемонстрировать обладание более-менее удачной имитацией «высших символов» могущества, вроде дорогого автомобиля с охраной, спецсигналов, спецзнаков, спецсвязи, спецпропусков (А. Яник. Олигархия // История современной России). Рефлексивы «часто называют в СМИ», «с легкой руки СМИ» убедительно показывают степень влияния российских массмедиа на трансформацию семантики политической терминологии и трансляцию произошедших изменений в область языкового сознания рядовых носителей языка.

Материалом для составления словарной статьи послужили тексты российских средств массовой информации XXI в. (2000–2015 гг.), извлеченные методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка. В дальнейшем при составлении словаря планируется использовать данные, полученные из систем и сайтов, предоставляющих доступ к архивам современных СМИ (Интегрум, Polpred.com, East view и др.).

Исследование извлеченных из базы контекстов основывалось прежде всего на анализе сочетаемости термина, поскольку «сочетаемость как основа семантической деривации чрезвычайно характерна для нашего времени. Чем дальше отход от типовой узуальной сочетаемости, тем больше возможностей для семантического развития. Слово, обращенное к другому объекту мира, меняет свою семантику, одновременно меняя для говорящих сам фрагмент языковой картины мира [1]. Анализ сочетаемости термина-репрезентанта концепта позволяет выявить круг соположенных концептов, определить набор метафор, посредством которых актуализируется концепт в СМИ, эксплицировать его оценочную составляющую.

Структура словарной статьи

Заголовочное слово дается прописными буквами и выделяется полужирным шрифтом. Основное содержание словарной статьи состоит из нескольких блоков, позволяющих выявить слои политического концепта.

Понятийный слой концепта актуализируется, во-первых, посредством анализа содержащихся в средствах массовой информации определений термина, которые часто сопровождаются метаязыковой рефлексией авторов. Во многих случаях предлагаемые журналистами дефиниции в значительной степени отличаются от дефиниций, содержащихся в словарях, и эксплицируют концептуальные признаки, актуальные для современной лингвокультурной ситуации.

Во-вторых, вскрыть понятийную составляющую концепта позволяет привлечение полученной в СМИ информации энциклопедического характера, значимой для наиболее полной характеристики содержания концепта в данный период. Это может быть видовая характеристика стоящего за термином объекта или явления, указание на историю его возникновения в России, период его существования. Данная информация обладает несомненной лингвокультурной спецификой и актуализирует признаки, значимые для изучаемого временного среза.

В-третьих, понятийный слой описывается посредством установления группы концептов, находящихся во взаимосвязи с анализируемым политическим концептом. Подобная концептуальная близость является отражением когнитивной взаимосвязи понятий в сознании носителей языка.

Образный и оценочный слои концепта позволяет эксплицировать анализ метафорической сочетаемости термина-репрезентанта политического концепта в российских СМИ. Основанием для включения в словарь метафор служит тот факт, что «повышенная метафоричность» является «одной из особенностей функционирования лексики в языке массовой печати» [2. С. 95]. Анализ контекстов направлен «от метафорических значений к интерпретации систем исходных номинативных значений как языковых репрезентаций соответствующего концепта» [7. С. 32]. Подобный подход позволяет установить набор образов, с которыми в средствах массовой информации соотносится политический концепт, определить отношение к нему представителей масс-медиа, выявить его оценку. Кроме того, в рамках когнитивной лингвистики метафора уже традиционно трактуется не как образное средство языка, некое украшение речи, а одна из основных когнитивных операций, заключающаяся в установлении аналогий между абстрактным и конкретным, новым и хорошо изученным, позволяющая формулировать новое знание (подробный обзор работ, посвященных когнитивной функции метафоры, представлен в [8]). Исследование способов метафорического осмысления политических концептов «позволяет реконструировать особенности мышления как человека, так и социума в целом, отдельных его социальных страт» [9. С. 4].

В настоящее время теория концептуальной метафоры развивается весьма интенсивно, что порождает множественность моделей описания. При анализе метафоры в СМИ использована классификация метафорических моделей, предложенная А.П. Чудиновым [10], основанная на выделении сфер-источников метафорической экспансии. При этом антропоцентрический характер когнитивных процессов зачастую приводит к взаимопересечению метафорических моделей, а также структурирующих их фреймов и слотов. Например, милитарные и религиозные метафоры могут быть рассмотрены как самостоятельные модели, имеющие своим источником субсферы «война» и «религия», но могут быть проинтерпретированы и как частные проявления антропоморфной метафоры, характеризующей определенные виды деятельности человека.

Оценочная составляющая политического концепта также весьма значима в СМИ, не случайно социальная оценочность признается одной из главных стиливых черт языка средств массовой информации (см. [11, 12]). Представленная в отечественных массмедиа в эксплицитной или имплицитной форме оценка способна формировать и регулировать отношение общества к освещаемым феноменам. Под оценкой мы вслед за А.Н Шраммом понимаем «выраженное в словесной форме отношение человека к окружающим его предметам и явлениям, как результат его взаимодействия с окружающим миром» [13. С. 39].

Формируемые в СМИ оценки политических концептов возможно классифицировать по разным параметрам: по аксиологической интерпретации (положительная, отрицательная); по способу отражения оцениваемого объекта (эмоциональная, рациональная); по соотношению объективного и субъективного факторов (общая, частная); по способу оценивания (абсолютная, компаративная); по влиянию контекста (ингерентная, адгерентная); по способу выражения оценки (эксплицитная, имплицитная) (см. [14, 15]).

Для предлагаемого словаря значимой является аксиологическая классификация, поскольку именно она позволяет ответить на вопрос о том, положительно или отрицательно относятся СМИ к тому или иному политическому явлению, признают или отрицают его ценность. Два значения аксиологического оператора («хорошо / плохо») позволяют выделить два типа оценки: 1) положительную (мелиоративную); 2) отрицательную (пейоративную, дерогативную), при этом не принципиально, какими именно средствами (лексическими, стилистическими, синтаксическими) эта оценка выражена, значимо исключительно формируемое СМИ отношение к описываемому политическому феномену.

Распределение концептуальных признаков внутри каждого концептуального слоя (понятийного, образного, оценочного) возможно двумя способами. В рамках первого способа концептуальные признаки выстраиваются строго по мере убывания частоты употребления, с приведением всех их репрезентантов разной частиречной принадлежности, трактуемых как самостоятельные единицы анализа (такой способ используется, например, в разрабатываемом с участием автора настоящей статьи «Словаре обыденного толкования политических терминов»).

В рамках второго способа извлеченные из контекстов концептуальные признаки группируются по принципу семантической общности, репрезентанты разной частиречной принадлежности объединяются в одну группу и только после этого производится ранжирование выявленных концептуальных признаков по частотности.

Второй вариант представляется нам на данной стадии эксперимента более предпочтительным, так как позволяет абстрагироваться от частеречной принадлежности репрезентантов и сосредоточиться на смысловой, понятийной составляющей, что вполне в традициях когнитивной лингвистики, для которой язык – «это единый континуум символьных единиц, не подразделяющийся естественным образом на лексикон, морфологию и синтаксис.Понятийное сближение воспринимается как фактор значительно более важный, чем уровневые или структурные различия [10. С. 37]. Такой подход, на наш взгляд, позволяет избежать энтропии, когда единый концептуальный смысл оказывается рассеянным по частным частеречным проявлениям, позволяет более рельефно выявить ядерные когнитивные узлы, вокруг которых и группируется актуальная для периода исследования концептуальная информация, определяющая специфику содержания политического термина в российских СМИ.

Завершает словарную статью иллюстративный материал, приводится 10–15 контекстов, наиболее типичных для российских СМИ XXI в. Контексты включаются в состав словарной статьи со следующими целями: во-первых, подтверждают факт активного использования термина в российских СМИ; во-вторых, разнообразием контекстов демонстрируют особенности реального функционирования термина; в-третьих, представляя некоторые сведения о термине и стоящем за ним концепте, служат дополнением к толкованию. Таким образом, иллюстративный материал позволяет наглядно представить особенности функционирования политической терминологии в СМИ и эксплицировать их концептуальное содержание.

Образец словарной статьи

ОЛИГАРХИЯ

Определение: 1) власть немногих; политическая система; государственный строй; власть богатых; сращивание бизнеса с политикой; сращивание бизнеса и власти; экономическое и политическое влияние немногих; система параллельной экономической власти; продуманная система, ориентированная не столько на извлечение прибыли, сколько на удержание власти; политическое и экономическое явление; одна из высших форм монополии; 2) класс или группа людей; крайне узкий круг лиц; совокупность людей, которым на самом деле принадлежит власть; национальная элита.

Соотношение с другими видами политического и экономического строя: 1) демократия; аристократия (противопоставление); 2) анархия; капитализм (отождествление); 3) охлократия; медиакратия (взаимодействие).

Разновидности: 1) сырьевая; топливно-сырьевая; финансовая; финансово-сырьевая; нефтяная; промышленная; 2) боярская; чекистская, партийная; ельцинская; политическая; кремлевская; чиновничья; 3) криминальная; мафиозная; преступная; вороватая; 4) мировая; международная; космополитичная; транснациональная; западная; арабских стран; российская; украинская; отечественная; 5) силовая; репрессивная; 6) офшорная; административно-земельная; 7) советская; постсоветская; 8) соревновательная.

Происхождение в России: вышла из комсомола; порождение чиновничества; создала советская система; результат приватизации; следствие коррупции, отсутствия антимонопольной политики; раздача хозяйствующим субъектам серьезных экономических преференций через институт президентской власти; ваучеризация; пирамиды; разборки.

Период существования в России: 1) 90-е; явление 90-х; сложилась в России на протяжении последнего десятилетия XX; нулевые; 2) покончено в эру равноудаленности; за годы президентства Владимира Путина была изжита; демократизация – главное достижение Владимира Путина, сделала олигархию нежизнеспособной; сейчас у нас олигархии нет; с олигархией в России покончено.

Связь с другими концептами (ассоциации): 1) власть; всевластие; вседозволенность; контроль; влияние; 2) экономика; бизнес; капитал; деньги; собственность; богатство; финансы; концентрация ресурсов; золотой телец; обогащение; 3) криминал; преступность, организованная преступность; мафия; воровство; безнаказанность; уголовщина; агрессия против населения; 4) чиновничество; чиновники; бюрократия; бюрократы; коррупция; коррупционность; 5) политика; выборы; классовые интересы; безразличие к судьбам народа.

Метафоры: 1) *антропоморфные* (в цепких руках олигархии; железная пята олигархии; в лице олигархии, найти общий язык с олигархией; рождение олигархии; зачаточное состояние олигархии; растущие аппетиты олигархии; зажравшаяся олигархия; олигархия распоясалась; разгул олигархии); 2) *милитарные* (сразиться с олигархией; победить олигархию; зачистка олигархии; разбить наголову олигархию; олигархия контратаковала; реванш олигархии; олигархия-завоеватель; полигон олигархии); 3) *религиозные* (пат-

риарх местной олигархии, олигархия поклоняется золотому тельцу); 4) **сексуальные** (олигархия надругалась над народом; ложиться под олигархию; олигархия проституточна; бизнес и олигархия над народом в позиции сверху); 5) **медицинские** (пандемия олигархии; Россия оправилась от олигархии); 6) **зооморфные** (олигархия – священная корова; олигархия – дойная корова; трехглавая олигархия, цупальца олигархии; обуздать олигархию; игра в кошки-мышки с олигархией, где олигархия – кошка); 7) **фитоморфные** (расцвет олигархии; укоренилась олигархия; искоренить олигархию; цветущая олигархия); 8) **строительные** (демонтировать олигархию; реставрация олигархии); 9) **пространственные** (олигархическая верхушка; низвергнуть олигархию; зияющие высоты олигархии; олигархия подмяла страну под себя; столкнута с высоты олигархию; оттеснение олигархии с командных высот в политике и экономике).

Оценка: абсолютное зло; осуждение олигархии; зажавшаяся олигархия; проституточная олигархия; безнаказанная олигархия.

Контексты употребления: Олигархия – власть немногих – не может продолжаться долго (Труд-7, 2000); Этот симбиоз и есть классическая олигархия – сращивание бизнеса с политикой, причем бизнес занимает «позицию сверху» (Комсомольская правда, 2004); Олигархия (это следует из определения) подразумевает сращивание бизнеса с властью (Известия, 2005); Ведь мощное экономическое и политическое влияние немногих и составляет смысл слова «олигархия» (Труд-7, 2004); Олигархия – это как раз порождение чиновничества: кто раздавал собственность за бесценок? (Комсомольская правда, 2005); На самом деле, то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается не демократией, а смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией (Комсомольская правда, 2012); «Деньги – влияние – деньги» – вот формула жизнедеятельности любой олигархии (Труд-7); Олигархия профессиональных политиков всегда добьется того, чтобы на выборах победил нужный им человек (Комсомольская правда, 2011); Именно бюрократия, уголовщина и сырьевой бизнес объединились в олигархию для захвата власти с целью раздела и дальнейшего передела нашей бывшей общей собственности (Известия, 2007); Отдавая честь партийным лозунгам, приветствуя законное начальство, вылизывая шершавым языком все предназначенные для этого места, местная олигархия подомнет страну под себя (РИА Новости, 2008); В России олигархия проституточна, она сотрудничает с властью не по любви, а из страха (Новый регион 2, 2008); Это трехглавая олигархия, каждая голова которой означает преступность, коррумпированное чиновничество и сырьевой бизнес (Известия, 2007); Это союз вороватой олигархии, коррумпированного чиновничества и жириновицины... (Комсомольская правда, 2003); Олигархия вообще не предлагает ничего для борьбы с оргпреступностью и ее разновидностью – коррупцией, т.к. она для олигархии является «социально близкой» (Труд-7, 2001); Его суть – демонстрация окончательной победы силовой олигархии над коммерческой и окончательное установление грабежа бизнеса и агрессии против населения как формы существования силовой олигархии, а следовательно, и всего современного Российского государства (Комсомольская правда, 2005); Это и формально не являющиеся бизнесменами коррумпированные чиновники, рас-

смаатривающие свою службу (в том числе и в силовых структурах) как способ обогащения. Поэтому олигархия является абсолютным злом. Но ее нельзя механически отождествлять с крупным бизнесом как таковым – основой конкурентоспособности современного общества (Труд-7, 2004); Известно также, что с наступлением эры равноудаленности с олигархией в России покончено, а занявшие места Ходорковского или Гусинского граждане называются другим словом, не являющимся в данный момент предметом разбирательства (РИА Новости, 2007).

Таким образом, помимо традиционных концептуальных признаков «политическое и экономическое господство небольшой группы лиц», «обладание значительным капиталом», сохраняется отмеченный в конце XX в. признак «нечестное обогащение нерыночными методами» [3. С. 242], появляется его усиленная модификация «тесная связь с криминалом», актуализируется новый признак «вседозволенность и безразличие к судьбе населения», редуцируется характерный для 90-х гг. XX в. концептуальный признак «теневого влияния на политику государства» [2. С. 242].

Метафорическая репрезентация концепта «олигархия» создает достаточно негативный образ олигархии как некоего субъекта или объекта, мешающего нормальному функционированию общества. Это может быть агрессивное существо, надругавшееся над народом, крепко держащее его за горло или наступившее на него железной пятой, спрут, сжавший страну в своих щупальцах, укоренившийся и расцветший на российской почве сорняк, тяжелая болезнь.

С помощью метафор в СМИ регулярно акцентируется внимание на необходимости жесткого контроля над олигархией и на необходимости ее нивелирования. Данное значение реализуется с помощью зооморфных метафор (*обуздать олигархию*), фитоморфных (*искоренить олигархию*), строительных (*демонтировать олигархию*), пространственных (*низвергнуть олигархию*), милитарных (*сразиться с олигархией и разбить наголову*).

Традиционно отмечается, что возвращенные в обиход политические термины обладают «расщепленной коннотацией» [2. С. 78; 16. С. 155–158]. В связи с идеологической и материальной дифференциацией общества одни и те же слова приобретают для разных социальных групп разные оценочные коннотации, для новых русских эти слова (например, олигарх, предпринимательство и др.) «звучат безусловно положительно, это неотъемлемая часть их имиджа. Для тех же, кто в результате новых экономических преобразований пострадал и попросту обнищал, слова эти воспринимаются резко отрицательно» [2. С. 78]. Российские средства массовой информации дают исключительно негативную оценку олигархии. Это видно как из приведенных в соответствующем разделе метафор, так из непосредственных оценок, в частности, в целом ряде контекстов в качестве ключевых выступают такие концептуальные признаки олигархии, как «абсолютное зло» и «осуждение». Для мирового сообщества характерно уважительное либо нейтральное отношение к национальной олигархии, соответственно, столь негативная оценка отечественной олигархии, представленная в российских средствах массовой информа-

ции, является характерной чертой русской лингвокультуры начала XXI столетия.

Резюмируя сказанное, отметим, что проведенный анализ убедительно показал наличие специфики в функционировании политической терминологии в российских СМИ XXI в., выражающейся в трансформации семантики терминов, корректировке стоящего за ними концептуального содержания, и изменения оценки соответствующего концепта средствами массовой информации. Таким образом, предложенная концепция словаря нового типа и макет словарной статьи позволяют продемонстрировать продуктивность анализа политической терминологии в дискурсе российских СМИ и имеют, на наш взгляд, серьезные перспективы.

Сравнение данных, представленных в «Словаре политических терминов в СМИ», с данными толковых, энциклопедических, концептных и профессиональных словарей создаст перспективу для семасиологических и лексикографических исследований, «позволит внести дополнительные коррективы в отражение в толковых словарях наивной картины мира» [17. С. 60], а сопоставление с данными, представленными в «Словаре обыденного толкования политических терминов», даст возможность определить степень влияния СМИ на языковое сознание рядовых носителей языка.

Полученные данные позволят специалистам в области политологии и представителям СМИ учитывать реальные смыслы, стоящие за политической терминологией, что даст возможность избежать коммуникативных неудач и конфликтов интерпретаций, сделает процесс распространения информации и воздействия на адресата более эффективным.

Литература

1. Складаревская Г.Н. Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы // Исследования по славянским языкам. Сеул, 2001. № 6. С. 177–202. URL: <http://philology.ru/linguistics2/sklyarevskaya-01.htm>
2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2003. 304 с.
3. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М.: Олма-Пресс, 2005. 384 с.
4. Юдина Н.В. Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс? М.: Гнозис, 2010. 293 с.
5. Голев Н.Д. Обыденная лингвополитология: проблемы и перспективы // Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2011. С. 66–69.
6. Кушнир О.Н. Эволюция макроконцепта «власть» как феномен неструктивного «расщепления» концептосферы // Вестн. Чуваш. гос. ун-та. 2012. № 2. С. 287–296.
7. Резанова З.И. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира : идеи, методы, решения // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер.: Филология. 2010. № 1 (9). С. 26–43.
8. Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (XX–XX вв.): дис. ... д-ра филол. наук. Кемерово, 2014. 404 с.
9. Баранов А.Н. Анализ метафоры как метод изучения политического дискурса // Баранов А.Н., Михайлова О.В., Шипова Е.А. Некоторые константы русского политического дискурса сквозь призму политической метафоры («взаимоотношения бизнеса и власти», «коррупция»). М.: Фонд ИНДЕМ, 2006. С. 4–5.
10. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург: УрГПУ, 2001. 238 с.

11. Клушина Н.И. Языковые механизмы формирования оценки в СМИ // Публицистика и информация в современном обществе / под ред. Г.Я. Солганика. М., 2008. URL: www.gramota.ru/mag-arch.html?id=80#prim
12. Солганик Г.Я. Лексика газеты: Функциональный аспект. М.: Высш. шк., 1981. 112 с.
13. Шрамм А.М. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Л., 1979. 134 с.
14. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.
15. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. 205 с.
16. Савицкий Н.П. Позитивное и негативное отражение общества в язык // Словарь. Грамматика. Текст / отв. ред. Ю.Н. Караулов, М.В. Ляпон. М., 1996. С. 155–158.
17. Голев Н.Д. От редактора // Словарь обыденных толкований русских слов: Лексика природы: в 2 т. Т. 1: А–М (Абрикос – муравей) / под ред. Н.Д. Голева. Кемерово, 2012. 550 с.

THE DICTIONARY OF POLITICAL TERMS IN THE MEDIA AS A NEW LEXICOGRAPHICAL PRODUCT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 38–49. DOI: 10.17223/19986645/44/3

Olga N. Kondratyeva, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: Kondr25@rambler.ru

Keywords: linguopolitical science, lexicography, language consciousness, discourse of mass-media, terminology, conceptual metaphor, oligarchy.

The article introduces to the academic community a new dictionary of political terms created on the basis of materials of the Russian mass media of the 21st century. The aim of the work is to explain the concept of the dictionary that fixes not the normative, but the actual meaning of political terminology in the media discourse of our time. The structure of the entry is described by the example of the entry OLIGARCHY; the analysis of the practical lexicography results is made.

The entry consists of sections that describe the conceptual, figurative and evaluative layers of the political concept represented by the term “oligarchy”, it also contains an illustrative material. Such a structure of the entry allows analyzing the definitions of the term offered in mass-media, presenting information of encyclopaedic character, which undoubtedly has a linguo-cultural specific character, determining a circle of concepts that are associatively connected with the analyzed term. The analysis of metaphorical compatibility of the term representing the political concept in the Russian mass-media establishes a set of images the political concept correlates with in the language consciousness, determines the attitude of mass-media representatives to it, shows its assessment.

The material presented in the entry “Oligarchy” conclusively shows that besides traditional conceptual attributes “political and economic domination of a small group of persons”, “possession of a significant capital”, the attribute “dishonest enrichment by non-market methods”, which appeared at the end of the 20th century, is preserved, and its stronger modification “close connection with crime” appears, a new attribute “permissiveness and indifference to the destiny of the population” is staticized, the conceptual attribute “shadow influence on the state policy”, characteristic for the 1990s, is reduced.

Metaphorical representations in mass-media discourse create quite a negative image of oligarchy as a certain subject or object impeding the normal functioning of society. It may be an aggressive creature that has outraged people, that has them by the throat or steps on them with its iron foot, an octopus that has clasped the country in its feelers, a weed that has taken roots in the Russian ground, a grave disease. The negative assessment of oligarchy by the Russian mass-media is traced not only in metaphors, but also in direct assessment, in particular, in a lot of contexts such conceptual attributes of oligarchy as “universal evil” and “condemnation” are key ones.

Thus, the research has shown specific features in the functioning of political terminology in the Russian mass media of the 21st century that are expressed in the transformation of the semantics of terms, in the updating of their conceptual content and in the change in the assessment of corresponding concepts by mass-media representatives.

References

1. Sklyarevskaya, G.N. (2001) Slovo v menyayushchemsya mire: russkiy yazyk nachala XXI stoletiya: sostoyanie, problemy, perspektivy [Word in a changing world: Russian language of beginning of the 21st century: the state, problems and prospects]. *Issledovaniya po slavyanskim yazykam*. 6. pp. 177–202. [Online] Available from: <http://philology.ru/linguistics2/sklyarevskaya-01.htm>.
2. Valgina, N.S. (2003) *Aktivnye protsessy v sovremennom russkom yazyke* [Active processes in modern Russian]. Moscow: Logos.
3. Vepreva, I.T. (2005) *Yazykovaya refleksiya v postsovetskuyu epokhu* [Language reflection in the post-Soviet era]. Moscow: Olma-Press.
4. Yudina, N.V. (2010) *Russkiy yazyk v XXI veke: krizis? evolyutsiya? Progress?* [The Russian language in the 21st century: crisis? evolution? progress?]. Moscow: Gnozis.
5. Golev, N.D. (2011) Obydennaya lingvopolitologiya: problemy i perspektivy [Everyday linguistic political science: problems and prospects]. In: Budaev, E.V. et al. *Sovremennaya politicheskaya lingvistika* [Modern political linguistics]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
6. Kushnir, O.N. (2012) Evolution of the “power” macroconcept as a phenomenon of nondestructive “splitting” of concepts spheres. *Vestnik Chuvashskogo universiteta – Bulletin of the Chuvash University*. 2. pp. 287–296. (In Russian).
7. Rezanova, Z.I. (2010) Metaphorical segment of Russian linguistic picture of the world: ideas, methods, solutions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 1 (9). pp. 26–43. (In Russian).
8. Kondrat'eva, O.N. (2014) *Dinamika metaforicheskikh modeley v russkoy lingvokul'ture (XI–XX vv.)* [Dynamics of metaphorical models in Russian language culture (11th–20th centuries)]. Philology Dr. Diss. Kemerovo.
9. Baranov, A.N. (2006) Analiz metaforiki kak metod izucheniya politicheskogo diskursa [Analysis of metaphors as a method of studying the political discourse]. In: Baranov, A.N., Mikhaylova, O.V. & Shipova, E.A. *Nekotorye konstanty russkogo politicheskogo diskursa skvoz' prizmu politicheskoy metaforiki ('vzaimootnosheniya biznesa i vlasti', 'korruptsiya')* [Some of the constants of Russian political discourse through the prism political metaphors ('the relationship of business and government', 'corruption')]. Moscow: Fond INDEM.
10. Chudinov, A.P. (2001) *Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991–2000)* [Russia in a metaphorical mirror: Cognitive study of political metaphors (1991–2000)]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
11. Klushina, N.I. (2008) Yazykovye mekhanizmy formirovaniya otsenki v SMI [Language mechanisms of evaluation in the media]. In: Solganik, G.Ya. (ed.) *Publitsistika i informatsiya v sovremennom obshchestve* [Journalism and information in modern society]. Moscow: Moscow State University. [Online] Available from: www.gramota.ru/mag-arch.html?id=80#prim.
12. Solganik, G.Ya. (1981) *Leksika gazety. Funktsional'nyy aspekt* [Vocabulary of the newspaper. A functional aspect]. Moscow: Vysshaya shkola.
13. Shramm, A.M. (1979) *Ocherki po semantike kachestvennykh prilagatel'nykh (na materiale sovremennogo russkogo yazyka)* [Essays on the semantics of qualitative adjectives (in modern Russian language)]. Leningrad: Leningrad State University.
14. Arutyunova, N.D. (1988) *Tipy yazykovykh znacheniy. Otsenka. Sobytie. Fakt* [Types of linguistic meanings. Evaluation. Event. Fact]. Moscow: Nauka.

15. Vol'f, E.M. (1985) *Funktsional'naya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moscow: Nauka.
16. Savitskiy, N.P. (1996) Pozitivnoe i negativnoe otrazhenie obshchestva v yazyk [Positive and negative reflection of the society in the language]. In: Karaulov, Yu.N. & Lyapon, M.V. (eds) *Slovar'. Grammatika. Tekst* [Dictionary. Grammar. Text]. Moscow: IRL RAS.
17. Golev, N.D. (2012) Ot redaktora [From the Editor]. In: Golev, N.D. (ed.) *Slovar' obydennykh tolkovaniy russkikh slov. Leksika prirody. V 2 t.* [Dictionary of ordinary interpretations of Russian words. Vocabulary of nature. In 2 vols]. Vol. 1. Kemerovo: Ofset.

УДК 811.161.1

DOI: 10.17223/19986645/44/4

О.В. Нагель

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН СИНКРЕТИЧНОЙ ЗОНЫ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

В статье описывается природа функциональной специфики русских производных имен синкретичной семантики. Утверждается, что совмещение номинативного и прагматического аспектов в семантике синкретичного производного определяет его внешнесистемные отношения. На примере функционирования производных в позиции фокуса и топика анализируются сложный процесс встраивания производных в текст и настройка семантики как предтекста, так и последующего контекста на пропозициональные компоненты производного.

Ключевые слова: синкретичные производные, пропозиция, текстовое включение, позиция фокуса, позиция топика, актуализация пропозиционального содержания.

Введение

В работе представлено описание природы функциональной специфики производных одной из семантических зон русской словообразовательной системы, определяемой нами как зона синкретичной номинации [1–3]. Функциональная специфика производных анализируемой зоны в работе понимается как специфика внешнесистемных отношений производной единицы, которая реализована в тексте и ориентирована, посредством выстраивания данных отношений, на выполнение коммуникативной функции характеристики и оценки. Словообразовательные типы (СТ), используемые для образования исследуемых производных (см. весь список СТ в работе 4), характеризуются свойством семантического совмещения номинативного и прагматического аспектов, что является основанием их синкретичной природы. Например, мы считаем, что определение словообразовательного значения (СЗ) словообразовательного типа *основа гл. + ун* как «тот, кто характеризуется действием, названным производящей основой: *говору́н* – тот, кто *говорит*» является недостаточно полным, так как не отражает ряд смыслов, которые появляются в результате именно словообразовательного акта. Например, Толковый словарь Ожегова [5] предлагает следующее толкование: *Говор'ун, -а, м. (разг.). Человек, который любит много говорить*. Данное толкование актуализирует оценочный смысл склонности к действию, названный производящей основой. Согласно словарному толкованию в результате словообразовательной операции появляется дополнительный смысл не только количественной (склонность к действию – говорению), но и качественной оценки (склонность к пустой болтовне): *ГОВОРУ́Н, говоруна, муж. (разг.). Тот, кто склонен к многословию, к пустой болтовне* [6]. Соответственно, в описании СЗ предлагается включать значение отклонения от нормы данного признака: *говору́н* – тот, кто говорит, делает это часто, любит это делать, имеет к этому склонность и это может быть хорошо/плохо. Таким образом, производное, называя

лицо по характерному для него действию, содержит в своей семантике модусный смысл рациональной оценки «больше нормы» и эмоциональную оценку «хорошо/плохо» [3, 4].

Семантический синкретизм рассматриваемых производных определяет специфику их текстового включения. Особенностью производного знака является то, что в нем оптимально согласуются когнитивные и коммуникативные задачи [7. С. 393]. С одной стороны, словообразование ориентировано на обеспечение познавательной деятельности человека, что обуславливает существование в языке определенного набора словообразовательных категорий и словообразовательных моделей, и определенным образом организованная словообразовательная система языка, таким образом, отражает актуальные когнитивные стратегии и смыслы, задействованные и рожденные в процессе взаимодействия человека и окружающего его мира. С другой стороны, производное слово, как результат словообразовательного акта ословливания происходящих в сознании человека когнитивных операций, рождается в дискурсивной среде и начинает жить и функционировать по законам дискурса: участвовать в создании условий для вариативного участия производной единицы в выражении топика и фокуса, в смене синтактико-семантических ролей в зависимости от коммуникативного задания. Семантическая структура производного слова объективирует особую пропозициональную структуру (см. далее Методологию), которая, в свою очередь, динамично встраивается в пропозициональную структуру высказывания и определяет особенности текстового вхождения производных.

В работе рассматривается функциональная активность анализируемых производных на материале Национального корпуса русского языка [8], исследуется вхождение расчлененной пропозициональной структуры производного имени в пропозициональную структуру высказывания в позиции фокуса и топика на материале оригинальных русскоязычных контекстов, которые содержат синкретичные производные. Кроме этого, выявляется типологическая специфика русского языка в использовании синкретичных производных для оценочной характеристики субъекта. На материале переводных контекстов с английского языка на русский анализируется выбор переводчиком синкретичного производного имени для передачи пропозитивного содержания, выраженного альтернативной языковой структурой (материалом для анализа выступают ресурсы параллельного подкорпуса Национального корпуса русского языка [8]. Обращение к межъязыковому сопоставлению мотивировано, прежде всего, тем, что типологическое сравнение является важным источником выявления специфики языковой номинации в языках, а перевод способен, с одной стороны, эксплицировать заложенные в семантике смыслы, с другой – установить уровень семантического тождества разноструктурных единиц [9, 10].

Методология

В данном исследовании изучение специфики формальных и содержательных признаков производного слова ведется согласно установкам функционально-когнитивного направления при исследовании композиционной семантики, которые заявляются как методологические принципы при изучении производного слова [2, 7, 11, 12]. Основным вопросом функционально-

когнитивного направления в исследовании композиционных аспектов языка является установление соотношения модели и ее реализации. При этом важно оговориться, что восприятие и участие в актах речи (сочетаемость с другими словами и в составе развернутых синтагматических последовательностей) определяется не только свойствами производного слова, но и коммуникативным заданием и когнитивными особенностями языкового субъекта.

Пропозициональный подход

В современной лингвистике язык определяется как когнитивный процесс в силу того, что он связан с осмыслением опыта человека и познанием мира. Любое языковое выражение рассматривается как обеспечивающее доступ к потенциально очень широкому спектру концептов, концептуальным комплексам или даже всей системе знания. [13. С. 4]. Считается, что языковые структуры разного порядка не существуют вне взаимосвязи с местом хранения и реального воспроизведения, т.е. понятие о языке как о монолитной системе заменяется идеей о том, что язык – это массивная организация разнородных конструкций, которые неразрывно связаны с контекстами и находятся в постоянном процессе структурной адаптации к использованию. Когнитивная семантика постулирует менталистическую теорию значения, идентифицируя его с концептуализацией, с ментальным опытом. В когнитивной лингвистике акцент ставится на изучение когнитивных процессов репрезентации внешнего и внутреннего мира мыслящего субъекта с помощью языковых знаков, а номинация понимается как соотнесенность языковых форм с их когнитивными аналогами или как процесс и результат объективированного осмысления действительности [7, 13–18]. По мнению Джерри Фодора, сами мысли и мыслительные процессы осуществляются в ментальном лексиконе, т.е. в символической системе, которая физически представлена в мозгу соответствующего организма. Природа мышления и организация человеческого сознания описывается посредством ментального языка, а именно, посредством пропозициональных отношений, реализующихся в предложениях следующего рода: ‘*S* верит, что *P*’; ‘*S* надеется, что *P*’; ‘*S* желает, что *P*’ и т.д., где ‘*S*’ – субъект отношения, ‘*P*’ – любая предикация, а ‘что *P*’ относится к предположению, которое является объектом отношения. Если мы допускаем, что ‘*A*’ – это такие глаголы отношения, как ‘верить’, ‘желать’, ‘надеяться’, ‘намереваться’, ‘думать’ и т.д., то пропозициональное отношение имеет следующую форму: *SA*, что *P* [19. С. 17]. В данной философской традиции мысль является относительно достоверной лишь в том случае, если она выражена в системе репрезентаций, которые «означены» (закреплены лингвистической/семантической структурой и подчинены законам комбинаторного синтаксиса). В когнитивной лингвистике пропозициональные структуры также считаются одним из форматов знания, а наличие пропозициональной структуры обнаруживается в расчлененности объективировавшей ее конструкции. В иерархии способов формального выражения пропозиций первое место занимают структуры предложенческого типа, организуемые глаголом в спрягаемой форме с необходимыми именными распространителями. Все другие репрезентации являются вторичными и различаются степенью свернутости при представлении элементов пропозиции. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «...именно способность производного слова объективировать пропозицио-

нальные структуры и затем служить их простому угадыванию, способность служить такой единицей номинации, которая удобна для упаковки информации и использования ее в речевой деятельности, и характеризует ПС как особую когнитивно-дискурсивную структуру [7. С. 394].

Пропозициональный подход в дериватологии явился логическим продолжением изучения словообразования на синтаксической основе, при котором исследовался изоморфизм словообразовательных и синтаксических единиц. В качестве смысловой базы деривационных процессов рассматривалась синтагматически организованная структура, обычно отождествляемая с предложением или высказыванием. М.Н. Янценецкая указывала на то, что в данном аспекте точнее было бы говорить не о синтаксической структуре, а о ее пропозитивном содержании. Автор отмечает, что «производное слово должно соотноситься не с тем или иным конкретным предложением или синтаксическим оборотом, а с глубинной пропозицией, которая, в свою очередь, может получить синтаксическое, морфологическое или лексическое выражение» [12. С. 9].

В семантике производного слова пропозиция, как утверждает Л.А. Араева, представлена в свернутом виде с реализацией минимальной либо максимальной, многоместной структурно-логической схемы. Абстрактный характер пропозиции делает возможным репрезентацию ее несколькими тематическими объединениями производных. Развернутая, многоместная пропозиция реализуется комплексом мотивирующих единиц, выстроенных в определенном порядке сообразно той функции, которую выполняет в пропозиции производное слово, что обуславливает видение одной и той же пропозиции каждый раз в новом ракурсе [11. С. 79]. Изучение расчлененной семантической структуры ПС посредством пропозиционального подхода позволяет выявить те составляющие человеческой когниции, объединение которых и приводит к целостной картине познаваемого мира. Наблюдается взаимодействие языка и человека во всем его многообразии. Язык позволяет человеку выразить то, что он познает, а человек, в свою очередь, каждый раз насыщает языковую модель новым знанием, новым потенциалом.

Пропозициональные модели семантической организации синкретичных производных имен

Производные синкретичных СТ рождаются как ответ на активизацию разных структур сознания. Человек категоризирует объект действительности на основе определенных признаков, соотносит его с нормативной шкалой, реагирует на нормативное отклонение. Данные структуры сознания объединены и объективированы в сжатой форме синкретичного производного. Результатом объективации является сложная организация СЗ синкретичного производного, которая представлена полипропозициональной структурой и оформлена модальными планами. Организация мотивирующего суждения русских производных синкретичных СТ осуществляется по двум семантическим моделям, отличающимся природой оценочного потенциала и способом его формирования.

В состав Модели (1) входят производные, образованные от оценочно-нейтральных мотивирующих (например, *говорить* – *говорун*), в состав Модели (2) входят производные, образованные от оценочных мотивирующих (на-

пример, *шалить* – *шалун*). Семантика мотивирующей единицы определяет объективное содержание предикатного компонента первой пропозиции (например, *работать*, *говорить*, *иметь бороду*, *волосы* и т.д.). В процессе словообразовательного акта вторая зависимая пропозиция, фиксирующая отклонения от нормы, включает в себя модальную рамку рациональной оценки (M2) (например, *работать много*, *говорить много*, *иметь большую бороду*, *иметь много волос*). Рациональная оценка в рамках моделей акцентирует как количественное (M2ql), так и качественное отклонение (M2qn) (например, *рифмач – писать, используя рифмы и делать это плохо*; *политикан – заниматься политикой и делать это плохо*). Факт отклонения от нормы порождает субъективную эмоциональную оценку (M3) как реакцию на обозначенное отклонение (например, *быть политиканом – плохо (неодобрение)*).

Основной спецификой Модели (1) является то, что вся оценочная семантика порождена действием словообразовательного механизма (взаимодействие суффикса и основы). Схематично совокупность смыслов в рамках первой модели можно представить следующим образом: (S2) полагает, что (S1) характеризуется (P), при этом $P = N$ ($M1 = 0$), но S1 характеризуется P всегда, часто, имеет склонность, любит и, следовательно, $P' > N$ (M2qn) и делает это хорошо/плохо (M2ql) $\Rightarrow$ и это вызывает реакцию (M3) (ср. пропозициональные отношения по Фодору, представленные выше). Например, когнитивное основание словообразовательного значения производного *работяга* может быть проинтерпретировано следующим образом: Некто (S2) полагает, что (S1) работает (P) ($M1 = 0$) и работает много ($P' > N$) (M2qn), и работает хорошо (M2ql), что вызывает определенные эмоции (M3).

Синкретичные производные в рамках Модели (2) представляются более эмоционально-оценочными. Наследуемая оценочная семантика от мотивирующей единицы накладывается на оценку, рожденную в процессе словообразовательного акта, таким образом образуется более интенсивная оценочная семантика. В результате и основная (что (S1) лжет (P)), и зависимая (лжет много) осложнены модальностью оценки. Но оценочность, заложенная в семантике мотивирующей единицы, не находится в функциональном фокусе. Она представляет некую пресуппозицию, некий оценочный фон для создания оценочного наименования. Данное содержание составляет наследуемый модус рациональной оценки (M1). При этом мотивирующая единица несет в себе чаще всего качественную оценку (M1ql) (например, *лгать*, *болтать*, *хвастать*). Рациональная оценка (M2), выражающая количественное отклонение (M2qn) (например, *лгун – тот, кто много лжёт*), определяет содержание эмотивного модуса (M3) (например, *лгать плохо, но допускается* (см. далее пример 1), а *быть лгуном – осуждается*) и порождается в процессе деривационного акта. Схематично данная модель выглядит следующим образом: (S2) полагает, что S1 характеризуется P, при этом данное действие не соответствует норме ($P = // = N$ (M1ql)), и S1 характеризуется P всегда, часто, имеет склонность, любит и, следовательно, $P' > N$ (M2qn) $\Rightarrow$ и это вызывает реакцию (M3). Например: *кривляка* – Некто (S2) полагает, что (S1) *кривляется* (P), при этом действие *кривляться* не соответствует норме ($P = // = N$ (M1ql)), и (S1) *кривляется* (P) всегда, часто, имеет склонность, любит и, следовательно, $P' > N$ (M2qn) $\Rightarrow$ и это вызывает реакцию (M3). Таким образом, в

рамках второй модели в словообразовательном процессе участвуют оценочные мотивирующие, но коммуникативно значимая оценка рождается также лишь в самом словообразовательном акте и именно она определяет содержание эмотивного модуса, т.е. реакцию говорящего на оцениваемый признак.

Функциональная активность синкретичных производных имен

В функциональном плане синкретичная зона является системно организованной зоной. В представленных Модели (1) и Модели (2) можно выделить производные, которые имеют от 1 до 10 вхождений в корпусе (например, *орун, наивняк, стрекотуха, голован*), и производные, которые характеризуются диапазоном частотности от 300 вхождений и более (например, *певец, толстяк, игрок, бродяга*). Представлять более конкретные цифры частотности вхождений не целесообразно, так как Национальный корпус русского языка является информационно-справочной системой, которая постоянно пополняется как за счет современных источников, так и источников русского наследия [8]. Разнообразная функциональная частотность производных синкретичной зоны свидетельствует о её устойчивости. Системная устойчивость в функциональном плане также подкрепляется единообразием текстового функционирования русских синкретичных производных вне зависимости от их частотности.

Характеристика текстового включения синкретичного производного имени

Двойственная ориентация при выражении смысла в рамках производного диктует свои правила текстового функционирования. В тексте в синкретичном производном в зависимости от коммуникативного задания актуализируется либо объективное (субъект, предикат, модус объективной оценки), либо субъективное содержание (модус субъективной оценки). Коммуникативный запрос также определяет использование соответствующих актуализаторов, вытягивающих/активизирующих имплицитные смыслы синкретичного имени.

Синкретичное производное имя в коммуникативном развертывании текста

Синкретичные имена в составе высказывания выступают как определенные «информационные структуры», коррелирующие с предполагаемыми ментальными состояниями говорящих и слушающих. Синкретичное производное в коммуникативном развертывании текста принимает участие в осуществлении прагматических связей текста, проявляя способность изменять направление сообщения. Важно подчеркнуть, что актуализация пропозитивного и оценочного содержания семантической структуры синкретичных производных происходит в тексте как в позиции фокуса/ремы, когда у говорящего уже есть предпосылочное знание о ситуации, и обозначение участника синкретичным именем позволяет оценить его действия и выразить субъективное отношение к нему, так и топика/темы, когда задается содержание и тон последующего повествования. Данный факт подчеркивает динамичность и гибкость семантической структуры синкретичных производных. Важно отметить, что в контексте функционирования синкретичного имени мы определяем позицию фокуса и топика в зависимости от актуализации пропозитивного содержания до или после синкретичного производного соответственно.

В терминах семантического синтаксиса топик (или тема) представляет часть предложения, передающую низшую степень коммуникативного динамизма [20. С. 376], он относится к той информации, которая уже присутствует в лингвистическом или ситуативном контексте. В терминах линейного распределения информации топик относится к синтаксическим процессам, которые удерживают языковую единицу в левой позиции, или к синтаксическим процессам, которые заключаются в том, чтобы перенести определенный компонент в левую позицию. Позиция топика исключает элементы, которые несут предикацию и которым требуются элементы, выполняющие референтную функцию. Таким образом, синтаксическая позиция топика схожа с синтаксической позицией подлежащего. Как отмечал У. Чейф, «топик является чем-то вроде подлежащего... возможно, возник из подлежащего, которое выбрано слишком поспешно и не очень гладко входит в последующее предложение...» [21. С. 311].

Фокус (рема) представляет ту часть предложения, которая передает высшую степень коммуникативного динамизма [20. С. 376] и относится к той информации, которая не присутствовала (или присутствовала лишь частично) в лингвистическом или ситуативном контексте. В рамках синтаксической структуры фокус относится к синтаксическим процессам, которые удерживают или переносят компоненты высказывания в правую позицию предложения.

Таким образом, возвращаясь к прагматическому пониманию организации высказывания, отметим, что компоненты, находящиеся в левой части предложения, принадлежат той части высказывания, которая является центром внимания Говорящего и Слушающего (*center of attention*), а компоненты, характеризующиеся положением справа, организуют вершины выделения (*peaks of prominence*). Особенностью языковой коммуникации, в которую не включены эмфатические элементы, является организация потока информации в высказывании согласно стратегии привлечения внимания в первую очередь к элементам уже известным, а затем выделение чего-либо нового. Синкретичные производные включаются в текст с пропозитивным и оценочным предназначением, т.е. активированными компонентами его пропозитивной структуры в позиции предиката/ремы/фокуса высказывания. Говорящий, имея определенное предпосылочное знание внешнего текста о ситуации, обозначает участника синкретичным именем и тем самым оценивает его действия, сообщает о своем отношении к данному событию. В высказывании актуализируется пропозитивный смысл, «между смыслом номинации и значением предиката устанавливаются отношения причинности» [22. С. 330].

Рассмотрим более подробно вхождение синкретичных производных в текст как в позиции фокуса, так и в позиции топика.

Коммуникативная позиция фокуса/ремы

Коммуникативная позиция фокуса/ремы актуализирует предикативные и оценочные компоненты пропозитивной семантики синкретичного имени. При использовании синкретичного производного происходит не только компрессия предшествующего контекста, но и вводится дополнительная пропозиция оценки. Рассмотрим характерный пример включения синкретичного производного в информационную структуру высказывания.

Пример (1)

Мы слишком привыкли смотреть на понятие ложь с лицемерно-фарисейской точки зрения прописной морали. Нет, ложь, выдумка имеют такие же права гражданства, как и добродетельная правда. Одно только условие: лги талантливо. Кто врет талантливо – художник, кто врет бездарно – лгун. Это раз. Второе – по нынешним временам правдой не проживешь. – Но, милый, ты смешиваешь разные вещи [А.С. Серафимович. Заметки обо всем (1902–1903)].

В примере (1) представлено функционирование синкретичного имени лгун. Данное производное имя по своей пропозитивной структуре относится к Модели (2), так как в словообразовательном механизме участвует оценочная производящая единица лгать (ложь – преступление против истины [23]). Как мы уже отмечали, и основная, и зависимая пропозиции в данном случае осложнены модальностью оценки. Она представляет некую пресуппозицию, некий оценочный фон для создания оценочного наименования. Данное содержание составляет наследуемый модус рациональной оценки (M1) и обобщенное содержание эмотивного модуса (M3), которое выводится из семантики производящей единицы. Но оценочность, заложенная в семантике мотивирующей единицы, не находится в функциональном фокусе, более того, в данном конкретном примере автор изменяет семантику, т.е., будучи обозначенным синкретичным производным, человек оценивается не только по тому, что он *лжет*, а по тому, как он это делает. И именно последнее вызывает эмоции говорящего. Как отмечалось выше, семантика словообразовательного типа основа глагола + – ун, указывает на то, что он это делает «часто», «постоянно», «всегда» – лгун, а контекст определяет знак эмотивного модуса. До появления данного имени в контексте функционируют такие единицы, как ложь, выдумка, лги, кто врет, которые определяют тему данного высказывания, и использование производного имени лгун не только вбирает в себя содержание данных единиц, но и закрепляет оценку говорящего за обсуждаемым явлением, причем эмотивный модус синкретичного имени лгун актуализируется не за счет семантики производящей единицы, так как в данном контексте лгать не значит поступать плохо (ложь, выдумка имеют такие же права гражданства, лги талантливо. Кто врет талантливо – художник). Эмотивный модус актуализируется семантикой наречия бездарно (только тот, кто врет бездарно может называться лгуном).

Аналогичное функционирование возможно наблюдать и для синкретичных производных, относящихся к Модели (1), основу которой составляют производные, образованные от нейтральных в оценочном плане единиц (M1 = 0). Рациональная и эмоциональная оценки рождаются в словообразовательном акте. В рамках данной модели в составе производного мотивирующая единица является единицей нейтрального уровня. Она несет объективное содержание предикативного компонента первой пропозиции: певец – тот, кто *поёт*; бородач – тот, у кого *борода*. В процессе словообразовательного акта вторая зависимая пропозиция составляет модальную рамку рациональной оценки (M2): певец «тот, кто поёт (1), но делает это больше нормы (2)»; бородач «тот, у кого есть борода (1), но она не соответствует норме (2)»; гово-

рун «тот, кто говорит, но делает это больше/несоответствие нормы (2). Рациональная оценка в рамках данной модели акцентирует как количественное (M2ql), так и качественное отклонение (M2qn): **говорун** – тот, кто много *говори́т*, но то, как и что он говорит, не соответствует норме. Факт отклонения от нормы порождает субъективную эмоциональную оценку (M3) как реакцию на обозначенное отклонение. Рассмотрим контекст с синкретичным производным **говорун**:

Пример (2)

*Надо... развязней быть. Поговорить... – Ты уж один раз поговорил... **Говорун**. – Конечно. А то сидим, как ариин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были... [Василий Шукшин. Печки-лавочки (1970–1972)].*

В анализируемом контексте синкретичному имени **говорун** предшествуют глаголы *поговорить*, актуализирующие предикативный компонент (*тот, кто говорит*) пропозитивного содержания. Оценочный модус превышения нормы актуализирован фразой *Ты уж один раз поговорил*, которая подчеркивает, что действие уже совершалось до момента речи.

Семантическая открытость синкретичного имени при вхождении в текст реализуется в гибкости формального оформления предтекста для синкретичного имени. Синкретичному производному имени зачастую предшествуют мотивирующие единицы с производящим корнем (*петь – певец, лгать – лгун, бородач – борода, говорить – говорун* и т.д.). В такого рода примерах происходит своеобразная семантическая преднастройка (семантический прайминг) для введения производного имени в текст и актуализация его расчлененной формы и содержания. Кроме этого, в предтексте возможно использование слов, которые являются семантически синонимичными корню синкретичного имени, но морфонологически с ним не совпадают. Например, *толковать – говорун*:

Пример (3)

*Он продолжал бредить – все толковал о весне и о какой-то девушке. – Ну, **говорун**! – не утерпел Умрихин [Михаил Бубеннов. Белая береза, части 1–2 (1942–1952)].*

Оценочный модус в примере (3) актуализируется семантикой слова *бредить* (*говорить бессвязно, непонятно*) в предтексте и восклицательной конструкцией (*Ну...!*).

Типологические особенности использования синкретичных производных в позиции фокуса/ремы

При рассмотрении природы словообразовательных процессов и способов идентификации производных слов исследователи склонны говорить о типологической универсальности словообразовательных процессов. И действительно, многие функции производных единиц являются универсальными для языков с развитой деривационной системой, но частотность и выраженность данных функций в разных языках может быть различной. Использование производного как инструмента компрессии предыдущего контекста возмож-

но и в английском языке, как с повторением морфологических компонентов (*lie* (лгать) – *liar* (лжец), *fat* (толстый) – *fatty* (толстяк), *singing* (пение) – *song* (песня) – *singer* (певец)), так и с альтернативным оформлением семантического наполнения *very fond of his meat, I mind; he was a hearty* (очень любил мясо, обильную еду) – *eater* (едок).

Пример (4)

en *Lie upon lie he has given us; he has been proven a chronic liar; are you to believe this last and fearfully impossible lie?* [Jack London. *A Daughter of the Snows* (1902)].

ru Он громоздит одну ложь на другую. Доказано, что он бессовестный лжец. Неужели вы поверите этому последнему чудовищному вымыслу? [Джек Лондон. Дочь снегов (Н. Давыдова, Н. Рачинская, 1927)].

Утверждение о том, что для русского языка использование синкретичных производных в данной функции является более распространенным, доказывается примерами из параллельного корпуса, где непроизводные единицы, используемые в английских контекстах, переводятся на русский именно синкретичными производными: *eat all the cakes* – *He is too fat* – толстяк, *A paunchy man* – *The man vs. пузатый мужчина* – Пузан; , *I am not proud, since pride is destruction vs. я не возгордился, потому что гордец скоро погибает, It ish my fat* – *yaw* – *he say I bees pad mit fat* – *He* – толстяк, *The man* – пузан, *ride is destruction* – гордец, *Big Olaf* – Толстяк Олаф.

Пример (5)

en "*Mind Bilbo doesn't eat all the cakes!*" they called. "**He is too fat** to get through key-holes yet!" [J. R. R. Tolkien. *The Hobbit* (1937)].

ru – Следите, чтобы Бильбо не съел все кексы! – кричали другие. – **Такой толстяк** не пролезет в замочную скважину! [Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит (Н. Рахманова, 1976)].

Наиболее ярко различие между русским и английским языком в данном аспекте наблюдается в контекстах, где в английском предложении предикация и оценка, выраженные в предтексте, не получают дальнейшей актуализации (*It ish my fat* – *yaw* – *he say I bees pad mit fat* "!" **he** explained to Ben, а в русском варианте переводчик выбирает синкретичное производное имя для компрессии предикации и конкретизации оценочного контекста: *объяснил Бону добродушный толстяк*.

Пример (6)

en *It ish my fat* – *yaw* – *he say I bees pad mit fat* "!" **he** explained to Ben. So a vote was passed unanimously in favor of allowing the now popular Voost to join the party, if his parents would consent". [Mary Mapes Dodge. *Hans Brinker or the Silver Skates* (1865)].

ru – Это мой жир, йа, он говорит, я ношу подушки из жира! – объяснил Бону добродушный толстяк. Острота Вооста имела такой успех, что все единогласно решили принять его в компанию, если только его родители со-

гласятся. [Мэри Мейнс Додж. Серебряные коньки (М.И. Клягина-Кондратьева, 1941)].

Коммуникативная позиция топика/темы

Использование синкретичного производного в позиции топика/темы задает содержание и тон последующего повествования. В данной позиции предикативный компонент может быть актуализирован мотивирующим словом (например, *болтун* – *болтает*, *бородач* – *выросла борода*).

Пример (7)

***Болтун** болтает, другой будет болтать другое, а мне все равно, не сегодня завтра умирать.* [М.П. Арцыбашев. Санин (1902)].

Пример (8)

Он не болтун, он деятель, а болтает он, может, так, для сокрытия всего остального. [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)].

Интересной отличительной чертой актуализации пропозитивного содержания синкретичного имени в контекстах с последующей разверткой предикативного содержания является использование перед синкретичным именем дополнительных актуализаторов, активирующих либо субъектный (*незнакомый бородач*; *дряхлый болтун*; *иностранец-богач*), либо эмотивный (*неприятный толстяк*) компоненты.

Пример (9)

А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, – здорово она у меня выросла, эта самая борода, – и за такой короткий срок, – я другой, совсем другой, – я не вижу себя [В.В. Набоков. Отчаяние (1932)].

Предикативное содержание может также получить развертку за счет использования синонимов (*не болтун* – *не скажу*, *болтун* – *разговорился*), развернутых определительных конструкций (*богач* – *купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких*; *толстяк* – *похожий на борова*).

Пример (10)

Не беспокойтесь, я всё знаю, от него же самого, и я не болтун; никому не скажу. [Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)].

Пример (11)

Пока я раздумывал, подойти к нему или нет (полагая, что со вчерашнего вечера он успел забыть и лицо мое, и фамилию), этот дряхлый болтун, бо-явшийся утаить крупницу зерна из закров опыта, разговорился с незнакомой ему пожилой дамой, падкой, очевидно, до всякой чуждой души. [В.В. Набоков. С оглядатай (1930)].

Пример (12)

Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких [В.В. Набоков. Благость (1924)].

Пример (13)

Семья Кюцам состояла из пяти человек: Альбина Кюцам – мать, пожилая полная женщина с тяжелым, придавливающим взором черных глаз и со следами былой красоты на старом лице, ее две дочери – Леля и Тая, маленький сынишка Лели и старик Кюцам, неприятный толстяк, похожий на бобра.

Типологические различия использования синкретичных производных в позиции топики/темы

Для английского языка также возможно, но не характерно использование производного имени в позиции топики, т.е. в позиции, предшествующей развертке пропозитивного содержания за счет использования мотивирующей единицы (*a talker – told; the reader – to finish reading, swimmer – I swim fairly well – swim ashore*)

Пример (14)

en Neither did I, to be sure, he was so loose a talker; yet in this case I believe he was really right and that nobody had told the situation of the island [Robert Louis Stevenson. Treasure Island (1883)].

ru Я тоже тогда не поверил, потому что он действительно был великий болтун; а теперь я думаю, что тогда он говорил правду и что команде было известно и без нас, где находится остров [Роберт Луис Стивенсон. Остров сокровищ (Н. Чуковский, 1935)].

Пример (15)

en The abbot stopped in the corridor to wait for the reader to finish reading. [Walter M. Miller, Jr.. A Canticle For Leibowitz (1960)].

ru Аббат остановился в коридоре, ожидая, пока чтец окончит сообщение. [Уолтер Миллер. Страсти по Лейбовицу (С. Борисов, 1999)].

Пример (16)

en He was an excellent swimmer and could swim ashore, no doubt — whatever the distance. [Theodore Dreiser. An American Tragedy, book I–II (1925)].

ru Он превосходный пловец, он, без сомнения, доплыл бы до берега, каково бы ни было расстояние [Теодор Драйзер. Американская трагедия (части I–2) (Нора Галь, З. Вершинина, 1948)].

Пример (17)

en But when she was still alive out there in the water — how about that? You're a pretty good swimmer, aren't you? “Yes, sir, I swim fairly well [Theodore Dreiser. An American Tragedy, book III (1925)].

ru Ну, а пока она была еще жива и держалась на воде, как было дело? Вы ведь отличный пловец, так? – Да, сэр, я плаваю недурно [Теодор Драйзер. Американская трагедия, часть 3 (Нора Галь, З. Вершинина, 1948)].

Раскрытие пропозитивного содержания также происходит посредством использования развернутых объяснительных конструкций, дефиниций в рамках одного предложения: *intriguer – dint of fawning on various Extremist offi-*

cials had obtained the post, **profligate** – easily attached to his person and faction, not only all who had reason to dread the resentment of Richard for criminal proceedings during his absence.

Пример (18)

en An old **intriguer** who by dint of fawning on various Extremist officials had obtained the post of Scenic Director, suddenly pointed a vibrating finger at the King, but being afflicted with a bad stammer could not utter the words of indignant recognition which were making his dentures clack [Vladimir Nabokov. *Pale Fire* (1962)].

ru Старый **интриган**, который подслуживанием к разным экстремистским чиновникам добился режиссерской должности, внезапно указал трясуцимся пальцем на короля, но, страдая сильным заиканием, не мог произнести слов возмущенного опознания, которое заставляло щелкать его искусственные челюсти [Владимир Набоков. *Бледный огонь* (Вера Набокова, 1983)].

Пример (19)

en His own character being light **profligate** and perfidious, John easily attached to his person and faction, not only all who had reason to dread the resentment of Richard for criminal proceedings during his absence, but also the numerous class of "lawless resolute," whom the crusades had turned back on their country, accomplished in the vices of the East, impoverished in substance, and hardened in character, and who placed their hopes of harvest in civil commotion [Walter Scott. *Ivanhoe* (1819)].

ru Ловкий **интриган** и **кутила**, принц Джон без труда привлек на свою сторону не только тех, кто имел причины опасаться гнева Ричарда за преступления, совершенные во время его отсутствия, но и многочисленную ватагу "отчаянных беззаконников" – бывших участников крестовых походов. Эти люди вернулись на родину, обогатившись всеми пороками Востока, но обнищав, и теперь только и ждали междоусобной войны, чтобы поправить свои дела [Вальтер Скотт. *Айвенго* (Е. Бекетова, 1890–1902)].

Специфику русского языка, отдающего предпочтение синкретичному имени для характеризующей номинации при переводе возможно наблюдать и в топиализированной позиции производного. Необходимо отметить, что в данных примерах переводчик выбирает эквивалентом синкретичное производное имя для развернутых, ярких и образных характеристик субъекта, тем самым подтверждая семантическую насыщенность и высокий оценочный потенциал русского синкретичного имени (*scheming* – **интриган**; *have a tongue* – **болтун**; *an old bag of wind* – **болтун**; *a man of property* – **богач**).

Пример (20)

en Simley knows exactly the sort of man Banner is – an opportunist, a selfish, **scheming**, conniving lawyer who keeps trying to get my husband to rely on him more and more in matters of business as well as in matters of law [Erle Stanley Gardner. *The Case of the Daring Divorcee* (1964)].

ru Симли хорошо знает, что за человек Баннер: **оппортунист**, самонадеянный **интриган**, **хитрый адвокат**, который **пытается заставить моего**

мужа во всем полагаться на него при решении деловых и юридических вопросов [Эрл Стэнли Гарднер. Дело смелой разведенки (М. Кудрявцева, 1990)].

Пример (21)

en I have a tongue, you know, and it used to wag [Graham Greene. *The Power and the Glory* (1940)].

ги Я, знаете ли, **болтун**, вечно трепал языком [Грэм Грин. *Сила и слава* (Н. Волжина, 1970–1980)].

Пример (22)

en Archie thought, and frequently said, that Grandpa was an old bag of wind and Archie had no intention of letting him insult Miss Melanie's husband, even if Miss Melanie's husband was talking like a fool [Margaret Mitchell. *Gone with the Wind, Part 2* (1936)].

ги Арчи считал – да частенько и говорил, – что дедушка Мерриуэзер – пустой болтун, но Арчи не намерен был сидеть и слушать, как он оскорбляет супруга мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую-то чушь [Маргарет Митчелл. *Унесённые ветром, часть 2* (Т. Кудрявцева, 1982)].

Пример (23)

en If that young Soames were such a man of property, he would never miss a thousand a year or so; and under his great white moustache old Jolyon grimly smiled [John Galsworthy. *The Man of Property* (1906)].

ги Если этот Сомс действительно такой богач, он не заметит отсутствия тысячи фунтов в год, и под седыми усами старого Джолиона появилась хмурая улыбка [Джон Голсуорси. *Собственник* (Н. Волжина, 1946)].

Необходимо отметить, что в переводе на русский язык зачастую добавляется актуализатор пропозитивного содержания, например: *have a tongue* – **болтун**, *вечно(М2) трепал языком(М3)* (Пример 21); *an old bag of wind* – **пустой** (М2, М3) **болтун** (Пример 22).

Интересны случаи актуализации предикативного содержания производного имени как до, так и после него. Например, в следующем контексте (Пример 24) синкретичное производное имя «толстяк» находится в коммуникативном центре высказывания с предшествующим *растолстел* (Р, М2) и последующим *Все загрибок в барах нагуливаешь...* При этом следующая за синкретичным именем развертка актуализирует как предикативный (Р), так и модусные (М2, М3) смыслы.

Пример (24)

– Я так и знал, что это ты, – сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. – У-у, растолстел(Р, М2), толстяк! Все загрибок в барах нагуливаешь(М2, М3)... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять... [А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. *Пикник на обочине* (1971)].

Переводные контексты (25–28), в которых синкретичное производное имя используются переводчиками как эквивалентная единица для различных предикативных единиц: *shot* – **стрелок**, *he* – **толстяк**, *He is too fat* – **толстяк**, также ярко демонстрируют динамику вхождения синкретичного имени

в текст, проявляющуюся в способности производного имени сжать предшествующее характеризующее суждение, переструктурировать его фокус и стимулировать его разворот, акцентируя именно оценочный компонент суждения (*пострелять* (P) *грачей* → *прекрасный*(M2) *стрелок* → *он превосходно*(M3) *стреляет* (P); *пристрелить*(P) *меня* → *меткий* (M2) *стрелок* → *я научил тебя стрелять*(P, M2, M3); *Комбинезон на его животе оттопыривался так сильно*(P, M2) → *толстяк* → *проглотил баскетбольный мяч*(M2, M3), *съел все кексы*(M2, M3) → *толстяк* → *не пролезет в замочную скважину*(M2, M3))

Пример (25)

en 'Why, your friend and I, 'replied the host, 'are going out rook-shooting before breakfast.' He's a very good shot, ain't he? 'I've heard him say he's a capital one, 'replied Mr. Pickwick, 'but I never saw him aim at anything.' [Charles Dickens *The Posthumous Papers of the Pickwick Club* (1836–1837)].

ги – Мы с вашим другом хотим перед завтраком *пострелять*(P) *грачей*. — ответил хозяин. — Он, кажется, *прекрасный*(M2) *стрелок*. — Я слышал от него, *что он превосходно*(M3) *стреляет*(P), — отозвался мистер Пиквик, — но никогда еще не видал [Чарльз Диккенс. *Посмертные записки Пиквикского клуба* (А.В. Кривцова, Е.Л. Ланн, 1933)].

Пример (26)

en Or you can shoot me. You're a good shot now. I taught you to shoot didn't I?" [Ernest Hemingway. *The Snows of Kilimanjaro* (1936)].

ги Или можешь *пристрелить*(P) *меня*. Ты теперь *меткий* (M2) *стрелок*. Ведь я *научил тебя стрелять*(P, M2, M3)? [Эрнест Хемингуэй. *Снега Килиманджаро* (Н. Волжина, 1956)].

Пример (27)

en The curve of his belly pushed his faded blue overall out to a point where Harold half suspected he had swallowed a basketball [Stephen King. *The Lawnmower Man* (1975)].

ги *Комбинезон на его животе оттопыривался так сильно* (P,M2), *что Гарольд подумал, что толстяк, может быть, проглотил баскетбольный мяч* (M2, M3). [Стивен Кинг. *Газонокосильщик* (А. Мясников, 1993)].

Пример (28)

en "Mind Bilbo doesn't eat all the cakes!" they called. "He is too fat to get through key-holes yet!" [J. R. R. Tolkien. *The Hobbit* (1937)]

ги – Следите, чтобы Бильбо *не съел все кексы*(M2,M3)! – кричали другие. — Такой *толстяк не пролезет в замочную скважину*(M2,M3)! [Дж. Р.Р. Толкин. *Хоббит* (Н. Рахманова, 1976)].

Заключение

Таким образом, анализ функциональной специфики русских синкретичных имен показал, что синкретичная природа пропозитивного содержания данных производных определяет законы их текстового включения. При использовании синкретичного производного в тексте происходит сложный процесс встраивания его пропозиционального содержания в пропозицию предложения. Данный процесс проявляется в настройке семантики как предтекста (языковые единицы до производного имени), так и последующего кон-

текста (языковые единицы после производного имени) на пропозициональные компоненты производного (S, P, M1, M2, M3). Мы отмечаем, что такого рода коммуникативная стратегия характерна и для английского языка, но в силу того, что английский язык не имеет ярко выраженной зоны семантического словообразования, ориентированной на одновременное обслуживание как объективного, так и прагматического содержания, данную функцию выполняют другие языковые единицы, которые в русском переводе получают эквивалент в виде синкретичного производного имени. Анализ переводных контекстов позволяет использовать перевод как инструмент выявления специфики русской деривационной системы, заключающейся в функционально активной синкретичной зоне суффиксального именного словообразования.

Литература

1. Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. Томск, 1996. 218 с.
2. Резанова З.И. Именная деминутивная деривация в механизмах выражения оценки // Картины русского мира: Аксиология в языке и тексте. Томск, 2005. С.194–231.
3. Нагель О.В. Русские именные словообразовательные типы синкретичной семантики (функционально-когнитивный аспект): дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. 224 с.
4. Нагель О.В. Семантика производного имени как активатор метаязыкового сознания носителя русского языка // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 2 (28). С. 63–71.
5. Толковый словарь Ожегова. URL: <http://slovarius.com/page/govorun.php> (дата обращения: 15.03.2016).
6. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. URL: <http://slovariya.ru/rus/sa/govorun> (дата обращения: 15.03.2016).
7. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
8. Национальный корпус русского языка / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2015. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.03.2016).
9. Нагель О.В. Деривационная специфика наименований лица в славянских языках (на материале параллельного подкорпуса НКРЯ) // Русин. 2015. №3 (41). С. 226–240.
10. Резанова З.И., Шиляев К.С. Национальный корпус русского языка в обучении особенностям использования русских диминутивов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 5. С. 634–63.
11. Араева Л.А. Словообразовательный тип. М.: URSS, 2009. 268 с.
12. Янценецкая М.Н. Пропозициональный аспект словообразования (обзор работ сибирских дериватологов) // Вестн. Том. Гос. ун-та. Филология. 2014. № 1 (27). С. 167–192.
13. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford 5–7, 1991. 589 p.
14. Chomsky N. Linguistics and cognitive science: problems and mysteries // A. Kasher (ed.), The Chomskyan Turn: Generative linguistics, philosophy, mathematics, and psychology. 1991. Oxford: Blackwell.
15. Croft W., Cruse D.A. Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 2004.
16. Talmy L. Towards a cognitive semantics. 2000. Vol. 1–2. The MIT Press.
17. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вopr. языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.
18. Панкрац Ю.Д. Пропозициональная форма представления знаний // Язык и структуры представления знаний. М., 1992. С. 78–97.
19. Fodor J. Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1987.
20. Sornicola R., Brown K., Miller J. Elsevier. Concise Encyclopedia Of Grammatical Categories. Amsterdam; Tokyo, 1999. 508 p.
21. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точки зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11: Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М., 1982. С. 310–337.

22. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. 383 с.

23. Энциклопедический словарь «Святая Русь». URL: <http://www.sovslov.ru/tolk/lojyt.html> (дата обращения: 25.04.2016).

FUNCTIONAL SPECIFICITY OF RUSSIAN NOMINAL DERIVATIVES REFERRING TO A SYNCRETIC ZONE OF THE RUSSIAN LANGUAGE WORD-BUILDING SYSTEM

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 50–67. DOI: 10.17223/19986645/44/4

Olga V. Nagel, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: olga.nagel2012@yandex.ru

Keywords: syncretic derivatives, proposition, textual inclusion, focus, topic, proposition realization.

The study reveals the functional specificity of Russian nominal derivatives referring to a syncretic semantic zone of the Russian language word-building system. Syncretic derivatives are characterized by a composite semantic structure comprising characterizing and evaluating components. The research is grounded on functional and cognitive methodology which focuses on the study of a derivational model, propositional structure of its derivatives and realization of this structure in utterances. Using resources of the Russian National Corpus the nature of syncretic derivatives functioning is being analyzed and correlated with a dynamic propositional structure of the derivatives. Analyzing contexts where Russian syncretic derivatives function either in a syntactic position of a focus or a topic the author studies coordination of derivatives propositional elements and sentence propositional elements in the utterance and states basic laws of a derivative text inclusion. It is claimed that the coordination of propositional structures is supported by semantic parallelism of language units (preceding and following a derivative) and components of a derivative propositional structure (S, P, M1, M2, M3). The analysis proves flexibility of the derivatives referring to the Russian language syncretic derivational zone in conveying different aspects of characterization and evaluation. The stated flexibility allows a speaker to manipulate text inclusion of a syncretic derivative focusing on the explication of different components of a derivative propositional structure.

Employing translation as an instrument for linguistic analysis the author reveals typological differences in Russian and English word-building patterns used to create and apply characterizing derivatives. The main difference revealed while analyzing Russian translations of English sentences is the dominance of syncretic derivatives in Russian when it comes to simultaneous characterization and evaluation (including speaker's personal attitude to a person) of a person in Russian. Russian syncretic derivatives are not only used by a translator to convey the meaning of English derivatives but also serve as equivalents for different predicative units of the English language. The results show the poly-functional nature of Russian syncretic derivatives due to their poly-propositional structure while English nominal word-building patterns create more mono-functional derivatives used either for characterization or evaluation.

References

1. Rezanova, Z.I. (1996) *Funktsional'nyy aspekt slovoobrazovaniya. Russkoe proizvodnoe imya* [Functional aspect of word-building. Russian derivational name]. Tomsk: Tomsk State University.
2. Rezanova, Z.I. (2005) Imennaya deminutivnaya derivatsiya v mekhanizмах vyrazheniya otsenki [Nominal diminutive derivation in the mechanisms of evaluation explication]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: Aksiologiya v yazyke i tekste* [Images of the Russian world. Axiology in language and text]. Tomsk: Tomsk State University.
3. Nagel', O.V. (2005) Russkie imennye slovoobrazovatel'nye tipy sinkretichnoy semantiki (funktsional'no-kognitivnyy aspekt) [Russian nominal word-building types of syncretic semantics (functional and cognitive perspective)]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
4. Nagel', O.V. (2014) Semantics of a derivative name as an activator of Russian speaker metalinguistic cognition. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 2 (28). pp. 63–71. (In Russian).
5. Slovarius. (2016) *Tolkovyy slovar' Ozhegova* [Dictionary of the Russian Language by Ozhegov]. [Online] Available from: <http://slovarius.com/page/govorun.php>. (Accessed: 15th March 2016).
6. Slovariya.ru. (2016) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka pod red. D. N. Ushakova* [Ushakov's

Explanatory Dictionary of the Russian Language]. [Online] Available from: <http://slovariya.ru/rus/sa/govorun>. (Accessed: 15th March 2016).

7. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge: On the way of learning the language: Parts of speech from a cognitive point of view. The role of language in the cognition of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

8. Russian National Corpus. (2015). [Online] Available from: <http://www.ruscorpora.ru>. (Accessed: 15th March 2016).

9. Nagel', O.V. (2015) Derivation Peculiarities of Nominal Nouns in Slavic Languages (Based on the Parallel Subcorpus of the National Russian Corpus). *Rusin*. 3 (41). pp. 226–240. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/41/16

10. Rezanova, Z.I. & Shilyaev, K.S. (2015) Russian National Corpus in teaching the use of russian diminutives. *Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy*. 5-4. pp. 634–663. (In Russian).

11. Araeva, L.A. (2009) *Slovoobrazovatel'nyy tip* [Word-building type]. Moscow: URSS.

12. Yantsenetskaya, M.N. (2014) The propositional aspect of word formation (the overview of works by Siberian scholars). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 1 (27). pp. 167–192. (In Russian).

13. Langacker, R. (1991) *Foundations of Cognitive Grammar*. Vol. 2. Stanford: Stanford University Press.

14. Chomsky, N. (1991) Linguistics and cognitive science: problems and mysteries. In: Kasher, A. (ed.) *The Chomskyan Turn: Generative linguistics, philosophy, mathematics, and psychology*. Oxford: Blackwell.

15. Croft, W. & Cruse, D.A. (2004) *Cognitive linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

16. Talmy, L. (2000) *Towards a cognitive semantics*. Vols 1–2. Cambridge, MA: MIT Press.

17. Dem'yankov, V.Z. (1994) Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda [Cognitive linguistics as a type of interpretational approach]. *Voprosy yazykoznaniiya*. 4. pp. 17–33.

18. Pankrats, Yu.D. (1992) Propozitsional'naya forma predstavleniya znaniy [Propositional way of knowledge representation]. In: Berezin, F.M. (ed.) *Yazyk i struktury predstavleniya znaniy* [Language and knowledge representation structures]. Moscow: RAS.

19. Fodor, J. (1987) *Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind*. Cambridge, MA: MIT Press.

20. Brown, K. & Miller, J. (eds) (1999) *Concise Encyclopedia of Grammatical Categories*. Amsterdam; Tokyo: Pergamon.

21. Chafe, W. (1982) Dannoe, kontrastivnost', opredelennost', podlezhashchee, topiki i tochki zreniya [Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics and Point of View]. Translated from English. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 11. pp. 310–337.

22. Arutyunova, N.D. (1976) *Predlozhenie i ego smysl* [Sentence and its sense]. Moscow: Nauka.

23. Sovslov.ru (n.d.) *Entsiklopedicheskiy slovar' "Svyataya Rus'"* [Encyclopedic dictionary "Holy Rus'"]. [Online] Available from: <http://www.sovslov.ru/tolk/lojyt.html>. (Accessed: 25th April 2016).

УДК 811.1/.8

DOI: 10.17223/19986645/44/5

И.В. Тубалова

ИНОДИСКУРСИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ДИАЛЕКТНОМ ТЕКСТЕ¹

В статье рассматривается функциональная специфика речевых форм институциональных дискурсов в повседневном дискурсе диалектоносителя, обусловленная особенностями социально-речевой культуры автора текста. Исследуется, каким образом модусные смыслы, заданные на основании базовой интенции и ценностной позиции институциональных дискурсов, сохраняются, нейтрализуются или трансформируются в повседневной речевой сфере диалектоносителя как субъекта особого социально-речевого типа, характеризующегося особенностями речевого опыта и принципов его реализации.

Ключевые слова: институциональный дискурс, личностно-ориентированный дискурс, социально-речевая культура, диалектный текст.

В основе представляемого в данной статье исследования – идея обусловленности процессов порождения речи не только лингвистическими, но и социально-идеологическими системами (Т. ван Дейк, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж. Лакан, М. Пешё, П. Серио, М. Фуко, Р. Фэрклоу и др). Как следствие, процесс порождения речи стал рассматриваться как результат воплощения говорящим (1) его индивидуального речевого опыта, его представления «о реальных или вымышленных мирах, относительно которых мы уже обладаем большим количеством знаний и убеждений» [1. С. 51] и (2) его знания о типах функционирующих в данном социуме в данный конкретно-исторический период дискурсов [Там же]. Индивидуальный речевой опыт субъекта при таком подходе рассматривается как полидискурсивный.

Социально-идеологические системы задают определенные принципы деятельности человека, обращающегося к нам в своих социальных практиках. Речевая деятельность как одна из форм реализации социальной практики предполагает усвоение и использование социально отработанных принципов развития дискурса, в который он вступает. Обрабатываемая в дискурсе информация организуется как «динамическая подвижная система смыслов, формируемая в координируемых коммуникативных действиях адресантов и адресатов в соответствии с системой их ценностей и интересов и включенных в социальные практики» [2. С. 43]. Социальная природа речевых практик, во-первых, ограничивает дискурсивно интерпретируемую информацию на основании дискурсивной цели; во-вторых, задает правила такой интерпретации.

Цель данной статьи – представить специфику использования стабилизированных институциональными дискурсами речевых форм в практиках внеинституционального общения диалектоносителей.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-02043).

В качестве материала использованы записи разговорной речи представителей старшего поколения диалектоносителей, собранные студентами и преподавателями филологического факультета Томского государственного университета во время диалектологических экспедиций (середина XX – начало XXI в.), а также диалектные тексты, размещенные в Национальном корпусе русского языка [9] и опубликованные в сборниках (например, [10]): всего – около 400 текстов, содержащих исследуемые единицы.

Рассмотрим теоретические основания анализа исследуемой специфики.

Содержание дискурса, выраженное в его речевой форме, можно представить в виде его модусно-диктумной структуры. Данное представление ориентируется на заданное Ш. Балли [3] понятие коммуникативной структуры предложения, а также на отечественные концепции В.В. Виноградова, Т.В. Шмелевой, Е.В. Падучевой и др. Проецируя модусно-диктумную когнитивную модель высказывания на содержание социального дискурса, можно соотнести речевую интенционально ориентированную деятельность конкретного говорящего с социально заданной типовой деятельностью типового субъекта социального дискурса (дискурсивной практикой). В ее основе – интенция социального дискурса (дискурсивная интенция) как проявление «дискурсивной власти». В результате в содержании дискурса представляется возможным также выделить объективно-фактологический компонент, составляющий обрабатываемую дискурсом информацию, – дискурсивный диктум – и интенционально обусловленную позицию дискурса по отношению к этой информации – дискурсивный модус.

Дискурсивно заданные смыслы находят выражение в особенностях дискурсивного стиля – заданного субъектной интенцией и дискурсивными правилами комплекса «когнитивных процедур обработки знаний, находящих соответствующую вербальную реализацию» [4. С. 35]. Принципы вербальной реализации дискурса создают вербальный дискурсивный код, в структуре которого формируются определенные дискурсивно стабилизированные речевые единицы, включенные в систему дискурсивных стилистических ресурсов [5].

Формально-содержательная стабилизация этих единиц отражает социально заданную ценностную позицию типовых для данного социума дискурсов и усваивается говорящим в процессах участия в соответствующих социально-речевых практиках.

Так, обращение к **документам** требует от любого члена социума, во-первых, оперирования информацией определенного типа (дискурс документа накладывает запрет на содержательные смыслы, не поддающиеся документированию, – «любовь», «счастье» и под.). Во-вторых, эта информация конфигурируется особым образом в соответствии с направленностью дискурса документа на институциональное официально-деловое регулирование, осуществляемое на основании внешней регламентации. Представление указанного содержания осуществляется вне учета его индивидуально-личностной значимости для субъекта. Дискурсивная картина мира строится на основании общего дискурсивного модуса официальности – типового модусного смысла дискурса документа, который должен выразить его типовой субъект в любом тексте этого дискурса, направленном на официально-деловое регулирование (т.е. в тексте документа).

Общий дискурсивный модус официальности конкретизируется в модусах **объективности** и **императивности**, которые выражаются в системе конкретно-текстовых средств, используемых в различных документных жанрах.

Принципы кооперативного общения реализуются в данном дискурсе на основании равенства всех его участников перед законом, проявленного в объективированном единстве способов взаимодействия. **Объективность** обеспечивается тем, что во всех дискурсивных практиках не только клиенты дискурса, но и его агенты должны ориентироваться на внешний закон, который не может быть трансформирован в соответствии с ситуативными и личностными условиями. Общая дискурсивная интенция конкретизируется в виде интенции обеспечения равенства всех членов социума перед законом (в широком смысле). Одной из значимых составляющих этого закона является регламентация текстовой формы документа, отражающая обозначенное равенство стандартными речевыми средствами (использование специальных терминов, указание номеров и наименований законодательных актов, ссылки на статьи конституции и другие законодательные тексты и под.).

Еще один аспект конкретизации модуса официальности – модус **императивности**. Общая дискурсивная интенция конкретизируется в виде интенции неукоснительности следования закону. Модус императивности выражается в активном использовании глаголов в форме инфинитива, выполняющих функцию повелительного наклонения (*считать утратившим силу...*), конструкций «модальный глагол долженствования + инфинитив» (*должны учитываться*), «императивный перформатив + инфинитив» (*приказываю назначить...*) и др., в клишированных формах обращения к вышестоящей инстанции (*прошу выдать...; доведу до Вашего сведения...*). Ссылки на закон, приведенные выше в качестве маркеров объективности, одновременно являются показателями императивности документа, оформляя объективный по отношению к субъекту дискурса закон как обязательный для него.

Особым модусным единством обладает и **политический дискурс**. Поскольку в основе организации его когнитивного содержания лежит конкретная идеология, его ценностное содержание конкретизируется в соответствии с определенными политико-идеологическими установками ([6, 7] и др.). Бесконечно открытый в плане расширения своего логико-информационного содержания, политический дискурс последовательно задает модусную ориентацию диктума в соответствии с внутренней политически пристрастной ценностной установкой, представляя любое содержание как политически ангажированное. Подчиняясь этой установке, типовой субъект (агент) политического дискурса обрабатывает любое содержание в соответствии с **идеологически ориентированным эмоционально-оценочным** общим дискурсивным модусом – типовым модусным смыслом, который должен выразить его типовой субъект в любом тексте политического дискурса. Основанием направленности вектора **оценки** является ценностное содержание политического дискурса, конкретизирующееся с позиции определенного политического режима. В результате идеологически обусловленному номинированию – как одному из способов формирования политического дискурсивного кода – подвергаются не только понятия, созданные в рамках данной идеологии, но и понятия, существовавшие вне сферы ее деятельности, но «присваиваемые»

ею в целях идеологизации. Например, в советском политическом дискурсе позитивно-оценочный модус стабилизируется в речевых формах *замполит, коллективизация, комиссар, комсомолец, красный (сущ.), Красная армия, красноармеец, продотряд, пятилетка, советская власть, стахановец, экспроприация экспроприаторов* и др., отрицательно-оценочный – в речевых формах *белогвардеец, белый (сущ.), буржуй (= буржуа), враг народа, вредительство, единоличник, западный империализм, кулак, кулачество, империализм, контрреволюция* и др.

Социальная организация внеинституционального существования человека предполагает наличие у него представлений о стратификации социальных сфер, его социальных практик, в том числе дискурсивных практик. В частности, это проявляется в восприятии институциональных дискурсов с позиции субъекта личностно-ориентированного дискурса в качестве авторитетных [8].

Текстовая составляющая личностно-ориентированных дискурсов – не регулируемая институциональным порядком дискурса, не ограниченная тематически, не предъявляющая особых требований к говорящему субъекту, ограничивающих его вступление в дискурс, – обладает потенциальной способностью обращения к самым различным дискурсам как источникам ее организации. При этом основанием для обращения к ним является их социальный авторитет. Востребованность источника и характер обращения к нему мотивируются социально. Социальные институты регулируют деятельность субъектов на основании авторитета, поддерживаемого на государственном уровне, что определяет авторитет соответствующих институциональных дискурсов.

Полидискурсивность существования человека обуславливает возможность сохранения институционального авторитета за пределами его институциональной деятельности.

Личностно-ориентированная деятельность человека (частью которой является деятельность дискурсивная), свободная от государственного институционального регулирования, допускает возможность не только сохранения социального авторитета институциональных дискурсов, но и его интерпретации: человек в своей внеинституциональной деятельности не только следует институционально заданным принципам существования, проникающим в нее, но и критически их оценивает. Социальный авторитет институциональных дискурсов может быть воспринят как истинный либо как ложный. Вариативность отношения к авторитету определяется его внешним для субъекта личностно-ориентированного общения характером (ср.: обращение к власти за поддержкой – критическое отношение к власти как априорно порочной структуре; апелляция к закону при нарушении прав – критика закона при несоблюдении обязанностей и под.).

Такой авторитет объективируется в особых нормах и правилах социальной деятельности, в том числе и дискурсивной, и усваивается субъектом в различных социальных практиках (в том числе речевых). Субъект личностно-ориентированного дискурса наделяет социальным авторитетом дискурсы как коммуникативные сферы онтологии этих практик.

Одна из форм экспликации авторитета дискурса – обращение к его речевым формам, в которых стабилизировано модусное содержание дискурса-источника.

Набор используемых говорящим стабилизированных в институциональных дискурсах речевых форм, а также характер их субъектной интерпретации зависят от перечня освоенных речевых практик соответствующих дискурсов-источников и уровня их освоенности, от отношения говорящего к их социальному авторитету, воплощенного в процессе достижения конкретно-ситуативной субъектной цели.

В фокусе внимания – диалектоносите́ль старшего поколения как особый тип субъекта личностно-ориентированного дискурса, отличающийся специфическим характером социального существования, определенным набором освоенных социально-речевых практик и особым характером их освоения.

Рассматриваемый тип субъекта мы характеризуем на основании его принадлежности к определенной социально-речевой культуре. Типология речевых культур разработана в исследованиях В.Е. Гольдина, О.Б. Сиротининой, Е.Н. Ширяева и др. ([11–15] и др.). Исследователями выделено 5 типов речевой культуры, определяемых социокультурным статусом говорящего субъекта и характеризующих его в аспекте уровня владения языком. При этом внеинституциональное общение обладает определенной спецификой, не позволяющей учитывать разработанную классификацию речевых культур и, соответственно, тип субъекта дискурса с заданной в ней степенью подробности. С одной стороны, личностно-ориентированные дискурсы нивелируют социально-статусное ролевое распределение в единой, индифферентной к нему, позиции субъекта внеинституционального общения, с другой – дискурсы такого типа, свободные от институциональных правил, отличают многообразие, текучесть, ситуативный характер. Особым обоснованием речевого сближения субъектов различных речевых культур является устность общения. Но различие в характере текстопорождения субъектами различного типа все же отчетливо прослеживается.

В результате в заявленном аспекте мы выделяем два социоречевых типа субъекта личностно-ориентированного дискурса. Первый имеет широкий спектр дискурсивного существования и владеет дискурсивными правилами текстопорождения, характерными для широкого круга дискурсов, а также правилами их дифференциации, демонстрирует высокий уровень осознанности текстопорождения и высокий уровень адаптации языка к условиям ситуационного дискурса. Второй слабее реагирует на дискурсивные правила, усвоенные в рамках дискурсивного опыта, слабее дифференцирует их. Рассматриваемый в данной статье говорящий субъект относится ко второму типу, и этим в первую очередь определяются особенности использования им речевых форм институциональных дискурсов.

Субъект первого типа оперирует большим, чем субъект второго типа, количеством освоенных дискурсов и демонстрирует более высокий уровень освоенности их правил. Кроме того, субъект первого типа, имея более отчетливое представление об общей структуре речевой коммуникации, различает области, хорошо освоенные им в процессах полидискурсивного опыта, и области неосвоенные или освоенные слабо. В связи с этим субъект первого типа в процессах личностно-ориентированного общения активно привлекает полидискурсивный опыт только из хорошо освоенных областей, полученный им в иной социальной роли (например, в профессиональной, предполагаю-

щей повседневный опыт участия в дискурсе определенной профессии, где он выступает не только как клиент, но и как агент дискурса). Помимо этого, участвуя в дискурсах в позиции клиента, субъект первого типа больше, чем субъект второго типа, уделяет внимания специфике их организации, их форме, имея выработанный в процессах получения образования и социальной деятельности навык освоения дискурса в целом (хорошо владея гносеологическими моделями его освоения).

Особенности интерпретации институциональных речевых форм рассматриваемым типом субъекта выявлены в сравнении со способом их использования в текстах субъекта первого типа, представленных в Национальном корпусе русского языка [9], а также в сборниках разговорной речи (например, [16]).

Не будучи непосредственно включенным во многие практики институционального общения, диалектоноситель – как субъект второго типа – во многих случаях усваивает речевые формы соответствующих институциональных дискурсов опосредованно, т.е. через опосредующие речевые практики (из СМИ, из бытовых разговоров с «осведомленными» – от соседей, взрослых детей и под.). Говорящий слабо дифференцирует функциональные сферы получения речевого опыта. Кроме того, в процессах его усвоения он в меньшей степени, чем субъект первого типа, сосредоточен на дискурсивной обусловленности функционирования языка.

В связи с этим в разговорном общении субъектов разного типа стабилизированные в институциональных дискурсах речевые формы функционируют по-разному.

Субъект первого типа четко дифференцирует разные смысловые сферы, разные коммуникативные сферы, а также дискурсивные правила употребления инодискурсивных речевых форм. Это приводит к тому, что текст, созданный субъектом первого типа, характеризуется значительно меньшим, чем спродуцированный субъектом второго типа, количеством «неловких швов» (по Б.М. Гаспарову [17]), выраженных в дискурсивно-стилистических диссонансах – контекстно-грамматических и контекстно-семантических (полностью их избежать в устной спонтанной речи невозможно).

Рассмотрим модели трансформации модуса дискурса-источника на материале диалектных текстов, включающих инодискурсивные речевые формы, стабилизированные в дискурсе документа и политическом дискурсе.

Дискурсивные условия неофициального общения активно сопротивляются использованию речевых форм **дискурса документа**, особенно обладающих общеупотребительными аналогами. Органичным оказывается их использование только при обращении к особой тематике, активно разработанной и особым образом проинтерпретированной в дискурсе-источнике. При этом модус официальности дискурса-источника имеет выраженную тенденцию к нейтрализации, а истинность авторитета источника, проявленная в специфическом номинировании субъектом дискурсивно значимого диктумного содержания, остается в пресуппозиции. В основном и в этой ситуации личностно-ориентированный дискурс допускает использование речевых единиц, либо не имеющих общеупотребительных аналогов, либо, наоборот, достаточно активно приспособившихся к бытовому употреблению (для сравне-

ния – пример использования речевой формы дискурса документа субъектом первого типа: *В. Пойти погулять с Алешкой хоть часок// (к А.) да/ на всякий случай мне надо взять у тебя сведения когда ты вступала в кооператив (к Г.) Алеш/ ну собирайтесь/ идемте гулять [16]).*

В речи диалектоносителя рассматриваемого типа использование речевых форм дискурса документа единично – в соответствии со спецификой речевого опыта (хотя отдельные тексты с их высокой концентрацией встречаются), но обращение к ним имеет выраженные функциональные особенности.

При восприятии социального авторитета дискурса документа как истинного модус официальности дискурса-источника в большинстве случаев сохраняется и даже имеет тенденцию к активной трансформации и выдвигению. Модусные трансформации содержания источника чаще всего сопровождаются диссонансным положением речевой формы в тексте результирующего дискурса, что является следствием выдвигения этого содержания, с одной стороны, и неполной связанности речевой формы с ее дискурсивно обусловленным содержанием – с другой.

В силу слабой включенности в процессы дискурса документа социальный авторитет источника воспринимается как повышенный (преувеличивается субъектом), а дискурсивно значимое модусно ориентированное диктумное содержание часто предъясняется как источник верификации верного, гармоничного – «правильного» существования. В результате в основании модусной трансформации речевых форм особую активность получает модус императивности источника – как один из аспектов модуса официальности. Для реализации субъектной интенции оценки и убедительности институциональная речевая форма получает оценочность, которая подвергается субъектному выдвигению: *[О нынешней сожительнице сына и бывшей снохе:] Да она лохмошница молчала бы! Такая беда! Чаво Нюська наделала! Напилась в дугу пьяная! Сын говорит ей: «Сматывайся отсель. Чтoб тебе здесь не было, такой поганки!». Ничего не было, никого, вся гола была, когда пришла! Первая-то баба законная жена, она легистрирована. Она в каком-то консополе работает.* «Регистрированный брак» в данном тексте предстает как форма «правильного», гармоничного существования, фиксируемая в соответствующей единице при отсутствии общеупотребительных аналогов. Модус императивности источника проходит два этапа трансформации: (1) чтобы достичь гармонии в быту, необходимо брак зарегистрировать; (2) партнер в зарегистрированном браке оценивается выше. В результате стабилизированная в дискурсе-источнике как оценочно нейтральная речевая единица становится носителем позитивно-оценочного модуса, основанного на преобразовании объективно-официального статуса действия в источнике в высокий бытовой статус в дискурсе результирующем, т.е. институциональная значимость его содержания становится основанием для выражения содержания личностно-ориентированного. Диссонансное положение речевой формы источника («неловкость шва» проявляется в нарушении его контекстуально-семантической сочетаемости (*она легистрирована = их брак зарегистрирован*)).

Ориентация на модель «правильного» существования, основанная на восприятии модуса императивности дискурса документа и закреплённая в его речевых формах, повышает активность их использования в позитивнооце-

ночной функции. Реализация оценочного модуса речевыми формами дискурса документа обладает высокой частотностью (в проанализированном материале – приблизительно 73% употреблений).

Косвенным обоснованием активности использования речевых форм дискурса документа в оценочной функции также является «внешний» характер расширения полидискурсивного опыта. В результате формируется пиететное отношение к закрытой для субъекта сфере, что выражается в выдвижении позитивно-оценочного смысла при достижении оценочных целей: *Старшая дочь в **отделе кадров**, сын в Томском, третий сын – **миркировицик** [маркировицик], лес проверяет. Пять человек детей вырастила, выучила! (СГ¹) // Одна дочь уехала в Астонию. Сын на **кране** работает. В **населенном пункте**. Все устроены дети (СГ) // Муж не дает снохе моейной работать, а учена она. Дай бог всем так грамотить, да. Она молода девка, а тута всем не угодишь. А она **фтиринар** была, **врачиха**, значит, для **скота** (СГ)*. Использование выделенных речевых форм направлено на маркирование высокого, с точки зрения говорящего, личностного статуса обсуждаемого лица. Оценка проявляется либо через прямое официальное номинирование этого статуса (*миркировицик*, *фтиринар*), либо через номинирование признаков, характеризующих его особое положение как официально обозначенное (*в отделе кадров, на кране, в населенном пункте*).

Высокая активность оценочного модуса, являющегося результатом трансформации модуса официальности источника, может обнаруживаться и при ведущем характере информативной интенции. Рассмотрим текст, представляющий пример особой концентрации речевых форм дискурса документа, в целом не характерной для субъекта рассматриваемого типа: [*О строительстве дома:*] *Блинов у нас был умный мужик/ **председатель колхоза** // научил меня что ты/ делай **план-смету** // сколько вот этот... **коробка** будет стоить... и всё/ ну и... **согласно** в колхоз я деньги **заносила** // например/ сделали мне/ вон тысячу должна денег/ тысячу иль две там/ полторы или/ вот за эту **коробку**/ я отдавала в **правление**/ **правление рассчитывало под роспись**/ как **ведомость вели**/ чтобы мало ли/ не отказались/ или там что/ меня **научили в городе** [9]. Ведущая субъектная интенция – информативная. При этом в содержании текста отчетливо проявляется реализация оценочных интенций, дополняющих информативные и отражающих значимость для говорящего официальной фиксации осуществляемых им действий (*умный мужик <...> научил меня, чтобы мало ли/ не отказались <...> меня научили в городе*). Такая установка активизирует использование речевых форм дискурса документа, связанных с той частью его дискурсивных правил, которые субъекту в определенной степени пришлось освоить. Ориентированность на дискурс-источник как инстанцию, обеспечивающую безопасность субъекта в повседневной жизни (следствие осознания истинности его социального авторитета), определяет обращение к его речевым формам для передачи субъектной оценки. Их повышенная концентрация, с одной стороны, и диссонансное употребление (*согласно [в колхоз я деньги] **заносила** = согласно смете <...>**

¹ СГ – здесь и далее: записи текстов, собранных в рамках экспедиций студентов и сотрудников Томского госуниверситета в районы бытования среднеобских говоров (60–80-е гг. XX в.).

вносила и др.) – с другой, представляют авторитет источника как преувеличенный. Оценка значимости официальной фиксации действий трансформируется в оценку документирования в целом.

Использование речевых форм дискурса документа при восприятии **ложного** характера его социального авторитета практически не фиксируется. Отметим, что для субъекта первого типа результаты такого восприятия социального авторитета источника активно проявляются в осознанных иронических конструкциях (*Б. Днем было совсем не холодно// Нет наверно// (пауза. А. одевается) ты **сепаратно** (иронически) собираешься гулять?* [16]). При использовании иронических стратегий в диалектном тексте рассматриваемые речевые формы не привлекаются.

Таким образом, в текстах диалектоносителя, являющегося субъектом личностно-ориентированного общения второго типа, использование речевых форм дискурса документа имеет тенденцию к модусной сохранности, но в силу неполной, часто «внешней» освоенности их информационного содержания – в смысловой структуре результирующего текста он не растворяется, а, наоборот, регулярно обнаруживает повышенную интенсивность и испытывает активные трансформации. Это проявляется в неосознанном использовании речевых форм дискурса документа для формирования позитивно-оценочного смысла. Ведущую роль в процессах модусной трансформации речевых форм дискурса документа играет модус императивности (один из аспектов модуса официальности) источника, отражающий особое доверие к документу как источнику не столько официально-юридической, сколько этико-социальной гармонии.

В отличие от дискурса документа **политический дискурс** равномерно ориентирован на распространение среди всех его клиентов вне зависимости от типа субъекта. В результате использование его речевых форм субъектом рассматриваемого типа в значительно меньшей степени обусловлено уровнем его освоенности (количеством освоенных речевых форм). Ведущую роль здесь играет фактор сформированности эпистемологических моделей освоения дискурса, обеспечивающий дифференцированность сфер проявления речевого опыта.

С одной стороны, на использование речевых форм политического дискурса значительно меньше, чем на использование речевых форм дискурса документа, влияет специфика речевого опыта, который носит внешний характер для говорящего любого типа, не включенного в политические практики в качестве их агента. С другой стороны, его выраженная оценочная позиция, стабилизированная в речевых формах, активно сопротивляется их оценочно-нейтральному использованию. В связи с этим при использовании субъектом коммуникативного плана лично заинтересованного повествователя, реализующего оценочные интенции по отношению к определенному политическому режиму, идеологический оценочно-ориентированный модус источника получает выдвижение в текстах субъекта любого типа, в том числе и в рассматриваемых диалектных текстах.

Если говорящий согласен с политической позицией, отраженной в стабилизированных речевых формах, оценочный вектор дискурса-источника сохраняется. Активность идеологически ориентированного модуса источника,

обеспеченная принятием истинности его авторитета, наиболее последовательно проявляется в связи с осмыслением говорящим политической деятельности как части собственной социально значимой трудовой биографии, политического статуса – как результата социально полезных трудовых заслуг, получивших достойную оценку (*Я же **труженик военный** (вероятнее всего, от «труженик тыла» – официальное наименование государственного статуса, дающего особые социально-экономические привилегии. – И.Т.), в колхозе всё-о, всю жизнь работала (СГ) // Как вспомню свое детство... Мать у меня была **стахановкой** по льну, ее даже в Москву посылали [10]). В результирующем дискурсе эксплицируется значимый для дискурса-источника диктум (политическая, трудовая активность, получающие вознаграждение) и модус (личностное принятие социальной оценки).*

Если говорящий не согласен с политической позицией, выраженной в дискурсе-источнике, характер использования его речевых форм субъектами различного типа получает значительное функциональное различие. Если субъект первого типа последовательно демонстрирует высокий уровень выдвижения его идеологически ориентированного модуса, проявленный в его осознанной аксиологической переориентации (*А потом при развале Советского Союза/ когда всё пошло наперекосяк/ когда/ так сказать/ **национальные окраины получили свою независимость**... ну/ как-то вот что-то в душе перевернулось. Я почувствовала себя/ например/ осиротевшей/ можно сказать. Потому что всё-таки Советский Союз нас всех объединял – людей разных национальностей [9]), то рассматриваемый тип субъекта в тестах, направленных на оценку политического режима, значительно более частотно выражает дискурсивное несогласие через нейтрализацию модуса источника: *А мы сами в колхоз не всходили. Мы годов пять, а может, более мы в колхоз не всходили. **Нас драли**, у нас была земля, нам дали по рубежу: у затворничьего, у лятицкого. <...> И все равно возшла. Сперва я возшла, замуж-то вышла – мне усадьба нужна, а то у нас усадьба была двадцать пять соток. Нам не давали: как **единоличники** – нам давали двадцать пять соток [10].* Отношение к политически значимому содержанию не распространяется на выработанную политическим дискурсом номинацию (*единоличники*) – ее содержание воспринимается как нейтральное (либо «официально-объективное» – вне политической ангажированности). Социальный авторитет, стабилизированный в ней, говорящим признается, но не воспринимается в качестве формы выражения политической оценки.*

Рассмотрим еще один текстовый фрагмент выраженной личностно-ориентированной тематики: *Как **бедняк** сказал, всё. Всё в ясно. Вот он приходить и говорить: «Никихор Яковлич с попом, – говорить, – дружить». Ну, приезжают, там какие тряпки, лохмотки утащили. Чугунок на стол и ложку. Да. <...> Ну и стали жить, стали жить, стали жить. Ну потом начала **кулачества**. Отца **раскулачили, осудили**. С попом дружил. А сейчас сколько их там в Москве, а? И их кормить надо. Кресты вот такие вот до самых колен. А почему же раньше отца осудили за попа? Год дали тюрьмы, **враг народа** был. Это было тут иде-й-то ли в тридцать третьем, втором, вот тут вот иде-й-то. И вот такие-то вот, ребята, было дела. Как начало **кулачество**, в общем, с двадцать пятого началось, ну, в общем, после рево-*

люции, как начали вот это вот громить, как мало-мало чуть-чуть: «Ага, пойдём его заберём» [9].

В целом данный текст носит выраженный оценочный характер, при этом позиция его автора по отношению к коллективизации с позицией официальной советской идеологии (как и в большинстве зафиксированных текстов) не совпадает. Советская идеологическая оппозиция «свой/чужой», внедрение которой предполагает раскол цельного деревенского коллектива, не находит внутреннего подтверждения «снизу», при этом созданные данной идеологией понятия требуют номинации, поэтому рассматриваемые включения употребляются, но в сугубо констатирующей функции. Лексическая речевая форма *бедняк* имеет в советском политическом дискурсе положительно-оценочный модус. Автор рассматриваемого текста имплицитно выражает актуализацию противоположного оценочного полюса в его контекстной семантике. Остальные отмеченные в данном тексте речевые формы политического дискурса (*кулачество*, *враг народа*: в дискурсе-источнике – отрицательнооценочный модус; *раскулачить*: в дискурсе-источнике – обозначение процесса, приводящего к социальной гармонии) утрачивают аксиологическую ориентированность. Так, при использовании характеристики *враг народа* (отметим, что особо значимо употребление этой номинации *дочерью* по отношению к *отцу*, с политической оценкой которого она не согласна) в пресуппозиции остается как его содержание, заданное советским политическим дискурсом, так и смена оценочного полюса (характеристика человека как «невинно осужденного»). Речевая форма *враг народа* в приведенном контексте используется для информативной мотивировки описываемой ситуации. Речевая форма *кулачество* используется в первую очередь для обозначения определенного исторического этапа в его бытовом восприятии. Таким образом, в приведенном тексте речевые формы советского политического дискурса *враг народа*, *кулачество* сохраняют только денотативное (диктумное) содержание, политически обусловленное модусное содержание нейтрализуется либо аксиологически переориентируется (*бедняк*). Нейтрализация оценочного модуса источника формируется на противопоставлении его идеологической позиции противоположной оценочной позиции субъекта результирующего дискурса.

Активность нейтрализации модуса источника сохраняется не только в выражено оценочных текстах диалектоносителя, но и в текстах с ведущим характером информативной функции (что совершенно не характерно для текстов субъекта первого типа, четко осознающего выраженную в речевых формах политического дискурса манипулятивную установку). Рассматриваемый тип субъекта, как и в предыдущем случае, игнорирует сопротивление речевых форм политического дискурса оценочно-нейтральному употреблению, используя их как удобную, усвоенную вне политической ориентированности форму номинирования политически значимого диктума: *Теперь ладно. Уж как красные подошли, они помогнули **взять власть в руки**. Колчака тоже расстреляли* (СГ) // *При **царском правительстве** было **неравноправие**. Когда Ленин **возглавил** – **равноправие** стало, **землю делить по ядокам**; раньше **по мужским душам** дялили. Сибирь поглуше. Генералы подобрались и **свергли власть*** (СГ). В данных примерах используются речевые формы политического дискурса, не имеющие общеупотребительных аналогов (*царское прави-*

тельство – негативнооценочное в источнике¹, *делить землю по ядокам / по мужским душам* – противоположная оценочная ориентация в источнике). Наряду с ними в собственно информативной функции употребляются речевые формы, обладающие нейтральными синонимами (*взять власть в руки* = *победить* – в источнике употребляется только при описании действия позитивно оцениваемой политической силы, т.е. стабилизирует позитивный модус, *возглавить* = *стать лидером* – в источнике употребляется при номинировании действия позитивно оцениваемого лидера, *свергнуть власть* = *победить* – в источнике применяется при номинировании действия как негативно, так и позитивно оцениваемой политической силы). Возможность употребления речевых форм, обладающих нейтральными синонимами, в собственно информативной функции обеспечивается презумпцией приятия говорящим стабилизированной в них политической позиции (в контексте это подтверждается сохранением не только диктумного, но и модусного содержания речевых форм *равноправие/неравноправие*) либо ее вариативностью в источнике.

Таким образом, при использовании речевых форм политического дискурса сохранность и активное выдвижение модуса политического дискурса в текстах субъекта рассматриваемого типа проявляется при их прямой направленности на оценку политического режима. Но если субъект первого типа использует такую модель интерпретации модуса источника при любом отношении к нему, то субъект второго типа в основном реализует в подобных моделях только политическое согласие.

Диалектоноситель достаточно часто игнорирует политическую ангажированность содержания речевых форм политического дискурса. При восприятии социального авторитета источника как истинного в текстах собственно информативной направленности политическая ангажированность не эксплицируется говорящими и воспринимается в качестве объективированного («естественного») содержания речевой формы. При восприятии ложного характера социального авторитета источника нейтрализация его модуса используется для проявления политического несогласия.

В целом в диалектном тексте в силу специфики речевого опыта субъекта и характера освоения гносеологических моделей его реализации содержание речевых форм институциональных дискурсов проявляет, с одной стороны, высокий уровень зависимости от заданного в источнике модусного смысла, а с другой – часто «внешний», неполный характер его восприятия (речевая форма реализуется вне всей полноты ее дискурсивно обусловленного содержания – актуализируются только отдельные его компоненты, в отрыве от остальных). В результате имеют место высокий уровень трансформации и частотность выдвижения модуса источника, а также использование институциональных речевых форм вне зависимости от смысловой обусловленности разговорного общения.

¹ Здесь и далее: результаты анализа контекстной семантики выделенных речевых форм в политически ангажированных текстах советской эпохи – политические документы, периодическая печать, тексты выступлений политических лидеров.

Литература

1. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / пер. с англ.; сост. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
2. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс / З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.; ред. З.И. Резанова. Томск, 2010. С. 15–84.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Иностран. лит., 1955. 416 с.
4. Leech G. Language in Literature: Style and Foregrounding. Longman Pub Group, 2008. 222 p.
5. Тубалова И.В. Стиль личностно-ориентированных дискурсов как сфера проникновения инодискурсивных стилистических влияний // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 5 (37). С. 108–123.
6. Бакумова Е.В. Ролевая структура политического дискурса: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2002. 200 с.
7. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
8. Тубалова И.В. Институциональные речевые модели в личностно-ориентированных дискурсах различного типа // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 5 (31). С. 38–52.
9. Национальный корпус русского языка. URL: // www.ruscorpora.ru
10. Русская деревня в рассказах ее жителей / под ред. Л.Л. Касаткина. М.: АСТ-ПИРЕСС, 2009. 512 с.
11. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Внутринациональные речевые культуры и их взаимодействие // Вопр. стилистики. Саратов, 1993. Вып. 25. С. 9–19.
12. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Речевая культура // Русский язык: энцикл. М., 1997. С. 413–414.
13. Сиротинина О.Б. Основные критерии хорошей речи // Хорошая речь. Саратов, 2001. С. 16–28.
14. Сиротинина О.Б. Речевая культура // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта, Наука, 2006. С. 343–347.
15. Ширяев Е.Н. Культура речи как лингвистическая дисциплина // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991. Ч. 1. С. 44–61.
16. Русская разговорная речь / отв. ред. Е.А. Земская, Л.А. Капанадзе. М.: Наука, 1978. 306 с.
17. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 348 с.

SPEECH FORMS OF OTHER DISCOURSES IN THE PERSONALITY-ORIENTED DIALECT TEXT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 68–82. DOI: 10.17223/19986645/44/5

Inna V. Tubalova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tina09@inbox.ru

Keywords: institutional discourse, personality-oriented discourse, social and speech culture, dialect text.

The purpose of this article is to present the specifics of the use of speech forms stabilized in institutional discourses in the practices of extra-institutional communication of dialect speakers.

Intentional specificity of the discursive picture of the world of institutional discourses is expressed in special forms of speech that receive a stable modus content. The formal and conceptual stabilization of these units reflects the socially determined axiological position of discourses typical for the given society and is adopted by speakers in the processes of participation in relevant social speech practices.

The social organization of human existence outside institutions presupposes that people have ideas about the stratification of social spheres, about social practices, including discursive ones. In particular, this shows when people perceive institutional discourses as authoritative when they act as subjects of personality-oriented discourse. But this authority may be reinterpreted by the subject as true

or false, which results in the preservation, neutralization or transformation of the meaning implied by the source discourse.

The research focuses on the dialect speaker of the older generation as a particular type of subject of personality-oriented discourse, with a specific nature of social existence, a specific set of acquired social speech practices and a special nature of their acquisition.

The set of speech forms stabilized in institutional discourses that the speaker uses, as well as the nature of their subjective interpretation, depends on how many speech practices of relevant source discourses the subject knows and how they have been acquired, on the attitude of the speaker to their social authority embodied in the implementation of concrete situational subjective intentions.

The type of the subject is determined based on their belonging to a particular social and speech culture (the speech culture typology is developed in works by V.E. Goldin, O.B. Sirotinina, E.N. Shiryayev et al.). Personality-oriented communication has two social speech types of subjects. The second type is analyzed. The subject of this type has a low level of differentiation of functional areas of speech experience acquisition. In gaining this experience such a subject is focused on the discursive features of language functioning less than the first type of the subject.

As a result, in the dialect text, due to the specifics of the speech experience of the subject and the nature of the acquisition of epistemological models of its implementation, the content of speech forms of institutional discourses shows, on the one hand, a high level of dependence on the modus meaning set in the source, on the other, often "formal", incomplete perception of it (a speech form only expresses individual components of its content that a discourse sets, in isolation from others). As a result, there is a high level of transformation and frequent actualization of the modus of the source, as well as the use of institutional forms of speech regardless of the semantic conditionality of colloquial communication.

References

1. Dijk, T.A. van. (1989) *Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya* [Language. Cognition. Communication]. Translated from English. Moscow: Progress.
2. Rezanova, Z.I. (2010) Diskursivnye kartiny mira [Discursive images of the world]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Images of the Russian world: modern media discourse]. Tomsk: ID SK-S.
3. Bally, Ch. (1955) *Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka* [General linguistics and the French language questions]. Translated from French. Moscow: Inostrannaya literatura.
4. Leech, G. (2008) *Language in Literature: Style and Foregrounding*. Longman Pub Group.
5. Tubalova, I.V. (2015) The style of personality-oriented discourses as a sphere of stylistic influence of other discourses. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (37). pp. 108–123. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/37/9
6. Bakumova, E.V. (2002) *Rolevaya struktura politicheskogo diskursa* [The role structure of political discourse]. Philology Cand. Diss. Volgograd.
7. Karasik, V.I. (2002) *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language circle: Personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena.
8. Tubalova, I.V. (2014) Institutional speech patterns in person-oriented discourses. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (31). pp. 38–52. (In Russian).
9. Russian. National Corpus. (n.d.). [Online] Available from: www.ruscorpora.ru.
10. Kasatkin, L.L. (ed.) (2009) *Russkaya derevnya v rasskazakh ee zhiteley* [Russian village in the stories of its inhabitants]. Moscow: AST-PRESS.
11. Gol'din, V.E. & Sirotinina, O.B. (1993) Vnutrinationsional'nye rechevye kul'tury i ikh vzaimodeystvie [Intra-national speech cultures and their interaction]. *Voprosy stilistiki*. 25. pp. 9–19.
12. Gol'din, V.E. & Sirotinina, O.B. (1997) Rechevaya kul'tura [Speech culture]. In: Karaulov, Yu.N. (ed.) *Russkiy yazyk: Entsiklopediya* [Russian language: Encyclopedia]. Moscow: Drofa.
13. Sirotinina, O.B. (2001) Osnovnye kriterii khoroshey rechi [The main criteria for a good speech]. In: Kormilitsyna, M.A. & Sirotinina, O.B. (eds) *Khoroshaya rech'* [Good speech]. Saratov: Saratov State University.
14. Sirotinina, O.B. (2006) Rechevaya kul'tura [Speech culture]. In: Kozhina, M.N. (ed.) *Stilisticheskii entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Flinta, Nauka.

-
15. Shiryayev, E.N. (1991) Kul'tura rechi kak lingvisticheskaya distsiplina [Culture of speech as a linguistic discipline]. In: Dmitrieva, O.L. (ed.) *Russkiy yazyk i sovremennost': Problemy i perspektivy razvitiya rusistiki* [Russian language and the present: Problems and prospects of development of Russian studies]. Vol. 1. Moscow: IRL.
 16. Zemskaya, E.A. & Kapanadze, L.A. (eds) (1978) *Russkaya razgovornaya rech'. Teksty* [Russian colloquial speech. Texts]. Moscow: Nauka.
 17. Gasparov, B.M. (1996) *Yazyk, pamyat', obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya* [Language, memory, image. Linguistics of language existence]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82-32

DOI: 10.17223/19986645/44/6

К.В. Анисимов

ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»

В статье анализируются пасхальные мотивы в рассказе И.А. Бунина «Легкое дыхание», определяется их влияние на персонажную систему (Субботина, классная дама), детализируется взаимодействие онтологического и метатекстуального аспектов поэтики произведения. Специальное внимание уделено эстетике дневника, особенно продвигавшейся писателем в 1916 г. С опорой на интертекстуальные переключки, содержащиеся в дневнике героини, реконструируется грань авторского замысла, определяющаяся установкой на дискредитацию конвенций «обычного» литературного письма. В ходе исследования прояснены некоторые нюансы художественного и философского диалога И.А. Бунина с Л.Н. Толстым – автором романа «Анна Каренина». Ключевые слова: И.А. Бунин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, пасхальный рассказ, дневник, интертекстуальность.

В нашей науке рассказ Бунина 1916 г. «Легкое дыхание» усилиями выдающихся исследователей – Л.С. Выготского и А.К. Жолковского [1, 2] – превратился преимущественно в феномен теории литературы. При всем обилии и многообразии последовавших за статьей Л.С. Выготского частных изысканий, простирающихся от поисков фольклорных подтекстов рассказа [3] до реконструкции «скрытых мотивов» [4] и изучения самого главного концепта, ставшего заглавием [5], теоретическая сосредоточенность интерпретаторов несколько ретушировала ближайший контекст произведения и превратила «Легкое дыхание», отчасти даже вопреки репутации его создателя как «классика», «академика» и «реалиста», в одну из главных иллюстраций модернистского преобразования русской прозы в начале XX в.

В данной статье мы обратим внимание на несколько неучтенных деталей, обычно выпадавших из поля зрения многочисленных толкователей этого несомненного шедевра нашей словесной культуры, развивавших классические наблюдения Л.С. Выготского о конфликте линии исходных событий («фабулы», «схемы диспозиции») с «кривой художественной формы» [1. С. 193, 189].

Сформулируем первый тезис. Неочевидное в самом тексте «Легкого дыхания» противопоставление вынесено Буниным в два автокомментария, прояснивших замысел. Первый – замечание из цикла «Происхождение моих рассказов», который Бунин написал на склоне лет. Здесь о побудительном импульсе к сочинению говорится так: «...вспомнилось, что забрел я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом

медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми радостными глазами. Девушку эту я тотчас же сделал мысленно русской, Олей Мещерской...» [6. С. 369]. Уже в этом пассаже намечено главное противопоставление: могила и предельно жизнеподобное, словно готовое сойти к зрителю с медальона изображение.

Амбивалентный концепт жизни усилен в другом автокомментарии – записанном в 1929 г. Г.Н. Кузнецовой. «...И.А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей “утробной сущности”. “Только мы называем это утробностью, а я там назвал это легким дыханием. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти, и есть “легкое дыхание”, недуманье”» [7. С. 263–264].

Утроба как локус зарождения жизни и *могила* как точка ее финального и безысходного пресечения образуют семантические полюса рассказа, его главный смысловой нерв. По законам сюжетосложения и в особенности согласно художественной концепции Бунина, в изображении которого физическое бытие двуедино и является некой синтетической жизне-смертью [8], эти полюса динамичны, взаимоориентированы. Смерть должна быть преодолена жизнью, и главный весенний праздник христиан, аллюзии на который являются предметом нашей работы, пришелся здесь автору как нельзя более кстати.

Второй тезис вытекает из модернистского или, по Ю. Мальцеву, «модерного» [9. С. 100–151] характера бунинской манеры письма, которое является насквозь металитературным. Смерть понимается писателем не только в онтологической перспективе – как исход любого природного бытия, переходящего от цветения к распаду, но и с социокультурной точки зрения – как явление и запечатленность в знаковой форме. Всякая подмена есть смерть – в этом отождествлении содержится не только этический смысл, близкий традиции Достоевского и Толстого с их симпатиями к «живой жизни», но также кроется и смелый семиотический эксперимент, суть которого заключается в том, чтобы создать литературное произведение, подрывающее сами основы литературности.

Предваряя анализ, приведем только несколько поясняющих примеров. Действительно, скупое, 5-страничное сообщение о гибели гимназистки, чем и является «Легкое дыхание», странно изобилует информацией о письме, записывании, чтении и влиянии книги на человека. Оля, как мы помним, ведет дневник, куда заносит сведения о своем падении, причем, судя по всему, центральным моментом этой записи является открытая отсылка к «Фаусту» Гете, подсказанная Оле героем ее мимолетного романа Малютиным. «...Он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой» [10. С. 97]. Затем этот дневник оказывается в руках казачьего офицера, ее нового любовника и убийцы, читающего о Малютине. В конце повествование интерполируется образом нового и неожиданного персонажа – классной дамы, которая навещает могилу Оли. Сама эта дама, представляющая собой иронически воспроизводимый Буниным ненавистный ему тип «передовой женщины» рубежа столетий, живет «какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь» [10. С. 98] или, по-другому – «начитанной жизнью», как выразился автор в мартовских записях своего дневника синхронно с работой над «Легким дыханием» [11. С. 153] (заметки писателя, относящиеся к весне 1916 г.,

вообще пестрят выпадами против литературы). Все эти, немного перифразируя Поля де Мана, «аллегории» «чтения» и «письма» легко, в присущей Бунину манере, могут натурализоваться, превращаясь в иконический знак: например, в начале рассказа читатель узнаёт, что у Оли пальцы испачканы чернилами [10. С. 94] – то ли от гимназических упражнений, то ли от ее записей, посвященных свиданию с Малютиным. Наконец, смысловой доминантой произведения, его, по Ю.М. Лотману, «текстом в тексте» является сплошное цитирование некой «папиной книги», в которой содержится описание идеальной красотки – обладательницы того самого «легкого дыхания». Как видим, даже название рассказа, т.е., казалось бы, главное свидетельство воли автора, опосредуется неизвестным посторонним источником – за год до «Легкого дыхания» Бунин уже использовал этот прием при написании «Грамматики любви»¹, которая в рукописи имела «собственное» заглавие «Невольник любви», но затем автор решил словно минимизировать свое «присутствие» и озаглавил рассказ по имени «текста в тексте» – также цитируемой в произведении переводной французской книжки. Уже сама эта игра с заглавиями рассказов, в которых двойится «свое» и «чужое», создает эффект зеркального смыслового мерцания, намекает на основной эстетический и философский конфликт, мучивший Бунина на протяжении зрелых лет его творчества.

В «Легком дыхании» всеми доступными ему способами Бунин усиливает тему *видимого* (ср. мотив фотографического портрета), явственно и достоверно присутствующего здесь и сейчас. Собственно, второй, некнижный, онтологический смысл ключевого образа рассказа обусловлен именно этой установкой автора. Легкое дыхание из кокетливого книжного концепта превращается в вечную и бессмертную мировую душу, растворяясь в «этом» мире, «апрельском ветре», о которых читатель должен не столько узнать (никакого сюжетно-информационного значения эти образы не имеют), сколько *увидеть*, почти телесно *ощутить*. Видимое и ощущаемое в этом отношении становятся вызовом смерти, которая господствует на уровне фабулы. В свою очередь, все знаки литературности, включая два главных хронотопа рассказа – гимназию (где учат прежде всего читать и писать) и кладбище (где от человека буквально остается одна только надпись), являются вызовом этому неукротимому желанию *быть*.

Перейдем к аргументам и попробуем сначала показать скрытый пасхальный сюжет рассказа. Вначале подчеркнем ряд подробностей, про которые специалисты давно знали, но, читая и анализируя рассказ, не придавали им определяющего значения [13. С. 58; 14]. Вновь напомним бунинский автокомментарий: «...“Русское слово” Сытина просило дать что-нибудь для пасхального номера. Как было не дать?» [6. С. 369]. Этот факт на самом деле подсвечивает всю структуру текста, позволяя увидеть более глубокий смысл его важнейших эпизодов. Присмотримся к ним более внимательно.

Как известно, смысловым стержнем рассказа является создаваемый в ходе нарративного эксперимента эффект оживления героини. Ее тело на первый взгляд неумолимо мертво: в реальном времени повествователя оно лежит под

¹ Согласно О.В. Сливицкой, «Грамматика любви» подготовила «Легкое дыхание» [12. С. 89].

«свежей глиняной насыпью» [10. С. 94]. Дж. Вудворд подметил, что на идею «тяжести, неподвижности, торжественности» работают даже специально подбираемые Буниным слова, которыми описывается кладбищенская сцена: в каждом из них ударение стоит на первом слоге, чем задается размеренно повторяющийся ритм, намекающий на вечность [15. С. 150]¹. Однако в ретроспекции, именно в повествовательных сплетениях рассказа, Оля, по А.К. Жолковскому, словно «выпархивает» [2. С. 117 и след.] из всех ограничивающих ее рамок (в числе которых будущая могила самая крепкая и тяжелая) и воссоединяется с апрельским ветром – вечным «символом жизни» [8. С. 78].

Читателю действительно кажется, что Бунин не хочет оснащать свой текст религиозными аллюзиями, хотя материализация концепта «легкого дыхания», встреченного героиней в «одной папиной книге» [10. С. 98], в телесном признаке самой Оли, иконически буквализирующей книжный образ в действии («А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю...» [10. С. 98]), конструктивно и напоминает христианское воплощение Слова-Логоса. Другая деталь, которую можно понять как тонкий и отдаленный намек, – фамилия Олиной собеседницы, слушающей только что цитированные слова героини: Субботина. *Воскресень(и)е* следует за *субботой*. История создания произведения как пасхального рассказа подтверждает такое предположение. «Апрель, дни серые...» [10. С. 94] – это, конечно, не просто весна, но весна пасхальная. В 1916 г. Пасха пришлась на 10 апреля ст. ст. – в этот день «Легкое дыхание» увидело свет на третьей странице 83-го номера названной газеты, разместившись там на следующей полосе после широкого заголовка «Христос воскрес!», которым открывалась литературная подборка выпуска [17. С. 2–3].

Действительно, если полагаться только на натурфилософское, своего рода «секулярное» прочтение образа ветра, то будет довольно трудно логически объяснить, почему автор, начав работу в марте («Рассказ “Легкое дыхание” я написал в деревне, в Васильевском, в марте 1916 года» [6. С. 369]), так настаивал именно на «апрельском» ветре. Общеизвестный образ весеннего пробуждения в тех далеко не северных краях, откуда родом был Бунин, вполне естественно соотносим и с мартом. Не менее существенно и то, что повествователь присутствует на кладбище, судя по всему, тоже в воскресенье, так как описываемая им далее классная дама навещает могилу Оли «каждое воскресенье, после обедни» [10. С. 97], проходя через ограду, «над воротами которой написано Успение Божией матери» [10. С. 97]. Укажем здесь в качестве параллели на европейские представления о воскресении Богородицы так же, как и ее Сына. Таким образом, Субботина, появляющаяся в самых последних строках повествования, словно открывает своей фамилией узкий смысловой зазор, контрапунктно направленный на фамилию самой Оли. «Мещерская», как уже не раз отмечалось, не столько имя собственное, сколько обретающая в литературном контексте понятийный статус отсылка к знаменитому держа-

¹ Метрическая организация зачина «Легкого дыхания» привлекла также внимание Ю.Б. Орлицкого [16. С. 523–524].

винскому стихотворению, посвященному всесилию смерти [2. С. 117; 18. С. 232].

Скрытая пасхальная тема накрепко увязана у Бунина с его эстетической программой, реализованной в череде интертекстуальных отсылок и метатекстов «Легкого дыхания».

Например, с учетом пасхальных мотивов можно дополнить известные трактовки рассказа как словесного эксперимента, в котором в модернистском духе проблематизируется граница между текстом и реальностью. Книжно-образная фигура «легкого дыхания» физически воплощается в Оле точно так же, как сама она, метонимически приращенная к этому «дыханию», затем рассеивается по всему миру. Обратим внимание на то, что образ «дыхания» не менее энергично, чем сама героиня, выходит за рамку – в данном случае литературности, внутри которой он изначально был заперт, соседствуя там с пошлыми клише типа «тонкий стан», «*черные*, кипящие смолой глаза», «*черные*, как ночь, ресницы» и знакомая по Пушкину «маленькая ножка» [10. С. 98]. То, что содержание «текста в тексте» остранено бунинской иронией, доказывается бросающимся в глаза противоречием вычитанного и выученного Олей перечня примет красоты, «какая <...> должна быть у женщины» [10. С. 98], – прозвучавшей в увертюре рассказа мысли, всецело относящейся к кругозору автора: прелесть юной гимназистки принадлежит к тем реалиям, посягать на которые самоуверенному литератору бесполезно, ибо это «очарование» «еще никогда не выразило человеческое слово» [10. С. 94]. Другим аргументом является иная сравнительно с «Грамматикой любви» оценка «папиной книги»: последняя, что весьма важно, «смешна». Оля сообщает Субботиной, что у отца было «много старинных смешных книг» [10. С. 98]. В «Грамматике любви» предвестницей понимания книги как несерьезной является читающаяся на самом первом этапе работы над рукописью и почти сразу же Буниным снятая характеристика библиотеки Хвощинского: «Ужасная чепуха была в этой библиотеке» [19. Л. 5]. Над этой очевидно опрометчивой и потому в итоге зачеркнутой фразой надписано: «Престранные книги составляли эту библиотеку!» – и эта решительно иная оценка, корректирующая всю смысловую перспективу рассказа, намекающая на полный таинственной строгости внутренний мир обоих его внефабульных героев, уходит во все печатные редакции, более не меняясь.

В главном для нас рассказе концепт дыхания, подобно некоему смысловому трамплину, выносит Олю за непреодолимую раму могилы очень схоже с тем, как сам он, по воле автора, высвобождается из тенет литературности и приобщается к находящимся по ту сторону всякой знаковости свободным и вечным небу и ветру.

Подчеркнутая нами закономерность позволяет точнее локализовать в структуре текста и визави Оли – классную даму. В науке уже подмечена экспансия черного цвета в облике дамы [13. С. 57]: «...маленькая женщина в *трауре*, в *черных* лайковых перчатках, с зонтиком из *черного* дерева» [10. С. 97]. Она, как мы помним, всю жизнь прожила «какой-нибудь выдумкой». Топографически привязанная к локусу могилы едва ли не крепче, чем погибшее тело Оли, она подана читателю в той же цветовой гамме, в каковую были

окрашены черты книжно-идеальной девицы и, к слову сказать, «совсем молодые, черные» [10. С. 97] глаза «Фауста»-Малютина.

Фикциональность, «выдумка» и книжность как смерть – такая риторика Бунина подкрепляется еще и тем, что «чернота» девичьего образа из «папиной книги» относится именно к глазам, которым резко противопоставлены глаза воскресающей Оли, «бессмертно» сияющие «из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте» [10. С. 98]. Известно, что у Оли был именно «ясный блеск глаз» [10. С. 94]¹ – в этом отношении настойчивое повторение «кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой!» [10. С. 98] может быть понято как антитеза образу героини.

Дискредитация знаковости и письма, впрочем, этим не ограничивается, становясь особенно заметной в разветвленной сети интертекстуальных отсылок. Фундаментальным источником, программирующим различные межтекстовые переключки, для Бунина всегда были Толстой и Достоевский. Уже отмечалось, что в «Легком дыхании» переосмысливаются как некоторые эпизоды, так и программный стержень толстовского романа «Анна Каренина» [2. С. 117]. Одно только главное фабульное событие – «гибель неверной женщины на вокзале» – уже говорит о многом. Добавить к этому можно и чуть менее явное сходство: в решающий момент самопонимания и самообъяснения обе героини отталкиваются от читаемого или читанного ранее текста. Так, жизненный надлом застигает Анну Каренину в поезде с английским романом в руках (сцена, вызвавшая к жизни ряд тонких ученых толкований²), а Оля Мещерская обращается к авторитету «папиной книги».

Достоевский в своих отзывах о романе Толстого точно выделил его главную моральную тему: герои, «захваченные в круговорот лжи» [22. Т. 14. С. 236]. Именно эта тема Буниным преобразована из моральной в философско-эстетическую – и в этом суть интертекстуального диалога. Оля показана в развилке не между правдой и ложью, не между ошибкой и раскаянием, а между естеством и текстом, т.е. не-знаком и знаком. Индикатором такой смены смыслового регистра является традиционный приём – составление дневника и ознакомление другого героя с содержанием личных душевных записей. Всем известен эпизод из «Анны Карениной», в котором Левин дает читать Кити записи своих молодых лет, из которых следовало, насколько Левин был «нневинен» [23. Т. 18. С. 429]. Эпизод автобиографичен, он отсылает к действительным отношениям Толстого с юной Софьей Берс [24. С. 201]. Дневник и в биографическом, и в художественном опыте романиста точно направляет вектор духовного становления автора ежедневных записей. То есть в соответствии с классической поэтикой характер определяет фабулу, личность словно выковывает саму себя, а дневниковые листы являются зеркалом, отражающим этот процесс.

У Бунина дневник показан как повествовательная иллюзия, ибо вопреки в данном случае толстовскому опыту между Олиным раскаянием в дневнике и

¹ Исследователь, чувствуя в Оле «зимнее», «снежное» начало, сближает ее образ со Снегурочкой, которая визуально может быть только светлой, если не полностью белой. См.: [3].

² Исследователь предполагает, что читаемый Анной текст сконструирован из общих мест романов Энтони Троллопа и Эллен Вуд [20]. В более широком контексте о значении читательских увлечений Анны см. [21].

ее действительным поведением нет никакой связи. Записи Мещерской после ее «падения» с Малютиным оканчиваются характерно: «Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! *Теперь мне один выход...* Я чувствую к нему такое отвращение, *что не могу пережить этого!..*» [10. С. 97]. Выделенные фрагменты – это, конечно, намеки на самоубийство «падшей» девицы, своего рода «бедной Лизы» XX в. Однако клишированная толика записей гимназистки становится очередным фантомом знаковости и литературности, которые опрокидываются смысловой структурой рассказа. Череда хаотических событий «Легкого дыхания» действительно подсказывает, что то, что героиня нагадала себе в дневнике, сбывается «не буквально» [5. С. 119]: «Хотя Оля, – замечает далее А. Щербенок, – и в самом деле погибает, самоубийство, на которое намекает запись в дневнике, замещается в реальности убийством» [5. С. 119].

Исподволь указывая на способность самостоятельно расстаться с жизнью, Мещерская очевидно ведёт себя как литературная героиня – как раскаивающаяся Наташа Ростова (впрочем, весьма далекая от каких-либо писаний) или, что еще вероятнее, – как роковая, но при этом «падшая» женщина из романов ненавистного Бунину Достоевского. На возможные переклички образов Оли и Настасьи Филипповны внимательный исследователь уже указал [25. С. 66]. Не будем забывать и правило контекста: вскоре после «Легкого дыхания» (в конце 1916 г.) Бунин пишет свой самый «достоевский» рассказ «Петлистые уши», причем в нём также распознаются отсылки к роману «Идиот» [26. С. 197]. Действительно, «падение» бунинской героини с человеком, которому она годилась в дочери, намекает через голову Толстого именно на Достоевского. Так, в самом начале произведения обидчик Настасьи Филипповны Тоцкий рекомендуется Рогожиным как господин, достигший лет «настоящих, пятидесяти пяти» [22. Т. 6. С. 13]¹. Бунинскому Малютину, напомним, «пятьдесят шесть лет» [10. С. 97]².

Литературность дневникового мотива самоубийства проявляется и на уровне повествовательной эквивалентности: в рассказе есть внесюжетный персонаж по фамилии Шеншин, гимназист и ухажер Мещерской, который от любви к ней уже «покушался на самоубийство» [10. С. 95]. Многозначительная аллюзия на Фета в фамилии этого мельком упомянутого действующего лица помогает уяснить как литературный фон бунинского рассказа («Робкое дыханье» / «Легкое дыхание» [2. С. 117]), так и некоторую двусмысленность и фальшивость всего, что связано с этим металитературным «корешком» сюжета. Действительно, Фет *был* и одновременно *не был* Шеншиным, Шеншин покушался на самоубийство, но все-таки не довел свой умысел до конца –

¹ И хотя обиду Настасье Филипповне Тоцкий нанес гораздо раньше, когда ему было «около пятидесяти лет» [22. Т. 6. С. 44], все же всякий раз на страницах романа он предстает как 55-летний. Характерна настойчивость Достоевского на данном возрастном указателе: и Иволгин, и Епанчин примерно этих же лет. Иволгин «лет пятидесяти пяти или даже поболее» [22. Т. 6. С. 97], а Епанчин «был еще <...> в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более» [22. Т. 6. С. 17].

² Любопытно одно примечательное (не исключено – случайное) совпадение: в марте 1916 г. писатель корреспондировался через посредников с художником Сергеем Васильевичем Малютиным, который намеревался рисовать портрет Бунина [27. С. 360, 725]. Родившемуся 22 сент./ 4 окт. 1859 г. Малютину было весной 1916 г. аккурат 56 лет [28. С. 3].

литература, по Бунину, способна сообщить читателю лишь псевдо-смыслы, репрезентированные в знаках, у которых нет никаких надежных референтов.

Таким образом, вероятнее всего, перед нами ловко составленное попури чисто литературных мотивов, такая же клишированная литературщина, как и слова из «папиной книжки» про «кипящие смолой глаза» и «маленькую ножку». Закономерно, что ценность дневника в «Легком дыхании» Буниным осознанно и решительно понижается: Оля пишет одно, а ведет себя совершенно иначе. Между тем незадолго до начала работы над рассказом, 23 февраля 1916 г., писатель указал на особую притягательность для него именно дневника – универсального, равного всей жизни типа письма, формы, которая «в недалеком будущем» «вытеснит все прочие» [11. С. 149]. Олины «литературные» опыты были на этом фоне примером того, каким дневник быть не должен: незадачливая гимназистка *пишет* ложь, дает *прочитать* человеку «плебейского вида» [10. С. 96], заведомо неспособному ее понять, причем сопровождает свою неуместную исповедь перед казаком ремаркой об «издевательстве» («...вдруг сказала ему, что <...> все эти разговоры о браке – одно издевательство ее над ним» [10. С. 96]). Следовательно, на всех уровнях своей организации как потенциально ответственного и предельно откровенного высказывания (чем должен быть дневник) Олин опус является текстом, подрывающим собственную состоятельность: *автор* лжет самому себе, решительно неадекватно подбирает своего *читателя*, а прагматический аспект *воздействия* размещается в двоящемся зазеркалье правды-лжи. Действительно, сначала Оля «покаялась быть его женой» [10. С. 96] – мотив клятвы, по идее, сообщает говоримому свойство истины. Однако потом «дала ему прочитать ту страничку дневника, где говорилось о Малютине» [10. С. 96] – и «правда», подтвержденная клятвой, становится лишь правдоподобием, а исполненный неправдоподобных напускных эмоций текст гимназистки оборачивается к казачьему офицеру своей жестокой событийной правдой.

Итак, дневник героини оказывается нарративной фикцией по причине расхождения с фабулой и в более общем смысле – с жизнью. Причем Олино поведение с казаком как раз естественно, оно соответствует идее «женщины, доведенной до предела своей “утробной сущности”», а вот риторика дневника – нет. Таким образом, дневник необходимо отнести к категории тех самых «выдумок», которыми жила классная дама и на разрыв с которыми направлена вся смысловая энергия рассказа.

Окончить статью хотелось бы предположением об одном знаковом пропуске, который допускает Бунин, в главных поворотах своего сюжета отсылающий читателя к «Анне Карениной». Известно, каким фундаментальным значением наделена у Толстого страшная сцена созерцания Вронским истерзанного колесами товарного поезда тела Анны.

При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась *она*, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции: на столе казармы бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и выючимися

волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губках и ужасное в остановившихся незакрытых глазах, выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово – о том, что он раскается, – которое она во время ссоры сказала ему (23. Т. 19. С. 362).

Эта картина – один из решающих для Толстого аргументов в пользу главной мысли романа, выраженной в его эпиграфе: «Мне отмщение, и Аз воздам». Позднее, в трактате «В чем моя вера?», одним из определяющих условий счастья писатель-моралист назовет «здоровье и *безболезненн[ую]* смерть» [23. Т. 23. С. 421]. У Толстого тело Анны, от противного иллюстрирующее этот тезис, наказано за грех ее души. Крайне существенно, что эта заключительная «вокзальная» сцена романа также содержит мотив *возрождения* – незадолго до погружения в это своё воспоминание Вронский, отправляющийся на войну с турками, слышит от Кознышева такие слова: «Вы возродитесь, – сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. – Избавление своих братьев от ига есть цель достойная и смерти и жизни» [23. Т. 19. С. 361–362]. Эти слова проникнуты жестокой толстовской иронией, они и сказаны персонажем, над которым автор в течение всего романного действия зло смеется. У героев, проживших свои жизни так, а не иначе, никакого возрождения быть не может.

Бунин, напротив того, проблематическое индивидуальное бессмертие Оле Мещерской постарался обеспечить всеми доступными ему повествовательными приемами, причем, будучи в биографически-бытовой своей ипостаси весьма мало верующим человеком, вспомнил здесь про главный православный праздник.

Литература

1. Выготский Л.С. «Легкое дыхание» // Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов н/Д, 1998. С. 186–207.
2. Жолковский А.К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 103–120.
3. Неелов Е.М. Снегурочки не умирают: (Трансформация фольклорного образа в психологической новелле, литературной сказке, научно-фантастическом рассказе) // Русская литература и фольклорная традиция: сб. науч. тр. Волгоград, 1983. С. 75–92.
4. Шатин Ю.В. Скрытый мотив «Легкого дыхания» И.А. Бунина // Сибирский филологический журнал. 2003. № 2. С. 49–52.
5. Щербенок А. Бунин // Щербенок А. Деконструкция и классическая русская литература: От риторики текста к риторике истории. М., 2005. С. 115–126.
6. Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Собр. соч.: в 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 368–373.
7. Кузнецова Г.Н. Из «Грасского дневника» // Лит. наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 2. М., 1973. С. 251–299.
8. Сливцкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М., 2004.
9. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Москва; Франкфурт-на-Майне, 1994.
10. Бунин И.А. Легкое дыхание // Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 4. С. 94–98.
11. Устами Буниных: в 3 т. / под ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне, 1977. Т. 1.
12. Сливцкая О.В. Бунин и Тургенев («Грамматика любви» и «Бригадир»: Опыт сравнительного анализа) // Проблемы реализма. Вып. 7. Вологда, 1980. С. 78–89.
13. Рощина О.С. К интерпретации рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание» // Сиб. филол. журн. 2011. № 1. С. 53–59.
14. Захаров В.Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы. URL: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37163.php> (дата обращения: 27.08.2016 г.).

15. Woodward J.B. Ivan Bunin. A Study of his Fiction. Chapel Hill, 1980.
16. Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008.
17. Бунин И.А. Легкое дыхание // Русское слово. 1916. № 83. 10 апр. С. 3.
18. Скидан А. Ребенок – внутри: Еще раз о «Легком дыхании» // Скидан А. Сумма поэтики. М., 2013. С. 225–239.
19. Бунин И.А. Грамматика любви // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 429. К. 1. Ед. хр. 6.
20. Cruise E. Tracking the English Novel in *Anna Karenina*: who Wrote the English Novel that Anna Reads? // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by D.T. Orwin. Cambridge, 2010. P. 159–182.
21. Mandelker A. Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel. Columbus, 1993.
22. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Л. (СПб.), 1988–1995.
23. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1935–1964.
24. Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой. М., 2007.
25. Чович Б. Мотив инстинкт смерти у Иво Андрича и Ивана Бунина // Славяноведение. 1995. № 1. С. 61–68.
26. Риникер Д. Подражание – пародия – интертекст: Достоевский в творчестве Бунина // Достоевский и русское зарубежье XX века. СПб., 2008. С. 170–211.
27. Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов / под ред. О.Н. Михайлова. М., 2007.
28. Малютин С. Избранные произведения. М., 1987.

PASCHAL MOTIFS IN IVAN BUNIN'S "LIGHT BREATHING"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 83–94. DOI: 10.17223/19986645/44/6

Kirill V. Anisimov, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation); Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Keywords: I. Bunin, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, paschal short story, diary, intertextuality.

The article focuses on the famous Bunin's short story "Lyogkoe dykhanie" [Light Breathing], which became primarily a phenomenon of the theory of literature after the congenial work by L. Vygotsky. Most research works that emerged after Vygotsky's *Psikhlogiya iskusstva* [The Psychology of Arts] developed the observations of this scholar. While analyzing "Light Breathing", the author of the given article attempted to concentrate mostly on the personal writer's context that includes diary notes that refer to the spring of 1916 (the time when the oeuvre was written) and posterior self-commentaries in which Bunin was recalling the conception of the plot. Bunin's confession that he wrote the story intentionally for the paschal issue of one of the Russian newspapers (Easter in 1916 fell on April 10) became the central point of the analysis. The initial newspaper publication shows "Light Breathing" within a group of festive short stories published under the congratulation "Christ has risen!", which was shaped as a head-line typed with capital letters. This primary-source background of the investigation formed a number of premises to reconstruct the paschal line of the plot (for example, the semantics of such a character as Subbotina, the interlocutor of the main heroine), but the most important thing is that the analysis carried out within this framework revealed the aesthetic dimension of the *life vs. death* collision, which is the only condition to deliver relevance to paschal motifs. The distinctness of Bunin's aesthetics lies not only in ontological non-admittance of death as such (in this sense there would be no difference between Bunin and his mentor Tolstoy), but also in entwining death with all the precedents of semiotic substitution. In the structure of "Light Breathing" paschal allusions that surround Olga Meshcherskaya's image are contra directed to the large ensemble of metaliterary motifs with which Bunin aspires to undermine the conditions of "conventional" literary writing. The diary becomes the genre which provides the author with the tools and devices of his critique. The reflection on the diary as a genre embraces the whole narrative of the short story and marks Bunin's personal notes in his own diary of that time. The present article asserts that the two main "texts in text" (Yu. Lotman) of "Light Breathing" (Meshcherskaya's diary and "daddy's book" which contains the main symbolic concept of the story the author turned into a title) are no more than a medley composed of widespread literary clichés so that this very principle radically contradicts with the author's own vision of what a diary should be. It is worth reminding that later Bunin will be thoroughly practicing

the poetics and style of a diary until he bases his only novel, “The Life of Arsen’ev”, almost exclusively on the diary as a type of narrative. The conclusion of the article emphasizes the main notion: the role of paschal motifs in the structure of “Light Breathing” is crucial; they show how the author encodes the story of Olga’s symbolic resurrection with allusions to Russian national culture.

References

1. Vygotskiy, L.S. (1998) Legkoe dykhanie [Light Breathing]. In: Vygotskiy, L.S. *Psikhologiya iskusstva* [Art Psychology]. Rostov-on-Don: Feniks.
2. Zholkovskiy, A.K. (1994) “Legkoe dykhanie” Bunina – Vygotskogo sem’desyat let spustya [“Light Breathing” by Bunin – Vygotsky seventy years later]. In: Zholkovskiy, A.K. (1994) *Bluzhdayushchie sny i drugie raboty* [Wandering dreams and other works]. Moscow: Nauka; Vostochnaya literatura.
3. Neelov, E.M. (1983) Snegurochki ne umirayut (Transformatsiya fol’klornogo obraza v psikhologicheskoy novelle, literaturnoy skazke, nauchno-fantasticheskom rasskaze) [Snow maidens do not die (The transformation of a folklore image in the psychological novel, the literary fairy tale, the science fiction story)]. In: *Russkaya literatura i fol’klornaya traditsiya* [Russian literature and folklore tradition]. Volgograd: Volgograd State Pedagogical Institute.
4. Shatin, Yu.V. (2003) Skrytyy motiv “Legkogo dykhaniya” I.A. Bunina [The hidden motif of “Light Breathing” by I.A. Bunin]. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 49–52.
5. Shcherbenok, A. (2005) Bunin. In: Shcherbenok, A. *Dekonstruksiya i klassicheskaya russkaya literatura: Ot ritoriki teksta k ritorike istorii* [Deconstruction and classical Russian literature: From the rhetoric of the text to the rhetoric of history]. Moscow: NLO.
6. Bunin, I.A. (1967) Proiskhozhdenie moikh rasskazov [The origin of my stories]. In: Bunin, I.A. *Sobr. soch.: v 9 t.* [Works: in 9 vols]. Vol. 9. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
7. Kuznetsova, G.N. (1973) Iz “Grasskogo dnevnika” [From “Grassky Diary”]. In: *Literaturnoe nasledstvo* [Literary heritage]. Vol. 84. Book 2. Moscow: USSR AS.
8. Slivitskaya, O.V. (2004) “Povyshennoe chuvstvo zhizni”: mir Ivana Bunina [“The increased sense of life”: the world of Ivan Bunin]. Moscow: RSUH.
9. Mal’tsev, Yu. (1994) *Ivan Bunin. 1870–1953*. Moscow; Frankfurt: Posev. (In Russian).
10. Bunin, I.A. (1988) Legkoe dykhanie [Light Breathing]. In: Bunin, I.A. *Sobr. soch.: v 6 t.* [Works: in 6 vols]. Vol. 4. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
11. Grin, M. (ed.) (1977) *Ustami Buninykh: v 3 t.* [In the words of the Bunins]. Vol. 1. Frankfurt: Posev.
12. Slivitskaya, O.V. (1980) Bunin i Turgenev (“Grammatika lyubvi” i “Brigadir”. Opyt sravnitel’nogo analiza) [Bunin and Turgenev (“Grammar of Love” and “Foreman”. An experience of the comparative analysis)]. *Problemy realizma*. VII. pp. 78–89.
13. Roshchina, O.S. (2011) On the interpretation of the story “Easy Breath” by I.A. Bunin. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology* 1. pp. 53–59. (In Russian).
14. Zakharov, V.N. (n.d.) *Paskhal’nyy rasskaz kak zhanr russkoy literatury* [Paschal story as a genre of Russian literature]. [Online] Available from: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37163.php>. (Accessed: 27th August 2016).
15. Woodward, J.B. (1980) *Ivan Bunin. A Study of his Fiction*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
16. Orlitskiy, Yu.B. (2008) *Dinamika stikha i prozy v russkoy slovesnosti* [Dynamics of poetry and prose in Russian literature]. Moscow: RSUH.
17. Bunin, I.A. (1916) Legkoe dykhanie [Light Breathing]. *Russkoe slovo*. 83. 10 April. p. 3.
18. Skidan, A. (2013) Rebenok – vnutri. Eshche raz o “Legkom dykhanii” [A child inside. Once again about “Light Breathing”]. In: Skidan, A. *Summa poetiki* [The sum of poetics]. Moscow: NLO.
19. Bunin, I.A. (n.d.) *Grammatika lyubvi* [The Grammar of Love]. Department of Manuscripts of the Russian State Library. Fund 429. Box 1. Item 6.
20. Cruise, E. (2010) Tracking the English Novel in Anna Karenina: who Wrote the English Novel that Anna Reads? In: Orwin, D.T. (ed.) *Anniversary Essays on Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press.
21. Mandelker, A. (1993) *Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel*. Columbus: The Ohio State University Press.

-
22. Dostoevsky, F.M.(1988–1995) *Sobr. soch.: v 15 t.* [Works: in 15 vols]. Leningrad (St. Petersburg): Nauka.
 23. Tolstoy, L.N. (1935–1964) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
 24. Zverev, A. & Tunimanov, V. (2007) *Lev Tolstoy*. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russian).
 25. Chovich, B. (1995) Motiv instinkt smerti u Ivo Andricha i Ivana Bunina [The motif of death instinct in Ivo Andric and Ivan Bunin]. *Slavyanovedenie*. 1. pp. 61–68.
 26. Riniker, D. (2008) Podrazhanie – parodiya – intertekst: Dostoevskiy v tvorchestve Bunina [Imitation – parody – intertext: Dostoevsky in the works of Bunin]. In: Jaccard, J.-F. & Schmid, W. (eds) *Dostoevskiy i russkoe zarubezh'e XX veka* [Dostoevsky and Russian abroad of the 20th century]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin.
 27. Bunin, I.A. (2007) *Pis'ma 1905–1919 godov* [Letters of 1905–1919]. Moscow: IWL RAS.
 28. Malyutin, S. (1987) *Izbr. proizvedeniya* [Selected works]. Moscow: Sovetskiy khudozhnik.

УДК 016: 82.161.1+27-29 (571.5)
DOI: 10.17223/19986645/44/7

С.В. Мельникова, Т.А. Крючкова

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА¹

В статье обосновывается необходимость создания биобиблиографического словаря православных духовных писателей Восточной Сибири второй половины XIX – начала XX в. Раскрываются концепция словаря и принципы отбора материала, анализируется опыт предшествующих аналогичных изданий, дореволюционных и современных. Поднимается ключевой для исследования, но до сих пор остающийся спорным в науке вопрос о сущности и границах духовной литературы и природе духовного писательства.

Ключевые слова: духовные писатели, биобиблиографический словарь, Восточная Сибирь.

История Православной церкви в Сибири насчитывает более четырех столетий. Распространение православия в пределах такого значительного отрезка времени и на огромной территории (от Урала до берегов Русской Америки и Ледовитого океана) нашло отражение в большом количестве оригинальных письменных источников, позволяющих говорить о феномене сибирской духовной литературы.

Сочинения православного духовенства, что является признанным в науке фактом, стоят у истоков региональной литературной традиции: первые литературные памятники Сибири XVII – начала XVIII в. – это созданные в Тобольском архиерейском доме и туруханском Свято-Троицком монастыре Синодик Ермаковым казакам, Сказание о Абалацкой иконе Божией Матери, Житие Симеона Верхотурского, Житие Василия Мангазейского; первые писатели – дьяк Савва Есипов, владыки Киприан (Старорусенков), Нектарий (Теляшин), Игнатий (Римский-Корсаков) [1. С. 11–19, С. 330–337; 2]. Изначально литературный центр был локализован на территории современной Западной Сибири, с основанием в 1727 г. самостоятельной Иркутской епархии начинается продвижение просвещения на Восток.

Литературная деятельность сибирского духовенства не затухает и в более позднее время и не затмевается светской литературой, которая в XIX – начале XX в. в Сибири только формируется. Оригинальная агиография (например, жития святителя Иннокентия (Кульчицкого)); обширная миссионерская литература (катехизаторские сочинения, путевые заметки, переводы священных и богослужебных текстов на языки северных народов); полемические сочинения против старообрядцев и ламаистов; труды по истории сибирской церк-

¹ Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-04-00434.

ви – вот далеко не полный перечень наиболее ярких и самобытных проявлений сибирской духовной литературы того времени.

В условиях отсутствия местного дворянства и при слабом развитии интеллигенции именно духовенство составляло до революции значительный процент образованных и «пишущих» сибиряков. Особенно расширился круг духовных авторов во второй половине XIX столетия, среди наиболее известных имен: прот. А.И. Сулоцкий, архим. Макарий (М.Я. Глухарев), архиеп. Нил (Н.Ф. Исакович), прот. П.В. Громов, архиеп. Модест (Д.К. Стрельбицкий), еп. Иаков (И.П. Домский), прот. В.И. Вербицкий, еп. Дионисий (Д.В. Хитров), священник-миссионер А.И. Аргентов и др. Пишут на религиозные и церковно-исторические темы и миряне (например, почти забытый ныне иркутский духовный поэт, купец по происхождению С.С. Попов). Писательская и публикационная активность в духовной среде начиная с 1860-х гг. поддерживается появлением региональной церковной периодики: Иркутские, Енисейские, Якутские и другие епархиальные ведомости.

Однако это обширное творческое наследие фактически не вписано в историю региональной сибирской литературы, развитие которой в XIX в. в советском литературоведении связывали с политической ссылкой, областничеством, промышленным и научным ростом, но не с деятельностью православного духовенства.

Написание истории сибирской православной духовной литературы с учетом всех возможных генетических и типологических взаимосвязей – дело будущего. Но уже сейчас накоплен достаточный материал для того, чтобы создать своего рода набросок такой истории в виде *жизненных и творческих биографий отдельных духовных писателей и рассказа об их сочинениях*. Формой представления такого материала может быть *биобиблиографический словарь*.

Современные авторы-составители словаря духовных писателей не будут лишены в своей работе исторической и теоретической опоры: еще в дореволюционной России был опубликован целый ряд такого рода изданий, а в начале 1990-х гг. наметилась отчетливая тенденция к возрождению отечественной историографии и библиографии в религиозной и церковно-исторической предметной области [3]. Приведем краткий обзор таких изданий.

Первый опыт описания отечественной духовной литературы принадлежит митрополиту Евгению (Е.А. Болховитинову). В 1818 г. им был опубликован «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви» [4]. В 1827 г. вышло второе, дополненное и переработанное издание [5], включавшее сведения о 250 русских писателях из духовного сословия, живших с 862 по 1825 г. Изначально Болховитинов работал над единым «Новым опытом словаря о российских писателях...» [6. С. 288], не разделяя духовных и светских авторов. Но впоследствии разграничение было проведено на основе принадлежности лица к духовному сословию. «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, служащий дополнением к Словарю писателей духовного чина, составленный митрополитом Евгением» увидел свет в 1838 г. [7].

Словари Болховитинова, по признанию академика и директора Императорской Публичной библиотеки А.Ф. Бычкова, долгое время оставались «единственным пособием по изучению нашей литературы» [8. С. 3]. Но уже в середине XIX столетия «словарь... о писателях духовного чина» подвергся критике. Как «недостаточный» по составу имен и приводимым сведениям его рассматривал, в частности, архиепископ Филарет (Д.Г. Гумилевский) [8. С. 4–5], предложивший российской общественности новый опыт составления подобного словаря. В 1859 и 1863 гг. вышли две части его «Обзора русской духовной литературы» [9, 10]. В 1884 г. появилось третье издание, измененное и дополненное [11]. В итоге обзор архиепископа Филарета охватил русскую духовную литературу за период с 862 по 1863 г.

Вслед за изданиями обобщающего характера во второй половине XIX столетия стали появляться аналогичные словари регионального значения. Нам известны по крайней мере два таких сочинения: «Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии» А.А. Титова [12] и «Люди науки, духовные и светские писатели из воспитанников Пермской духовной семинарии» Я.В. Шестакова [13]. Но, возможно, практика фиксации региональной литературы духовного характера была более распространенной.

До Октябрьской революции подробные сведения о духовных писателях включались и в словари общего – библиографического и энциклопедического – характера: словари Д.Н. Бантыш-Каменского, Г.Н. Геннади, С.А. Венгерова и др.

В советское время ситуация резко изменилась: к началу 1930-х гг. религиозная литература оказалась фактически под полным запретом – не только не издавалась, но не упоминалась, даже в библиографиях ретроспективного характера. Несмотря на то, что в советских изданиях понятия «духовные писатели», «духовная литература» и синонимичные им не могли фигурировать открыто, эти сведения невозможно было исключить полностью. Так, в силу христианской природы древнерусской литературы именно духовные писатели составили большинство персоналий в фундаментальном «Словаре книжников и книжности Древней Руси» под ред. Д.С. Лихачева [14]. Значительная часть имен авторов из числа православного духовенства и светских авторов, писавших на духовные темы, представлена и в «Словаре русских писателей XVIII века» [15]. Сведения о мемуарном наследии православного духовенства, без какой-либо сословной дискриминации, нашли отражение в многотомной «Истории дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» [16].

Однако показательно, что специализированный библиографический труд с вынесенным в заглавие словосочетанием «духовные писатели» – «Библиографический указатель русских духовных писателей из монашествующих за 18-й, 19-й века и половину 20 столетия», подготовленный в 1961 г. библиотекарем Московской духовной академии В.М. Волковым, так и остался в рукописи (Загорск, машинопись, две части, каждая около 350 страниц).

Ряд исследований по истории РПЦ был опубликован на Западе. В 1928 г. в Варшаве вышла книга доктора богословия МДА Н.Н. Глубоковского «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» (переиздания: М., 1992, 2002) [17]. Книга содержала краткую характеристику

и исторические очерки основных направлений отечественной богословской науки и в качестве приложения – «указатель некоторых авторов и их сочинений ко всем отделам богословия», в который были включены богословские и церковно-исторические сочинения преимущественно преподавателей четырех российских духовных академий.

В 1937 г. в Париже была издана широко известная ныне книга протоиерея П. Флоровского «Пути русского богословия» (переиздания: Вильнюс, 1991; Киев, 1991; Минск, 2006; М., 2009) [18]. Не являясь в строгом смысле библиографическим трудом, она неоднократно получала высокую оценку именно как «основной библиографический справочник по истории духовной культуры в России» [18. С. 1].

Начиная с перестроечного времени запрет на религиозную проблематику в России снимается, что отражается и на духовной библиографии. Среди известных нам библиографических и биобиблиографических изданий 1990-х – начала 2000-х гг.: «Материалы к указателю русской духовной литературы 1801–1992» [19]; «Русские святые, подвижники благочестия и агиографы: Словник-указатель» [20]; биобиблиографический словарь «Русские писатели-богословы» в серии «Духовные чтения» [21]; «Христианство и новая русская литература XVIII–XX веков» [22]. Особое внимание хочется обратить на последнее издание – фундаментальный указатель А.П. Дмитриева, в котором, по словам самого автора, представлено обобщение «взаимоотношений русской светской литературы Нового времени и христианской традиции во всех ее аспектах – богословско-догматическом, философском, нравственном, историко-культурном» [22. С. 1]. Основную часть указателя составляют персоналии, всего порядка пятисот.

Несмотря на большое количество исследований, *спорным и, по сути, открытым в гуманитарной науке остается ключевой вопрос – о понимании сущности и границ «духовной» (по другим определениям, «религиозной», «церковной», «христианской») литературы и «духовного» писательства.* Вопрос этот имеет не только источниковедческое и библиографическое, но и философское и филологическое значение.

Каждый из авторов-составителей перечисленных выше словарей и указателей так или иначе определяет данные понятия, поскольку именно они служат основным критерием отбора материала. В этой связи особое внимание хочется обратить на труд архиепископа Филарета (Гумилевского). Не выдерживающий современной критики с точки зрения подачи и оформления библиографических сведений, его обзор не утратил, однако, исторической и теоретической значимости. В предисловиях к разным выпускам словаря владыка Филарет размышляет о природе русской духовной литературы и ее исторической судьбе.

Он выделяет два периода: древнерусский, до реформ Петра I, и литературу Синодального периода, или Нового времени. Определение сущности и состава допетровской духовной литературы не вызывает затруднений: «Русская литература до новых времен, до 1720 года была вся, или почти вся, литературой духовною... Из круга духовной литературы остается удалить разве те письменные произведения древнего времени, в которых заключались уставы для временного житейского быта – договоры гражданские, грамоты куп-

чие, меновые, подрядные, поручные, таможенные, судные, жалованные. Да и те иногда писаны бывали в духе глубокого благочестия и с светлыми мыслями о значении человека, почему как не иначе с осмотрительностью должны быть исключаемы из круга духовной литературы» [11. С. 1]. При этом не стоит вопрос о разграничении писателей на «духовных» и «светских».

Если до петровских времен русская литература была религиозной по своему предмету и отличалась духовным единством, то после, с точки зрения Гумилевского, «...многое переменилось в России... светская литература отделилась от духовной, избрав себе особые предметы и особый дух. Казалось, теперь обозревающему духовную литературу легко замечать деятелей духовной литературы. Но произошла перемена и в предметах духовной литературы. По сложности нужд нового времени, предметы духовного образования умножились... область духовной литературы расширилась, вошла в соприкосновение с предметами образования светского, но не против значения христианства...» [11. С. 277].

В Новое время, особенно в конце XVIII и в XIX столетии, границы духовной литературы действительно существенно расширяются. Традиционные богословские и полемические сочинения, толкования на тексты Священного Писания, гомилетика, апологетика, агиография и литургическая поэзия дополняются церковной публицистикой, критикой и религиозно-философской эссеистикой. Развивается церковная историческая наука, в том числе археография. Духовные лица активно пробуют себя в мемуарных жанрах: автобиографиях, дневниках, путевых заметках. Многие жанры трансформируются, например агиография, дополненная архивными и документальными источниками, сближается с биографическим очерком, а хождения испытывают явное влияние светской путевой литературы.

Следует признать, что само понятие «литература» при таком определении границ явления достаточно условно и предпочтительнее говорить о «словесности» или «книжности». «Писательство» при этом принимается как обобщающее понятие для словесного творчества. Таким образом, *духовный писатель – это не литератор в привычном для нас понимании, но вероучитель, богослов, проповедник, агиограф, историк церкви, канонист, филолог, духовный поэт*. Именно по таким рубрикам классифицирует творческое наследие духовных авторов в своем обзоре архиепископ Филарет: «...деятельность писателя как проповедника, как канониста, как учителя веры, как наставника жизни, как философа, или как историка...» [11. С. 279]. Такого исторически сложившегося понимания духовного писательства придерживаются и современные ученые, например специалисты Центра по изучению традиционалистских направлений в литературе Нового времени, действующего в Пушкинском Доме под руководством А.П. Дмитриева и В.А. Котельникова¹.

Отдельной строкой выносятся вопрос о возможности причисления к духовной литературе светских авторов. Принадлежность к духовному сословию, очевидно, не должна являться решающим критерием при отнесении ав-

¹ См. хронику XII Пасхальной конференции «Православие и русская культура: Русские духовные писатели XIX – начала XX веков. Малоизвестные и забытые имена» (Санкт-Петербург, ИРЛИ, 28–29 апреля 2009). URL: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=9857>

тора к «духовным»: «Кому ныне придет на мысль настаивать на том, что труд для Св. Евангелия – не духовный труд оттого, что это – труд Чеботарева?» – спрашивает Филарет [11. С. 278]. Из круга духовной литературы Нового времени невозможно исключить знаменитые переложения псалмов русских классицистов (В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова и др.); светскую паломническую литературу 1830–1860-х гг. (сочинения А.Н. Муравьева, Д.В. Дашкова, П.А. Вяземского, А.С. Норова); эссеистику и публицистику русских религиозных философов рубежа XIX–XX вв.; современную духовную поэзию (творчество С. Аверинцева, О. Седаковой, О. Николаевой, иеромонаха Романа и др.).

Однако нельзя не согласиться с архиепископом Филаретом в том, что современная духовная литература стала специализированной и «о духовных предметах стали писать по преимуществу лица духовного звания» [11. С. 1]. При этом Филарет обеспокоен тем, что современные ему светские писатели либо «как бы стыдились писать о духовных предметах», либо «составили себе свое христианство, свое благочестие» [11. С. 278]. Корень проблемы он видит в подмене самого понятия духовности, в разрушении его христианского смысла: «В недавнее время стали под «словесное выражение духовной жизни» подводить сказки, басни, легенды, поверья народа... Конечно, если под словом «дух» разуметь не материальную силу души, то и сказки или легенды – произведения духа», но «духовное вовсе не то же, что душевное...» [11. С. 280]. Возникла опасность размывания границ духовной литературы: «При умножении предметов внимания нужно иметь много осторожности, чтобы оставаться верным духу христианскому, не увлекаться и не рассеиваться веяниями изменчивого мира...» [11. С. 277].

Противоречие, выделенное богословом середины XIX в., удивительно современно. На волне религиозного подъема, начавшегося в нашей стране в конце 1980-х и продолжающегося поныне, понятия «духовность», «духовная / религиозная / христианская литература», «духовные / религиозные / христианские писатели» существенно актуализировались в гуманитарной науке. В литературоведении появилось новое направление исследований, иногда определяемое как «религиозное», или «христианское»¹. Основной своей целью это направление ставит возвращение русской литературе ее «духовной сущности», основанной на христианстве, выявление ее христианских основ. Однако установка на провозглашение всей без исключения русской классики «христианской» и «духовной», прослеживающаяся в некоторых программных заявлениях и даже принимаемая «за аксиому» [23. С. 5–7], кажется не бесспорной. На наш взгляд, такое расширение возможно только путем подмены христианской сущности и «воцерковленности текста» представлением о его общем гуманистическом характере, что неизбежно размывает и обесценивает само понятие христианской православной духовной литературы, приводит к его метафоризации.

¹ Основополагающими для этого направления являются труды В.А. Котельникова, И.А. Есаулова, М.М. Дунаева, В.Н. Захарова, Т.А. Касаткиной и др. Академическая разработка темы ведется в ИРЛИ. См: Хроники международных научных конференций «Православие и русская культура (1994–2003)» [24].

Как справедливо считал архиепископ Филарет, «...для духовного сочинения требуется не то только, чтобы оно рассуждало о Боге, но чтобы рассуждало по Божьему указу, а не по своему» [11. С. 278]. Нам также близка позиция современного исследователя А.М. Любомудрова, который вводит категорию церковности с целью отличать православные произведения от произведений, несущих общие идеи гуманизма, и выделяет в русской классике особый тип реализма, отображающий «реальность церкви в мире», – «духовный реализм». По его мнению, «православным произведением может считаться такое, художественная идея которого включает в себя необходимость воцерковления для спасения» [25. С. 99]. По другому определению, «если в предмет творчества включены и духовные реалии, воссозданные в рамках христианской картины мира, если признается онтологический статус Бога, идея бессмертия души и как важнейшее делание – ее спасение в вечности, то такое искусство относится к сотериологическому типу культуры» [26. С. 114]. Представляется интересной и позиция П.Е. Бухаркина, который предлагает различать проблемы «литература и Церковь» и «литература и христианство», полагая, что взаимоотношения светской словесности с Церковью и церковной культурой требуют своих методов и подходов к изучению [27].

Следуя приведенным выше размышлениям, а также христианскому пониманию духовности как действия в человеке Святого Духа, его причастности Божественной Благодати и опыта Богообщения, мы возьмем на себя смелость сформулировать следующее определение духовной литературы: *Это словесные сочинения, принадлежащие к традиционной для христианской литературы системе жанров, транслирующие основы православной догматики и нравственного учения, обращающиеся к Священному Писанию и учению Отцов Церкви, описывающие церковные Таинства и богослужения (по православному чину), а также воссоздающие реалии церковной жизни и рассказывающие об истории Православной церкви в России. Художественное произведение может быть отнесено к духовной литературе, если в нем непротиворечиво отражена христианская картина мира, с присущим ей теоцентризмом, верой в Христа и бессмертие человеческой души; в основе сюжета – осознание человеком своей греховности, покаяние и спасение души; в произведении воссоздаются разные формы духовной жизни (молитва, подвижничество, странничество и проч.) и показан личный опыт Богообщения, а также действие Промысла Божьего в судьбе человека.*

Библиографические словари очерчивают круг духовных писателей. В границах Синодального периода наиболее часто упоминаемыми являются имена святителя Тихона (Т.С. Соколов) Задонского, митрополита Платона (П.Г. Левшин), святителя Филарета (В.М. Дроздов), святителя Игнатия (Д.А. Брянчанинов), св. Иоанна Кронштадтского – среди представителей духовенства; М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, М.М. Сперанского, А.Н. Муравьева, Н.И. Надеждина, А.С. Хомякова, Ф.Н. Глинки, Н.П. Гилярова-Платонова – среди светских авторов. Однако писатели-сибиряки в рассмотренных выше центральных изданиях представлены довольно скудно. Так, у митрополита Евгения (Болховитинов) нам удалось найти упоминание только о трех тобольских митрополитах – Киприане, Игнатии и Арсении (Мацеевич). В обзоре архиепископа Филарета с 1720 по 1856 г. собраны 424

(если верны наши подсчеты) персоналии духовных писателей, при этом сибирская духовная литература в словаре представлена всего 14 именами, преимущественно связанными с Tobольском и Западной Сибирью. Помимо тобольских митрополитов, наиболее часто среди сибирских духовных писателей в различных словарях и указателях упоминаются алтайские миссионеры архим. Макарий (Глухарев) и протоиерей В. Вербицкий, чукотский миссионер свящ. А. Аргентов, историк сибирской церкви протоиерей А.И. Сулоцкий, святитель Иннокентий (Вениаминов).

В дореволюционный и советский период не было создано ни одного труда, посвященного специально библиографии православной сибирской духовной литературы. Сведения о сочинениях духовенства, главным образом исторических и мемуарных, можно получить только из изданий общего характера – библиографий В.И. Межова [28] и «Истории дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» [16], в разделах, посвященных церковной жизни в Сибири.

Специализированная духовная библиография в Сибири и на Дальнем Востоке появляется лишь в 1990–2000-е гг. Среди наиболее значимых изданий: библиографические указатели А.В. Чернышева: «Тобольская духовная семинария – кузница священно-церковно-служительских кадров Сибири (1743–1993)» (1993) [29] и трехтомник «Религия и церковь в Тюменском крае» [30]. Первая библиография содержит порядка 500 названий, с 1822 по 1992 г., вторая – более 5000 и охватывает период с 1774 по 1987 г. Ему же принадлежит и фундаментальный указатель по старообрядческой литературе [31]. Указатели Чернышева посвящены Западной Сибири, с этим же регионом связаны библиографические разыскания протоиерея Б. Пивоварова, избравшего своим основным предметом труды сотрудников Алтайской духовной миссии [32].

История распространения православия на Дальнем Востоке нашла отражение в библиографических изданиях: «Русское православие на Камчатке и в Русской Америке» (1997) [33], «Христианство на Дальнем Востоке» (2000) [34], «Из истории православия на Камчатке» (XVIII–XX вв.) [35]. Однако пока все это небольшие списки, порядка 150–200 названий.

Персональных библиографических указателей удостоились такие сибирские церковные деятели, как святитель Иннокентий (Вениаминов) [36], протоиерей А.И. Сулоцкий [37], протоиерей В. Вербицкий [38].

Библиографическое значение имеют и монографические исследования исторического и филологического характера. Наиболее полно изученным и, соответственно, отраженным в библиографии является ранний период христианской истории Сибири (XVII – начало XVIII в.), территориально связанный с Западной Сибирью. Системное исследование относящихся к данному периоду книжных памятников ведется в крупнейших уральских и западносибирских научных центрах (например, в Институте филологии СО РАН в Новосибирске) под руководством крупных ученых¹. История восточносибирской духовной литературы на данный момент нашла отражение только в от-

¹ Исследования Е.И. Дергачевой-Скоп, В.Н. Алексеева, Н.Н. Покровского, Е.К. Ромодановской, О.Д. Журавель, Л.С. Соболевой и др.

дельных трудах. Например, в монографии Н.К. Чернышевой, посвященной изучению традиции почитания святителя Иннокентия (Кульчицкого) и содержащей данные о многих малоизвестных его агиографах [39]. Библиографические сведения приводятся и в общих исторических обзорах: примером такого обзора в отношении Иркутской епархии могут служить исследования А.В. Дулова и А.П. Санникова [40], в отношении Якутии – И.И. Юргановой [41]. Однако нам неизвестны издания, отражающие западно- или восточносибирскую литературу в формате библиографического словаря.

В настоящем Словаре будет представлена библиография духовной литературы на территории Восточной Сибири. Логичным в качестве нижней хронологической границы было бы принять 1822 г. – год разделения Сибири на Западную и Восточную. Однако необходимо учитывать историческую подвижность границ Восточной Сибири и изменения в ее церковно-административном делении. Уже с 1830-х гг. начинается дробление Иркутской епархии: в 1834 г. часть ее, вместе с Красноярском, передается в ведение Томской епархии; в 1840 г. из состава Иркутской выделяется самостоятельная Камчатская, Курильская и Алеутская епархия (таким образом обособляется Дальний Восток), в 1852 г. к Камчатской епархии отходит Якутия, в 1894 г. образуется самостоятельная Забайкальская епархия. В итоге относительно определенными и устоявшимися границы Восточной Сибири становятся только к середине столетия, и поэтому для изучения нами избирается вторая половина XIX в., тем более что именно в это время творческая и публикационная активность духовенства достигает своего пика. В качестве верхней хронологической границы принимается 1918 г. – смена государственного строя и завершение Синодального периода.

Очевидно, что к духовной литературе, как и к светской, имеет отношение неоднократно поднимавшийся, но до сих пор остающийся спорным вопрос о границах областной (или региональной) литературы [1, 42]. Мы предлагаем считать сибирскими, в частности восточносибирскими, духовными писателями лиц, связанных с регионом своим происхождением и/или служением, создававших и/или публиковавших свои сочинения на его территории и участвовавших таким образом в региональном историческом и культурном процессе. В Словарь не включаются лица, писавшие о Сибири, но биографически не связанные с регионом. С другой стороны, для полноты представления о творческом наследии автора упоминаются все основные его сочинения, в том числе созданные и за пределами края. В библиографию не включаются тексты бытового, служебного или экономического характера, а также сочинения, не связанные с религиозной или церковно-исторической проблематикой, даже если они написаны духовным лицом.

Творческое наследие разных авторов может отличаться как по объему, так и по значению. «По отношению к словарю нужно оставить ненаучное деление на крупных и мелких писателей. В целом словарь писателей и ученых есть регистрация духовных сил страны, и именно когда велико число вносимых в него деятелей, он дает прочную основу для установления всякого рода выводов» [43. С. 15]. Автор даже одного, но интересного текста, например торжественной проповеди, на наш взгляд, должен быть отмечен в такого рода словаре. И даже если духовная поэзия представляется графоманской,

тем не менее она является фактом областного историко-литературного процесса.

Одна из задач биобиблиографического словаря – отбор и представление биографического материала, особое внимание при этом планируется уделить малоизвестным и впервые вводимым в научный оборот именам. Если при изложении биографии известных персон можно ограничиться основными фактами и ссылками на источники и исследования, то в отношении малоизвестных материал должен быть представлен с исчерпывающей полнотой.

Необходимо проследить не только жизненный, но и творческий путь писателя, раскрыть его жанрово-тематические предпочтения и дать краткий обзор основных сочинений. Статья должна показывать место наследия писателя как в границах православной церковной традиции, так и его роль в развитии современной ему региональной культуры.

Авторы надеются, что в ходе подготовки Словаря будут актуализированы забытые или неизвестные имена из среды просвещенного сибирского духовенства и введены в научный оборот некоторые новые документальные и повествовательные источники, в том числе неопубликованные рукописи мемуарных сочинений.

Например, одно из ключевых имен в Словаре – святитель Герасим (Георгий Иванович Добросердов), иркутский вдовый священник, впоследствии епископ Старорусский, затем Ревельский, епископ Самарский, затем Астраханский и Енотаевский. Святитель Герасим (1809–1880) пользовался известностью как духовник и проповедник и оставил обширное письменное наследие, в состав которого вошли сочинения богословского характера, агиографические повествования, многочисленные слова и проповеди, письма к духовным дочерям, а также мемуары – путевые дневники и воспоминания. Современники, оценивая литературный талант святителя, сравнивали его слог со слогом самого Карамзина. Однако сведения о нем даже в XIX в. ограничивались краткими статьями в церковных биографических словарях и жизнеописанием, составленным его духовной дочерью монахиней Евсевией [44]. В современных исследованиях он упоминается только как сибирский мемуарист в работах Н.П. Матхановой [45]. При этом творчество писателя заслуживает монографического изучения. В Словаре будет дан подробный биографический очерк о нем и приведен полный библиографический список, с учетом архивных документов.

Еще одно почти забытое имя – Степан Степанович Попов, представитель просвещенного иркутского купечества, библиограф, владелец частной публичной библиотеки, член-соревнователь Иркутского отдела Императорского Русского географического общества, храмостроитель. Основу творчества Попова составляла духовная поэзия: переложение псалмов («Дума»), молитв («Переложение молитвы Господней»), поэтический пересказ евангельских текстов и сюжетов («Богоматерь у креста Спасителя»). Лейтмотивом его поэзии является сюжет покаяния и спасения. Также Попову принадлежит прозаическое сочинение вероучительного и проповеднического содержания – «Ложная надежда на спасение есть путь к гибели. Беседа мирянина с своими братьями мирянами» [46]. Сочинения Попова активно публиковались в «Иркутских епархиальных ведомостях» в 1880-е гг. Его

поэзия в целом редкий для Сибири пример оригинального поэтического творчества, по большей части лишенный графоманства.

В рамках подготовки Словаря и в процессе сопровождающего ее исследования творческое наследие восточносибирского православного духовенства XIX в. фактически впервые подвергнется отбору и систематизации. Принципиальным является рассмотрение сочинений духовенства *не только как текстов религиозного характера или вспомогательного источника по истории РПЦ, но как самоценного духовного, социокультурного и эстетического феномена*, обладающего присущими только ему генетическими и типологическими чертами, преемственностью и целостностью. Этот феномен должен быть включен в контекст региональной сибирской культуры и литературы, без которого картина их становления и развития не может быть признана полной.

Авторы-составители надеются, что им удастся собрать материалы, которые смогут послужить основой для дальнейших исследований как прикладного, так и теоретического характера. Работа над темой ведется уже не один год, и авторы вполне осознают всю амбициозность проекта и всю меру принимаемой ими на себя ответственности. Идея создания словаря получила поддержку РГНФ. В 2016 г. планируется подготовить «пилотный» выпуск со словником и некоторыми избранными статьями. Цель настоящей публикации – вынести идею Словаря на обсуждение и, возможно, получить отклик в научном сообществе. Авторы будут благодарны за любые, самые критические, отзывы и замечания.

Литература

1. Ромодановская Е.К. // Сибирь и литература XVII в.: избр. тр. Новосибирск, 2002. С. 11–19, С. 330–337.
2. *Литературные памятники* Тобольского архиерейского дома XVII века / подгот. текстов и коммент. Е.К. Ромодановская, О.Д. Журавель. Новосибирск, 2001. 439 с. (Сибирский хронограф).
3. Елена (Хиловская), монахиня, Мелешко А.Л. Библиография богословской литературы // Православная энциклопедия. [М.], 2000–2014. URL: <http://pravoslavnaya.academic.ru> (дата обращения: 15.05.2016).
4. [Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви : в 2 ч. СПб., 1818. Ч. 1. 346 с.; Ч. 2. 347–710 с.
5. [Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви : в 2 т. 2-е изд., испр. и умнож. СПб., 1827. Т. 1. 343 с.; Т. 2. 333 с.
6. Кауфман И.М. Русские биографические и библиографические словари. М.: Госкультпросветиздат, 1955. 751 с.
7. [Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, служащий дополнением к Словарю писателей духовного чина, составленному митрополитом Евгением. М., 1838, Т. 1 : От А до Г. 367 с.
8. Евгений (Болховитинов), митроп. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви / [подгот. текста, сост. и предисл. П.В. Калинина. М. : Русский двор : Паломник ; Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 406 с.
9. [Филарет (Гумилевский), архиеп.] Обзор русской духовной литературы. 862–1720 / соч. Филарета, архиеп. Харьковского. Харьков, 1859–1861. [Кн. 1] : 862–1720. 1859. 448 с. ; Кн. 2 : 1720–1858. 1861. 212 с.

10. [Филарет (Гумилевский), архиеп.] Обзор русской духовной литературы. 1720–1858 (умерших писателей) Филарета, архиеп. Черниговского и Нежинского. 2-е изд., доп. Чернигов, 1863. Кн. 2: 1720–1858. 311 с.
11. [Филарет (Гумилевский), архиеп.]. Обзор русской духовной литературы. 862–1863 / соч. Филарета, архиеп. Черниговского. 3-е изд., с поправками и доп. автора. СПб., 1884. [Кн. 1, 2]. 511 с.
12. Титов А.А. Материалы для биобиблиографического словаря. Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии. По рукописи костром. учен. прот. М.Я. Диева «Ученые делатели Костромского вертограда». М., 1892. 44 с.
13. Шестаков Я.В. Люди науки, духовные и светские писатели из воспитанников Пермской духовной семинарии : к 100-летию Пермской духовной семинарии. 1800–1900 гг. Пермь, 1900. 16 с.
14. Словарь книжников и книжности Древней Руси / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. Л. : Наука. Вып. 1 : XI – первая половина XIV в., 1987. 493 с. ; Вып. 2 : Вторая половина XIV – XVI в., ч. 1 : А–К, 1988. 516 с. ; Вып. 2 : Вторая половина XIV–XVI в., ч. 2 : Л–Я. 1989. 528 с.
15. Словарь русских писателей XVIII века / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; редкол.: А.М. Панченко (отв. ред.) [и др.] : [в 3 вып.]. Л. (СПб.): Наука, 1988–2010. Вып. 1 : (А–И). 1988. 358 с.; Вып. 2: К–П. 1999. 509 с.
16. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях : аннот. указ. кн. и публ. в журн. / науч. рук., ред. и введ. П.А. Зайончковского. М. : Книга, 1976–1989. Т. 1 : XV–XVIII вв. М., 1976. 303 с. ; Т. 2, ч. 1 : 1801–1856. М., 1977. 367 с. ; Т. 2, ч. 2 : 1801–1856. М., 1978. 343 с. ; Т. 3, ч. 1 : 1857–1894. М., 1979. 383 с. ; Т. 3, ч. 2 : 1857–1894. М., 1980. 36 с. ; Т. 3, ч. 3 : 1857–1894. М., 1981. 375 с. ; Т. 3, ч. 4 : 1857–1894. М., 1982. 399 с. ; Т. 4, ч. 1 : 1895–1917. М., 1983. 369 с. ; Т. 4, ч. 2 : 1895–1917. М., 1984. 439 с. ; Т. 4, ч. 3 : 1895–1917. М., 1985. 455 с. ; Т. 4, ч. 4 : 1895–1917. М., 1986. 555 с. ; Т. 5, ч. 1 : Литература. М., 1988. 344 с. ; Т. 5, ч. 2 : Дополнения к т. 1–5 (ч. 1), XV в. – 1917 г. М., 1989. 542 с.
17. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 2002. 190 с.
18. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск : Изд-во Белорус. экзархата, 2006. 607 с.
19. Степанов В.К. Материалы к Указателю русской духовной литературы, 1801–1992 : библиография / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино, Синод. б-ка Моск. патриархата. М. : Рудомино, 1994. 63 с.
20. Русские святые, подвижники благочестия и агиографы : словник-указатель / сост.: И.В. Владышевская, В.Л. Сорокина. М., 1992. 143 с.
21. Русские писатели-богословы: Исследователи богослужения и церковного искусства : биобиблиогр. указ. ; Богословско-литургический словарь / Рос. гос. б-ка ; сост.: О.В. Курочкина, Н.С. Степанова, А.С. Чистякова ; предисл. О.В. Курочкиной. М. : Пашков дом, 2004. 480 с. (Духовные чтения).
22. Христианство и новая русская литература XVIII–XX веков : библиогр. указ. 1800–2000 / сост.: А.П. Дмитриев, Л.В. Дмитриева; под ред. А.В. Котельникова. СПб. : Наука, 2002. 891 с.
23. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр : сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. Вып. 8. С. 5–7.
24. Хроники международных научных конференций «Православие и русская культура (1994–2003) // Христианство и русская литература: сб. ст. / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); сб. 5 / отв. ред. В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко. СПб., 2006. С. 598–718.
25. Любомудров А.М. Церковность как критерий культуры // Христианство и русская литература: сб. ст. / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); сб. 4 / отв. ред. В.А. Котельников. СПб., 2002. С. 87–109.
26. Любомудров А.М. Духовный реализм как отражение религиозной культуры в художественной литературе // Вестн. славянских культур. 2008. № 1/2 (IX). С. 113–120.
27. Бухаркин П.Е. Православная Церковь и русская литература в XVIII–XIX веках: проблемы культурного диалога. СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, 1996. 172 с.

28. *Межов В.И.* Сибирская библиография : указ. кн. и ст. о Сибири на рус. яз. и одних только книг на иностр. яз. за весь период книгопечатания : в 3 т. СПб., 1891–1892. Т. 1. 1891. 485 с. ; Т. 2. 1891. 470 с. ; Т. 3. 1892. 303 с.
29. *Тобольская духовная семинария – кузница священно-церковнослужительских кадров Сибири (1743–1993)* : аннот. указ. лит. / сост. А.В. Чернышев; ред. Н.С. Половинкин. Тюмень : МИ «Рутра», 1993. 124 с.
30. *Религия и церковь в Тюменском крае : опыт библиогр.* : в 3 ч. / сост. А.В. Чернышов. Тюмень : Мандрика, 2004. Ч. 1. 220 с. ; Ч. 2. 271 с. ; Ч. 3. 223 с.
31. *Чернышев А.В.* Старообрядчество и старообрядцы Западной Сибири (XVII–XXI вв.) : аннот. библиогр. источников : обзор док. Тюмень : Рутра, 2006. 203 с.
32. *Список опубликованных трудов алтайских миссионеров на русском языке* // Из духовного наследия алтайских миссионеров. Новосибирск, 1998. С. 198–261.
33. *Русское православие на Камчатке и в Русской Америке* : библиогр. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С.П. Крашенинникова ; сост.: В.П. Мартыненко, Н.И. Курохтина. Петропавловск-Камчатский, 1997. 18 с.
34. *Христианство на Дальнем Востоке* : библиогр. указ. / Дальневост. гос. ун-т ; сост.: М.Б. Сердюк, Л.В. Одинцова, Е.А. Бебнева. Владивосток : Дальневост. ун-т, 2000. 56 с.
35. *Из истории православия на Камчатке (18–20 вв.)* : метод.-библиогр. материалы / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова ; сост.: Н.И. Курохтина, И.А. Верхозина. Петропавловск-Камчатский, 2005. 24 с.
36. *Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, апостол народов Сибири и Америки* : библиогр. справ. / Православ. гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского ; сост.: Б.Пивоваров, О.А. Павлова. Новосибирск, 1997. 139 с.
37. *Сулоцкий Александр Иванович (1812–1884)* // Русские писатели-богословы : биобиблиогр. указ. Вып. 1 : Историки церкви / Рос. гос. б-ка, Новоспасский монастырь ; сост.: О.В. Курочкина, Н.С. Степанова, А.С. Чистякова. М., 1997. С. 139–152.
38. *Протоиерей Василий Иванович Вербицкий (1827–1890)* : библиогр. указ. трудов к 100-летию со дня кончины / Православная община Всех Святых в земле Российской просиявших / ред. Б. Пивоваров ; сост. А. Реморов. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 1990. 25 с.
39. *Чернышова Н.К.* Почитание святителя Иннокентия Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.). Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. 536 с.
40. *Дулов А.В.* Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – начале XX веков : в 2 ч. / А.В. Дулов, А.П. Санников ; рец.: Б.С. Шостакович, Ю.А. Зуляр. Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2006. Ч. 1. 293 с. ; Ч. 2. 319 с.
41. *Юрганова И.И.* История Якутской епархии. 1870–1919 гг.: деятельность духовной консистории / И.И. Юрганова ; Ком. гос. архив. службы РС (Я), Якут. епархия Рус. Православной церкви ; отв. ред. Д.А. Ширина. Якутск, 2003. 159 с. Библиогр.: С. 111–121.
42. *Азадовский М.К.* Сибирская литература: к истории постановки вопроса // Сиб. лит.-краевед. сб. Иркутск, 1928. Вып. 1. С. 1–22.
43. *Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. 2-е изд. Пг., 1915. Т. 1. С. 16.
44. *Евсевия [Е.А. Андреева].* Жизнеописание епископа Астраханского Герасима. М., 1885. 116 с.
45. *Матханова Н.П.* Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. С. 56–58, 113, 137.
46. *Попов С.С.* Ложная надежда на спасение есть путь к гибели: Беседа мирянина с своими братьями мирянами // Иркут. епарх. ведомости. 1885. № 10. С. 115–128 ; 1885. № 11. С. 133–136 ; 1885. № 12. С. 148–154.

THE BIO-BIBLIOGRAPHIC DICTIONARY OF ORTHODOX SPIRITUAL WRITERS OF EASTERN SIBERIA OF THE SECOND HALF OF THE 19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES AS A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEM

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 95–111. DOI: 10.17223/19986645/44/7

Sofya V. Melnikova, Tamara A. Kryuchkova, Irkutsk Regional State Universal Scientific library of I.I. Molchanov-Sibirsky (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: memuaristika@yandex.ru / kruchkova-tamara@yandex.ru

Keywords: spiritual writers, bio-bibliographic dictionary, Eastern Siberia

The history of Orthodox Church in Siberia comprises more than four centuries. A large number of written works of religious and historical content were created during this time; many representatives of the Siberian clergy can be called spiritual writers. However, the creative heritage of the majority of them has not been reflected in academic research yet. It is particularly relevant for Orthodox literature of Eastern Siberia as the least studied.

The need to create a bio-bibliographic dictionary which has to identify and generalize information about spiritual writers of Eastern Siberia is proved in the article, and the concept of the edition is discussed.

The key problem is to define the concepts “spiritual literature” and “spiritual writing” concerning which there is no consensus in science. The article claims that spiritual literature is not merely a humanistic literature, but certainly “churched”, reproducing Christian Orthodox dogma in all completeness and closely connected with the traditional system of genres of church writing. A spiritual writer is not a writer in the conventional sense, but a religious teacher, a theologian, a preacher, a historian of church, a canonist, a philologist, a spiritual poet. However, the churched nature of literature does not exclude a possibility to include secular persons in the circle of spiritual writers.

The bibliography of domestic spiritual literature has a rich tradition. The first dictionaries of Russian spiritual writers and reviews of spiritual literature appeared in the 19th century (works of metropolitan Evgeniy (Bolkhovitinov), archbishop Filaret (Gumilevsky)). In the Soviet period the study of spiritual literature was banned, and information about spiritual writers could only be included in bibliographies of a general character. The revival of spiritual historiography and bibliography in secular literature begins only in the 1990s. The analysis of these editions allows formulating the theoretical and methodological principles of the authors’ own research. Special attention is paid to the bibliography of Eastern Siberia.

The authors hope that the preparation of the dictionary will actualize forgotten or unknown names of the educated Siberian clergy, and that earlier unknown written works will be introduced for scientific use. The article contains a large number of names (spiritual writers and their bibliographers) and bibliographic references.

The publication purpose is to offer the idea of the dictionary for discussion and, perhaps, to receive a response in academic community.

References

1. Romodanovskaya, E.K. (2002) *Sibir' i literatura XVII v.: izbrannye Trudy* [Siberia and the literature of the 17th century: Selected works]. Novosibirsk: Nauka.
2. Romodanovskaya, E.K. & Zhuravel', O.D. (eds) (2001). *Literaturnye pamyatniki Tobol'skogo arkhieyreyskogo doma XVII veka* [Literary monuments of Tobolsk bishop house of the 17th century]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.
3. Khilovskaya, E. & Meleshko, A.L. (2000–2014) Bibliografiya bogoslovskoy literatury [Bibliography of theological literature]. In: *Pravoslavnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. [Online] Available from: <http://pravoslavnaya.academic.ru>. (Accessed: 15th May 2016).
4. Bolkhovitinov, E., mitrop. (1818) *Slovar' istoricheskiy o byvshikh v Rossii pisatelyakh dukhovnogo china Greko-Rossiyskoy Tserkvi: v 2 ch.* [Historical Dictionary of Russian writers in spiritual ranks of the Greco-Russian Church: in 2 vols]. St. Petersburg: Tip. N. Grecha.
5. Bolkhovitinov, E., mitrop. (1827) *Slovar' istoricheskiy o byvshikh v Rossii pisatelyakh dukhovnogo china Greko-Rossiyskoy Tserkvi: v 2 t.* [Historical Dictionary of Russian writers who were in spiritual ranks of the Greco-Russian Church: in 2 vols]. 2nd ed. St. Petersburg: Tip. Glazunova i ego izhdiveniem.
6. Kaufman, I.M. (1955) *Russkie biograficheskie i biobibliograficheskie slovari* [Russian biographical and bibliographical dictionaries]. Moscow: Goskul'tprosvetizdat.
7. Bolkhovitinov, E., mitrop. (1838) *Slovar' russkikh svetskikh pisateley, sootchestvennikov i chuzhestrantsev, pisavshikh v Rossii, sluzhashchiy dopolneniem k Slovaryu pisateley dukhovnogo china, sostavlenomu mitropolitom Evgeniem* [Dictionary of Russian secular writers, countrymen and

foreigners who wrote in Russian, a supplement to the Dictionary of Writers of spiritual rank, compiled by Metropolitan Evgeniy]. Vol. 1. Moscow: Izd. I. M. Snegireva.

8. Bolkhovitinov, E., mitrop. (1995) *Slovar' istoricheskii o byvshikh v Rossii pisatelyakh dukhovnogo china Greko-Rossiyskoy Tserkvi* [Historical Dictionary of Russian writers who were in spiritual ranks of the Greco-Russian Church]. Moscow: Russkiy dvor: Palomnik; Sergiev Posad: Svyato-Troitskaya Sergieva Lavra.

9. Gumilevskiy, F., archbishop. (1859–1861) *Obzor russkoy dukhovnoy literatury. 862–1720* [Review of Russian spiritual literature. 862–1720]. Books 1, 2. Kharkov: Universitetskaya tipografiya.

10. Gumilevskiy, F., archbishop. (1862) *Obzor russkoy dukhovnoy literatury. 1720–1858 (umershih pisateley)* [Review of Russian spiritual literature. 1720–1858 (deceased writers)]. 2nd ed. Book 2. Chernigov: Tip. Il'inskogo monastyrja.

11. Gumilevskiy, F., archbishop. (1884) *Obzor russkoy dukhovnoy literatury. 862–1863* [Review of Russian spiritual literature. 862–1863]. 3rd ed. Books 1, 2. St. Petersburg: I.L. Tuzov.

12. Titov, A.A. (1892) *Materialy dlya biibliograficheskogo slovara. Slovar' pisateley dukhovnogo i svetskogo china Kostromskoy gubernii. Po rukopisi kostrom. uchen. prot. M.Ya. Dieva "Uchenye delateli Kostromskogo vertograda"* [Materials for a bibliographical dictionary. Dictionary of writers of spiritual and secular rank of Kostroma Province. According to the manuscript of prot. M.Ya. Diev "Scholars of Kostroma garden"]. Moscow: [s.n.].

13. Shestakov, Ya.V. (1900) *Lyudi nauki, dukhovnye i svetskie pisateli iz vospitannikov Permskoy dukhovnoy seminarii: k 100-letiyu Permskoy dukhovnoy seminarii. 1800-1900 gg.* [Men of science, spiritual and secular writers of the students of the Perm Theological Seminary: the 100th anniversary of the Perm Theological Seminary. 1800s–1900s]. Perm: Tipo-litografiya gubernskogo pravleniya.

14. Likhachev, D.S. (1987) *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi* [Dictionary of the scribes and literature of ancient Russia]. Vols 1, 2. Leningrad: Nauka.

15. Panchenko, A.M. et al. (eds) (1988–2010) *Slovar' russkikh pisateley XVIII veka* [Dictionary of Russian writers of the 18th century]. Leningrad: Vols 1, 2. St. Petersburg: Nauka.

16. Zayonchkovskiy, P.A. (ed.) (1976–1989) *Istoriya dorevolutsionnoy Rossii v dnevnikh i vospominaniyakh: annot. ukaz. kn. i publ. v zhurn.* [The history of pre-revolutionary Russia in the diaries and memoirs: book and journal index with annotations]. Vols 1–5. Moscow: Kniga.

17. Glubokovskiy, N.N. (2002) *Russkaya bogoslovskaya nauka v ee istoricheskom razvitii i noveyshe sostoynanii* [Russian theological science in its historical development and the newest state]. Moscow: Svyato-Vladimirskoe bratstvo.

18. Florovskiy, G., prot. (2006) *Puti russkogo bogosloviya* [Ways of Russian Theology]. Minsk: Izd-vo Belorusskogo ekzarkhata.

19. Stepanov, V.K. (1994) *Materialy k Ukazatelyu russkoy dukhovnoy literatury, 1801-1992: bibliografiya* [Materials for the Index of Russian spiritual literature, 1801–1992: bibliography]. Moscow: Rudomino.

20. Vladyshevskaya, I.V. & Sorokina, V.L. (1992) *Russkie svyaty, podvizhniki blagochestiya i agiografy: slovník-ukazatel'* [Russian saints, ascetics and pious hagiographers: glossary-index]. Moscow: Russkiy mir.

21. Kurochkina, O.V., Stepanova, N.S. & Chistyakova, A.S. (2004) *Russkie pisateli-bogoslovy. Issledovateli bogoslužheniya i tserkovnogo iskusstva: biibliogr. ukaz.; Bogoslovsko-liturgicheskii slovar'* [Russian theologian writers. Researchers of worship and religious art: biobibliography index. A Theological Liturgical Dictionary]. Moscow: Pashkov dom.

22. Kotel'nikov, A.V. (ed.) (2002) *Khristianstvo i novaya russkaya literatura XVIII–XX vekov: bibliogr. ukaz. 1800–2000* [Christianity and the new Russian literature of the 18th–20th centuries: bibliography index. 1800–2000]. St. Petersburg: Nauka.

23. Zakharov, V.N. (1994) [Russian literature and Christianity]. *Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr* [Gospel text in Russian literature of the 18th–20th centuries: quotation, reminiscence, theme, plot, genre]. Proceedings of the conference. Vol. 8. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University pp. 5–7. (In Russian).

24. Kotel'nikov, V.A. & Fetisenko, O.L. (eds) (2006) *Khroniki mezhdunarodnykh nauchnykh konferentsiy "Pravoslaviye i russkaya kul'tura" (1994–2003)* [Chronicles of the international conferences "Orthodoxy and Russian culture" (1994–2003)]. In: *Khristianstvo i russkaya literatura* [Christianity and Russian literature]. St. Petersburg: Nauka.

25. Lyubomudrov, A.M. (2002) *Tserkovnost' kak kriteriy kul'tury* [Churchism as a cultural criterion]. In: Kotel'nikov, V.A. & Fetisenko, O.L. (eds) *Khristianstvo i russkaya literatura* [Christianity and Russian literature]. St. Petersburg: Nauka.

26. Lyubomudrov, A.M. (2008) Dukhovnyy realizm kak otrazhenie religioznoy kul'tury v khudozhestvennoy literature [Spiritual realism as a reflection of religious culture in literature]. *Vestnik slavyanskoy kul'tury*. 1/2 (IX). pp. 113–120.
27. Bukharkin, P.E. (1996) *Pravoslavnaya Tserkov' i russkaya literatura v XVIII-XIX vekakh: problemy kul'turnogo dialoga* [Orthodox Church and the Russian literature in the 18th–19th centuries: the problem of cultural dialogue]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
28. Mezhov, V.I. (1891–1892) *Sibirskaya bibliografiya: ukaz. kn. i st. o Sibiri na rus. yaz. i odnikh tol'ko knig na inostr. yaz. za ves' period knigopechataniya: v 3 t.* [Siberian Bibliography: index of all books and articles about Siberia in Russian, and books only in foreign languages for the entire period of printing: in 3 vols]. St. Petersburg: I. M. Sibiryakov.
29. Polovinkin, N.S. (ed.) (1993) *Tobol'skaya dukhovnaya seminariya – kuznitsa svyashchenno-tserkovno-sluzhitel'skikh kadrov Sibiri (1743–1993): annot. ukaz. lit.* [Tobolsk Spiritual Seminary – a breeding ground for the church staff of Siberia (1743–1993): annotated literature index]. Tyumen: Rutra.
30. Chernyshov, A.V. (2004) *Religiya i tserkov' v Tyumenskom krae: opyt bibliogr.: v 3 ch.* [Religion and Church in the Tyumen region: the experience of bibliography: in 3 parts]. Tyumen: Mandrika.
31. Chernyshov, A.V. (2006) *Staroobryadchestvo i staroobryadtsy Zapadnoy Sibiri (XVII–XXI vv.): annot. bibliogr. istochnikov: obzor dok.* [Old Belief and Old Believers of Western Siberia (17th–21st centuries): annotated bibliography of sources: review of documents]. Tyumen: Rutra.
32. Pivovarov, B.I. (1998) Spisok opublikovannykh trudov altayskikh missionerov na russkom yazyke [List of published works of Altai missionaries in Russian]. In: *Iz dukhovnogo naslediya altayskikh missionerov* [From the spiritual heritage of Altai missionaries]. Novosibirsk: Nauka.
33. Martynenko, V.P. & Kurokhtina, N.I. (1997) *Russkoe pravoslavie na Kamchatke i v Russkoy Amerike: bibliogr. ukaz. lit.* [Russian Orthodoxy in Kamchatka and Russian America: literature bibliography index]. Petropavlovsk-Kamchatskiy: [s.n.].
34. Serdyuk, M.B., Odintsova, L.V. & Bebnova, E.A. (2000) *Khristianstvo na Dal'nem Vostoke: bibliogr. ukaz.* [Christianity in the Far East: bibliography index]. Vladivostok: Far Eastern State University.
35. Kurokhtina, N.I. & Verkhovina, I.A. (2005) *Iz istorii pravoslaviya na Kamchatke (18–20 vv.): metod.-bibliogr. materialy* [From the history of Orthodoxy in Kamchatka (18th–20th cc.): methodology and bibliography materials]. Petropavlovsk-Kamchatskiy.
36. Pivovarov, B. & Pavlova, O. (1997) *Svyatitel' Innokentiy (Veniaminov), mitropolit Moskovskiy i Kolomenskiy, apostol narodov Sibiri i Ameriki: bibliogr. sprav.* [St. Innokentiy (Veniaminov), Metropolitan of Moscow and Kolomna, the Apostle of Siberia and America: bibliography reference]. Novosibirsk: [s.n.].
37. Kurochkina, O.V., Stepanova, N.S. & Chistyakova, A.S. (1997). Sulotskiy Aleksandr Ivanovich (1812–1884). In: *Russkie pisateli-bogoslovy: biobibliogr. ukaz.* [Russian writers, theologians: bibliography index]. Vol. 1. Moscow: [s.n.].
38. Pivovarov, B. (ed.) (1990) Protoierey Vasilii Ivanovich Verbitskiy (1827–1890): bibliogr. ukaz. trudov k 100-letiyu so dnya konchiny [Archpriest Vasily Verbitsky (1827–1890): bibliography index of works. On the 100th anniversary of the death]. In: *Pravoslavnaya obshchina Vsekh Svyatykh v zemle Rossiyskoy prosiyavshikh* [Orthodox Community of All Saints Resplendent in the Russian Land]. Novosibirsk: SPSTL SB RAS.
39. Chernyshova, N.K. (2009) *Pochitanie svyatitelya Innokentiya Irkutskogo v dukhovnoy kul'ture Rossii: knizhnaya i rukopisnaya traditsiya (1805–1919 gg.)* [Veneration of St. Innokentiy of Irkutsk in the spiritual culture of Russia: Book and manuscript tradition (1805–1919)]. Novosibirsk: SPSTL SB RAS.
40. Dulov, A.V. & Sannikov, A.P. (2006) *Pravoslavnaya tserkov' v Vostochnoy Sibiri v XVII – nachale XX vekov: v 2 ch.* [Orthodox Church in Eastern Siberia in the 17th – early 20th centuries: in 2 parts]. Irkutsk: Irkutsk State University.
41. Yurganova, I.I. (2003) *Istoriya Yakutskoy eparkhii. 1870–1919 gg.: deyatel'nost' dukhovnoy konsistorii* [History of the Yakut diocese. 1870–1919: The activity of spiritual consistory]. Yakutsk: [s.n.].
42. Azadovskiy, M.K. (1928) Sibirskaya literatura: k istorii postanovki voprosa [Siberian literature: the history of the question]. In: *Sibirskiy literaturno-kraevedcheskiy sbornik* [Siberian literary and local history collection]. Vol. 1. Irkutsk: [s.n.].

43. Vengerov, S.A. (1915) *Kritiko-biograficheskiy slovar' russkikh pisateley i uchenykh* [A critical-biographical dictionary of Russian writers and scholars]. 2nd ed. Vol. 1. Petrograd: [s.n.].
44. Evseviya [Andreeva, E.A.]. (1885) *Zhizneopisanie episkopa Astrakhanskogo Gerasima* [Biography of Bishop of Astrakhan Gerasim]. Moscow: Universitetskaya tipografiya.
45. Matkhanova, N.P. (2010) *Sibirskaya memuaristika XIX veka* [Siberian memoirs of the 19th century]. Novosibirsk: SB RAS.
46. Popov, S.S. (1885) *Lozhnaya nadezhda na spasenie est' put' k pogibeli. Beseda miryanina s svoimi sobrat'yami miryanami* [False hope for salvation is the path to destruction. A layman's conversation with his fellow laymen]. *Irkutskie eparkhal'nye vedomosti*. 10. pp. 115–128.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/44/8

Е.Н. Пенская

СИНТЕЗ ЖАНРОВ В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ А.В. СУХОВО-КОБЫЛИНА «КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО»

Особенности каждой пьесы в отдельности и трилогии в целом можно увидеть в тех трансформациях, которые претерпевают жанры на стыке временных осей – современных и архаических театральных систем, вобравших в себя признаки водевиля, фарса, народного театра, комедии масок, комедии характеров и положений, мелодрамы и трагедии. Проблема рассматривается в статье в контексте философских трудов А.В. Сухово-Кобылина, что позволяет выявить истоки жанрового синкретизма и увидеть текстуальный взаимообмен философских и драматических сочинений.

Ключевые слова: границы жанров, фарс, водевиль, комедия, драма, сценическое пространство, персонаж, диалог, философия, драматический цикл, трансформация, система жанров.

Театральное произведение изначально принадлежит к той сфере, в которой взаимодействуют разные виды искусств. Так, античная трагедия и комедия, рожденные из обрядов и ритуалов, включали хоровое сопровождение, элементы пантомимы, что, видоизменяясь, сохранилось и в последующих жанровых модификациях – в «ученой» комедии итальянских гуманистов, испанской комедии Лопе де Вега и Кальдерона, условной пластике масок комедии дель арте, английской комедии эпохи Возрождения, французской классицистической комедии эпохи Просвещения, в фарсах и соти – комедийно-сатирических жанрах французского театра XV–XVII вв., в русской комедии XVIII в. Думается, не случайно в пределах этой комедийной линии первой трети XIX в. во Франции появляется водевиль – сверхсинтетичный вариант комедии, сочетающий газетную фельетонность с музыкальными вставками куплетов, танцев, ориентированный на участие публики, откликающейся на злободневность.

В средневековых мистериях, моралите, феериях смена и переход от одних видов действия к другим составляют структурный стержень и содержательный принцип. При всех генетических и хронологических различиях эти сценические представления нередко предполагали интермедии и интерлюдии, которые не просто «перебивали» и разнообразили спектакль, но и создавали другую целостность, предлагая зрителям дополнительный ракурс восприятия основного сюжета.

Классификация театральных произведений в теории жанров издавна интерпретируется по-разному [1. Р. 118–121]. Почти всегда виды определяются в рамках основного противопоставления «комедия / трагедия» в зависимости от содержания и структуры (что подтверждается многообразием типов комедии и трагедии), а промежуточные или переходные жанры трудно поддаются четкому делению и «прописке» [2. Р. 74–75].

Необходимо учитывать, что литературный, и театральный жанр в особенности, самым тесным образом связаны с исторической реальностью, его породившей, и задают рамки взаимодействия между текстом и читателем / зрителем [3. Р. 219–220]. Авторский выбор жанра – это выразительный жест, и распознавание жанра аудиторией сопровождается соотношением с собственным культурным опытом, вкусом, представлениями, что является заранее подготовленным «договором» о правилах игры между автором и публикой [4. Р. 25–26]. Такое «соглашение» позволяет либо соответствовать ожиданиям, либо нарушать их, выводя сочинение за границы, обозначенные канон [5. Р. 56]. Теория жанров поэтому рассматривает не только внутренние структурные закономерности пьес или спектаклей, но и включенность театрального произведения в исторический, политический, социальный и бытовой контекст [6. С. 48–51].

Сочинения А.В. Сухова-Кобылина в этом смысле находятся в русле общей традиции, допускающей создание жанровой мозаики, поливариантный монтаж форм, где существует основная партитура пьесы и многосоставный аккомпанемент. Вместе с тем они не укладываются в привычные координаты.

Как правило, жанровый генезис трилогии «Картины прошедшего» обсуждается и в диахроническом, и синхроническом аспекте. В истории изучения сухова-кобылинского наследия в целом и его жанровых закономерностей в частности можно выделить несколько этапов и тенденций.

Отечественные литературоведы и театроведы обратили пристальное внимание на творчество А.В. Сухова-Кобылина уже после его смерти в 1903 г., а постановки В.Э. Мейерхольда всей трилогии в 1917 г. стимулировали всесторонний анализ драматургии А.В. Сухова-Кобылина. Однако в 1920-е гг. литературоведы и театроведы возвращают забытое имя драматурга и рассматривают его творчество в основном в связи с конкретными деталями его биографии и судебного процесса, послужившего импульсом для обсуждения юридических казусов биографического сюжета и доказательств вины / невиновности А.В. Сухова-Кобылина в убийстве француженки [7. С. 49–51; 8. С. 95]. Тем не менее в работах этого периода одной из доминирующих тем становится проблема выбора жанровых форм драматических сочинений, наиболее соответствующих тем эстетическим и политическим задачам, которые ставил автор.

В работах 1930–1950-х гг. исследователи рассматривают жанровую систему каждой пьесы в отдельности и трилогии в целом, трактуя жанровый выбор А.В. Сухова-Кобылина в основном в русле отечественных традиций как продолжение комедийной практики Фонвизина, Грибоедова [9. С. 87] и видя в произведениях А.В. Сухова-Кобылина почти эпигонское повторение Гоголя [10. С. 251–273] и Островского, особенно их жанровых самоопределений [11. С. 51–75].

В 1940–1950-е гг. в некоторых исследованиях намечен европейский контекст жанровых исканий А.В. Сухова-Кобылина. Отмечалось, что театр А.В. Сухова-Кобылина принадлежит одновременно разным культурам [12. С. 34]. Однако соотношение французской, немецкой, русской театральной традиции в пределах трилогии рассматривалось по-разному. Одни исследователи видят жанровую эволюцию драматического цикла как продолжение

французской водевильной школы [13. Т. 8, ч. 2. С. 487–509], другие отдают предпочтение немецким истокам романтической драмы [14. С. 218–221]. В середине 1950-х гг. снова возвращается трактовка А.В. Сухова-Кобылина как сугубо русского комедиографа, лишь отчасти учитывавшего европейские театральные «уроки», периферийные в жанровом плане; в трилогии, опирающейся изначально на отечественный драматургический опыт, иноземное влияние переработано творчески [15. С. 67–68].

Исследователи 1960–1980-х гг. все более пристально изучают жанровые аспекты драматургии А.В. Сухова-Кобылина в рамках историко-литературного и театрального процесса [16. С. 45–46]. В качестве новой тенденции можно отметить компаративистский аспект изучения жанровой составляющей [17. С. 175–274].

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. анализ системы персонажей и всей символики пьес рассматривается в их соответствии смысловой, образной структуре жанрового оформления в каждой конкретной пьесе А.В. Сухова-Кобылина [18. С. 51–61]. В этот же период обновляется и текстологическое изучение трилогии «Картины прошедшего», интенсифицируется публикация архивных документов, что в свою очередь способствует уточнению истоков жанровых контаминаций, обнаруживаемых исследователями [19. С. 182–184].

Последовательное сравнение частей в драматическом цикле приводит театроведов к убеждению, что автор «строит собственную иерархию жанров, ломающую классические представления о старшинстве и преемственности». [20. С. 76–81]. Так или иначе в истории изучения поэтики жанров в трилогии «Картины прошедшего» к 1990–2010-м гг. наиболее разработанной оказалась фарсовая, комедийная ипостась второй и третьей пьес [21. С. 87–96] в ее гротескном оформлении, обращении к условности народного балаганного театра [22. С. 48–57], амплуа *commedia dell'arte* [23. С. 98–109].

Кроме того, по-разному осмысливается проблема языкового и жанрового взаимодействия. Данный сплав архаичен, при этом вписан в свою эпоху и парадоксальным образом не совпадает с ней, отчасти даже противоречит ожиданиям, вкусам, привычкам собственного времени, опережает его [24. С. 51–53]. При этом диффузия сценических форм, условность жанровых границ, соединение жанров и их отдельных элементов приводят к фундаментальной трансформации театральной системы и языка А.В. Сухова-Кобылина [25. С. 120–121], остро ощутимой на фоне сложившихся канонов, закреплённых русской и европейской традицией [26. Р. 211–215].

Итак, сложная жанровая природа пьес А.В. Сухова-Кобылина неоднократно становилась предметом внимания современников драматурга и тех, кто стал его аудиторией позднее, – читателей, зрителей, исследователей и критиков. Сочетание, нередко конфликтное, разнообразных жанровых форм в пределах одного текста, неожиданные стилистические, интонационные перебои, немотивированные, казалось бы, повторы и взаимные отражения сюжетных коллизий, резкая смена амплуа одним и тем же персонажем – все эти особенности нередко ставили в тупик интерпретаторов – литературоведов и театроведов, режиссеров и актеров, создателей сценических прочтений. Учитывая достаточно долгую историю изучения наследия А.В. Сухова-

Кобылина, нельзя не отметить отсутствие систематизированного объяснения этих жанровых модификаций в драматической трилогии.

Автор ко всем трем пьесам дает определения: «Свадьба Кречинского» – комедия, «Дело» – драма, «Смерть Тарелкина» тоже комедия, но с уточнением: комедия-шутка. Аудитория отмечала не раз отсутствие границ между жанрами на внутритекстовом и метатекстовом уровне, склонность А.В. Сухово-Кобылина к комбинированию жанровых форм. Подобная неустойчивость и «вибрация» жанровой фактуры наблюдается во всех пьесах трилогии и представляется недостаточно осмысленной исследователями.

Так, замысел пьесы «Свадьба Кречинского», рожденный в процессе «игры в пословицы» (участвовали писательница Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина – псевдоним: Евгения Тур – и другие литераторы), прошел несколько стадий, и на пути к завершению в нем оказалась переработанной узнаваемая смесь внешней водевильной стилистики (матримониальная интрига, завязка и развязка, куплеты из оперы Вебера «Волшебный стрелок», напеваемые Кречинским), приемов комедии положений и комедии характеров (подвыпивший слуга Тишка несколько раз падает с лестницы, завешивая колокольчик, предназначенный для входной двери, а не для гостиной), фарсовая перепалка Муромского и Атуевой по поводу воспитания молодой девушки, потасовка Федора, слуги Кречинского, и Расплюева, рассказ Расплюева о драке картежников, роль благородного помещика, исполняемая Расплюевым по сценарию Кречинского во время посещения Муромскими съемной, буффорски украшенной квартиры Кречинского для финального свадебного сговора.

Однако комедийные краски внезапно разрушаются, ощутимо меняется тональность, когда вторгается криминальный сюжет – подмена драгоценной булавки – и начинается другой словесный ряд: грозные предупреждения Нелькина о том, что в дом Муромского проползает змея, каторжник и вор, страх и боль, охватившие Лидочку, в чем она признается сначала отцу, а потом несостоявшемуся жениху. Зритель, знакомый с оперой Вебера, готов слышать в легких куплетах, которые напевает Кречинский, придумавший удачную аферу, подлинный ужас романтического действия немецкой легенды.

Драматическое, мелодраматическое, комедийное, памфлетное начало еще плотнее соединяются в срединной части трилогии. Пьеса «Дело», может быть, в силу своей многожанровой насыщенности проводит читателя и зрителя сквозь «театр жанров», в котором жанры, обладая своей «исторической памятью», приглашают публику к соучастию. Автору словно бы не хватает ресурсов представить абсурдный балаган российского уклада. Выбор и узнавание жанра становится эстетической проблемой. Не только для автора, но и для аудитории. Противоречия и жанровые нестыковки, компенсированные интенсивными риторическими пассажами, – вот, наверное, главный конструктивный принцип драмы «Дело». В ней «афиша» – перечень действующих лиц оборачивается развернутой ремаркой-обвинением, ультиматумом, приговором тем, кто был виновен перед автором. В этот черный «список» попали литераторы, цензоры, чиновники. И сама пьеса – это жесткий счет драматурга общим историческим и частным житейским обстоятельствам, той игре случая, из-за которой его собственная жизнь оказалась навсегда сломанной.

Преемственность текстов в трилогии поддерживается временными указателями («прошло шесть лет») и соблюдением «баланса» между старыми персонажами и новыми. Лица, знакомые зрителю, претерпевают изменение, в их характерах прорастают трагические и трагифарсовые зерна, лишь намеченные в первой пьесе. Кречинский актер, режиссер и бурлескный, пародийный сочинитель (сцена составления любовного письма Лидочке, отписок кредиторам). Он превращается в трагического поэта (письмо-предупреждение Муромскому, прочитанное Атуевой, – это высокий выстраданный слог, философия бытия); Лидочка – почти чеховская героиня, погибающая (кашляет, врачи подозревают чахотку), одухотворенная любовью к отцу и несостоявшемуся жениху-преступнику. Здесь же комический неудачник Нелькин – одновременно он и Чацкий («вояжировал»), и Хлестаков, и будущий Епиходов. С ним Муромский ведет диалог «глухих», случайно путая название парижского университета «Сорбонна» с именем девицы легкого поведения. Но если в первой части беда случилась лишь в конце, то во второй предсказание и приближение катастрофы ощущается буквально с самых первых реплик, даже несмотря на их комичный характер. Эта двойственность дает о себе знать и в сбывшемся предсказании Нелькина: в дом Муромского на смену Кречинскому прополз Тарелкин, – гадина, чиновник-исчадие петербургских болот, он не только отравил, окончательно разрушил семью, но и себя сгубил. Недаром Тарелкин соединяет роли, маски и все жанры – от куклы площадного уличного театра, персонажа комедии дель арте до корифея импровизированного хора из оперы «Гугеноты» Мейербера, в переломный момент действия исполняемого в конторе.

Сигналы тотальной катастрофы, сгустившись во второй части трилогии, оборачиваются глумливым анекдотом, пасквилем, насмешкой над жизнью и смертью, поочередной подменой живого покойником, а мертвеца живым. Недаром в начале XX в. «Картины прошедшего» прочитали как «фарс, невероятный, сбивающий с толка, как самые крайние измышления Козьмы Прутова». [27. С. 83].

Думается, однако, что поиски и обнаружения разных жанров в каждой пьесе трилогии и в целостном драматическом цикле в настоящее время нуждаются в привлечении более широкого круга источников. Выбор того или иного жанра для А.В. Сухова-Кобылина сопряжен с его идеологической позицией. Он видит себя как участник, очевидец болезненных процессов, происходящих в России. Скажем точнее: видит себя как пострадавший, жертва, но одновременно свидетель и судья, призвавший к ответу не только конкретные лица, но и шире – русскую классику, философию и историю [28. Т. 2. С. 277].

Авторская разработка концепции жанра, ее философское обоснование в этой связи до сих пор подробно не рассматривалось исследователями. Напомним: о чем бы А.В. Сухово-Кобылин ни писал, он всегда возвращался к одному и тому же рассуждению – мысли о преступности российской государственной машины, криминальном характере мироустройства. Это стойкое убеждение обрело две взаимосвязанные формы, два крупных жанра, в которых шлифовались его идеи, – драматическая трилогия «Картины прошедшего» и философский трактат «Учение Всемир» [29. С. 3–91].

Сухово-кобылинские представления о творчестве и жанре – «живом организме», «микроклетке», «миковселенной» – рассеяны в философских заметках, большая часть которых не опубликована и осталась в рукописных вариантах, набросках, черновиках; концепция жанра рождалась в многолетнем диалоге с интеллектуальной системой Гегеля.

Судя по сохранившимся материалам, А.В. Сухово-Кобылин рассматривает искусство и в особенности словесное творчество как наиважнейшую часть бытия и посвящает этим темам в «Учении Всемир» множество фрагментов. Для реконструкции авторской логики необходимо учитывать несколько повторяющихся базовых положений: одно из ключевых – единство природы и искусства, примат словесных, речевых форм над всеми остальными, цикличность всех процессов, имеющих начало, кульминацию и завершение, троичность или тройственность – универсальный закон, убедительная наглядность которого проявляется в театральном действии. *Трином в искусстве есть абсолютное золотое сечение... Всемирное триединство управляется Общей Интригой, Конфликтует, Процессует благодаря Пружинам внутреннего Механизма* (сохраняется орфография и авторская стилистика наименований. – Е.П.)... *Почему любовный треугольник столь частая основа действия в драме? Треугольник есть перво-первая полностная обозначенность Интриги Сценического Пространства; всякое что троекратно совершается, полностью совершается, говорит Аристотель. Театр, как Вселенная, основан на числовой гармонии... Здесь действует пифагорова философия чисел* [30. Л. 35–34 об.]

Реконструкция логики А.В. Сухово-Кобылина ведет к структурному обоснованию понятия «ряд», существенного для концепции жанра. Ряд есть эквивалент единицы сценического пространства и может быть соотнесен с эпизодами, действиями, явлениями в пьесе. Но в какой-то момент «рядоположение» становится частью более крупных измерений. *Ряд сочленяется в Цикл. Абсолютное единство Цикла зиждется на единстве трех рядов. ...Цикл сродни кругу, по которому проходят персонажи пьесы...* [31. Л. 56].

Генезис цикла основан на столкновении противоположностей, крайностей. В лексиконе А.В. Сухово-Кобылина они называются «экстремы». Идея экстрем (экстрема или экстремы – в рукописях встречаются три варианта написания данного слова) – одна из ключевых в сухово-кобылинской философии жанра. *Столкновение людей, доведенных до края, характеров на краю бездны и есть цель моего драматического сочинения* [32. Л. 58].

Эта мысль об экстремальных характерах разворачивается как автокомментарий ко всей трилогии и на полях черновиков рукописи «Философия человечества»: *В «Картинах прошедшего» я стремился показать изначальные состояния – Рождение (обозначено «Свадьбой»), «Дело» (середина, золотое сечение), «Смерть». И то, и другое, и третье – сущности несостоявшиеся, мнимые: «Свадьба» сорвана, «Дело» умаривает жертву, «Смерти», напротив, нет. В каждом из Рядов Драматического Цикла я старался показать человека, доведенного до Предела, до Крайности. И может быть, за этот предел перешагнувшего. Расплюев, Лидочка, Кречинский, Муромский и Тарелкин – это не один и тот же персонаж, а два. Как Минимум. Каждый явлен Зрителю пару раз – в исходном состоянии и в новом измененном Виде.*

Муромский «Дела» – это другой Муромский, нежели Муромский «Свадьбы». То же самое относится и к другим Персонажам, перечисленным мною. Но особую Перемену, ни с чем не сравнимую, претерпевает Кречинский. И это новый Переход, упущенный Судом Критиков. Экстрема явлена глазу в сравнении двух записок. Вот Письмо, сочиненное Кречинским в Первой Пизессе: «мой тихий ангел! птичка Божья! Пришлите мне Булавку с Солитером, отражающим блеск вашей Небесной Отчизны. Нам надо оснастить Ладью, на которой мы понесемся под четырьмя ветрами....» (Ср. фрагмент комедии «Свадьба Кречинского»: Явление X. «Кречинский (пишет письмо; останавливается). Не то! (Рвет бумагу, опять пишет.) Не туда провалил. (Еще рвет, опять пишет.) Эка дьявольщина! Надо такое письмо написать, чтобы у мертвой жилки дрогнули, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, страсть! где она? (Усмехается.) Моя страсть, моя любовь... в истопленной печи дров ищу... хе, хе, хе! А надо, непременно надо... (Сочиняет письмо, перечитывает, марает, опять пишет.) Вот работка: даже пот прошиб. (Оттирает лицо и пробегает письмо.) Гм... м... м... м... Мой тихий ангел... милый... милый сердцу уголок семьи... м... м... м... нежное созвездие... черт знает, какого вздору!... черт в ступе... сапоги всмятку, и так далее. (Запечатывает и надписывает адрес.) А вот что: мой тихий ангел! пришлите мне одно из ваших крылышек, вашу булавку с солитером (пародируя), отражающим блеск вашей небесной отчизны. Надо нам оснастить ладью, на которой понесемся мы под четырьмя ветрами: бубновым, трефовым, пиковым и червонным, по треволненному житейскому морю. Я стану у руля, Расплюев к парусам, а вы будете у нас балластом!..» [33. С. 39]. Далее продолжается рукопись А.В. Сухова-Кобылина: *Посмотрим, как Кречинский изъясняется в «Деле»: «С вас хотят взять Взятку – дайте; последствия вашего Отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни этой Взятки, ни как ее берут; так позвольте, я это поясню. Взятка взятке розь: есть сельская, так сказать, пастушеская, аркадская взятка, боговдохновенная; берется она по преимуществу произведениями Природы и по столько-то с Рыла; – это еще не Взятка. Бывает промышленная Взятка; берется она с Барыша, Подряда, Наследства, словом, Приобретения, основана она на Аксиоме – возлюби ближнего твоего, как самого себя; приобрел – так поделись. – Ну и это еще не Взятка. Но бывает уголовная или капканная Взятка, – она берется до истощения, догола! У этой Взятки особый Запах. Происходит она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего Леса законов, помощью и средством Капканов, волчьих Ям, Ума и Неразумия, старый и малый, богатый и сирый».* (Текст прерывается. Вклеена довольно объемная вырезка, в некоторых местах печатного текста сделаны карандашные пометы, в основном подчеркивания:

*Ich bin vertraut mit jenem Grausen,
Das Mitternacht im Walde webt.
Wenn sturmbewegt die Eichen sausen
Der Heher krächzt, die Eule schwebt –
Ha! – Furchtbar gähnt*

*Der düst're Abgrund! – welches Grau'n!
Das Auge wähnt
In einen Höllenpfuhl zu schau'n!
Wie dort sich Wetterwolken ballen!
Der Mond verliert von seinem Schein!
Gespenst'ge Nebelbilder wallen!
Belebt ist das Gestein,
Und hier – husch! husch!
Fliegt Nachtgevägel auf im Busch!
Rothgraue, narb'ge Zweige stricken
Nach mir die Riesenfaust! –
Nein, ob das Herz auch graust,
Ich muß! Ich trotze allen Schrecken!*

В этих записях наблюдается любопытная контаминация, буквально коллаж разных текстов и жанров: философские рассуждения сопровождаются искаженной цитатой из письма Кречинского, внесценического персонажа драмы «Дело». К нарушениям и добавлениям можно отнести вкрапления некоторых определений взятки, отсутствующих в беловом варианте драмы: взятка «боговдохновенная» – кстати, эпитет, встречающийся в «Современной идиллии» М.Е. Салтыкова-Щедрина [34. Т. 15, кн. 1. С. 348]. «Запах Взятки» также включен в данный пассаж, видимо, позднее – после того, как завершилась работа над драмой «Дело», и А.В.Сухово-Кобылин заимствует из драматического сочинения нужный материал для текста философского. «Пахучая взятка» встречается, в свою очередь, у Н.С. Лескова в повести-исповеди «Детские годы» [35. Т. 5. С. 314; 427]. Эти вставки помогают атрибутировать ход мысли и процесс заполнения фрагмента: скорее всего, черновик оформлялся во второй половине 1870-х гг. Но третий слой «аккомпанеента» – печатная вырезка – представляет собой фрагмент либретто – третий акт оперы «Волшебный стрелок»¹ [36. С. 3–47], что возвращает нас к первой пьесе трилогии – комедии «Свадьба Кречинского», где Кречинский поет куплеты. Такое тройственное обрамление наглядно демонстрирует зыбкость сухово-кобылинского текста, прихотливость его строения, словно бы побуждающего автора к созданию лабиринта собственных ассоциаций, на первый взгляд немотивированных, и читателя/зрителя к активному соучастию и включению не только в смысловой, но и в визуальный ряд.

¹ Напомним, что третий акт оперы, один из самых зловещих и напряженных, посвящён последнему дню состязаний, который должен закончиться свадьбой Макса и Агаты. Невеста, видевшая ночью вещий сон, снова в печали. Появляющиеся вскоре девушки преподносят Агате цветы. Она раскрывает коробку и вместо подвенечного венка обнаруживает погребальный убор. Тогда они плетут венок из белых роз, подаренных Агате старцем отшельником. Финал третьего акта и всей оперы. Перед князем Оттокаром, его придворными и лесничим Куно охотники демонстрируют своё мастерство, среди них и Макс. Юноша должен сделать последний выстрел, мишенью становится перелетающая с куста на куст голубка. Макс прицеливается, и в этот момент за кустами появляется Агата. Магическая сила отводит дуло ружья в сторону, и пуля попадает в Каспара, спрятавшегося на дереве. Смертельно раненный, он падает на землю, его душа отправляется в ад в сопровождении Самизля.

Размышление А.В. Сухова-Кобылина об экстремальных положениях и характерах завершается предположением о том, что Кречинский устроил провокацию и может находиться в общем страшном сговоре со всеми, кто привел Муромского к Краю Жизни, к Могиле. *Тут только единожды Смерть подлинна. Все остальное – мнимость и подлог, который самым иррациональным образом разрешается в последней части троичного цикла – в «Смерти Тарелкина»* [37. Л. 14, 14 об., 15, 15 об., 16, 16 об., 17, 17 об., 18, 18 об., 19, 19 об.]

Автокомментарии такого рода проясняют авторский замысел трилогии, оправдывая связи между экстремами положений, экстремами характеров и интригой в драматическом цикле.

Жанр, по А.В. Сухову-Кобылину, – та устоявшаяся, конкретная и твердая, закреплённая традицией форма, точный документ, неумолимый счет, мгновенно концентрирующий и сцепляющий «все обороты и толчки жизни» [38. Л. 5].

Жанр – это не просто общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений в искусстве, не только совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. Для драматурга жанр – это нечто большее: «формула бытия», в буквальном смысле «точка», «золотое сечение», где встречаются горизонталь частной повседневности и вертикаль большой истории. Столкновение нередко чревато разрушительным взрывом, что и демонстрирует трилогия. Однако, *«Мыслителю и Поэту необходимы Указатели – Формулы Жанра»* [39. Л. 17].

«Число три», «магическое число», составляет, по А.В. Сухову-Кобылину, основу любой жанровой конструкции, даже если «триада» неочевидна с первого взгляда, – все равно она выполняет функцию универсального закона, которым направляется как внутреннее движение элементов, так и внешнее взаимодействие жанров между собой *«в пределах начертанного космоса»*. [31. Л. 32].

Такая трехфазовая природа жанра подробно и тщательно обосновывается в разработках разных лет (что подтверждается набросками, черновиками, вариантами), но особенно детально она расписана в объемном и неупорядоченном сочинении «Философия духа и социума» (в разделах «Теория бедности и богатства» и «Философия брака» постулируется трехступенчатость состояний, через которые неизбежно проходит субъект – от наслаждения к горечи утраты или жестокому разочарованию, неумолимо, как смена времен года и переход от одного возраста к другому (именно этой теме посвящены незавершенные эссе «Юность», «Зрелость», «Старость»; работа над ними шла с перерывами четверть века – с 1875 по 1900 г.), как последовательность этапов развития культуры – от «детской, древней, наивной» – через «романтизм и бунтарство» – к «разъедаемому сарказмом и рефлексией девятнадцатому веку» [40. Л. 48].

Жанр, согласно сухово-кобылинским философским размышлениям, – это «закон» и «порядок», это закреплённые историей и традицией правила «поведения», проверенный временем «кодекс искусства и бытия», это «азбука и первоначало творческого акта».

Одновременно в пределах названных правил А.В. Сухово-Кобылин словно бы стремится отменить «математическую жесткость», непреложность высказываний, симметрию как обязательное условие устойчивости жанровых конструкций. Он сознательно престапает границы и «смешивает все карты».

Синтетический, переходный тип литературного письма, парадоксальный и противоречивый, допускает в системе координат прихотливого мышления драматурга одновременное сочетание сугубо научного сухого параграфа, дневниковой заметки, эпистолярные документы и художественные образы – плоды сценической фантазии.

Поскольку «Учение Всемир», как и все философские штудии А.В. Сухово-Кобылина, продолжает Гегеля и полемизирует с ним, гегелевская мысль является точкой отсчета и в сценических опытах драматурга. (Эпиграф взят из «Логики» Гегеля и поставлен на титульной странице прижизненного издания трилогии). Цикл набросков, посвященных Гегелю, одновременно становится и лабораторией театрального жанра. Черновики рукописей приоткрывают завесу, и взаимообмен текстов становится очевиден. Так, к примеру, в статьях о Гегеле обнаруживаются отрывки монологов Тарелкина, а философский каркас присутствует в пьесах в виде пародийных вкраплений.

А.В. Сухово-Кобылин гегелевским словом измеряет «текущий момент», современность и современников, опираясь на Гегеля, строит свой театр.

Так, несогласие с одним из ключевых гегелевских тезисов в дневнике драматург отмечает репликой: «Нам этого не понять, мы люди теплые» [33. С. 329]. В фарсе «Смерть Тарелкина» эту реплику произносит Варравин. Дневниковые записи в виде маргиналий присутствуют на полях философских рукописей. Но особенно часто такой «разборке» и собиранию в новом качестве и контексте подвергаются монологи Тарелкина как источник порождения нового смыслового, образного и даже графического ряда. Складывается условная – тарелкинская – интерпретация философии Гегеля. Воспользовавшись лексиконом Гегеля, Тарелкин строит свою исповедь, упоминая Закон и Закон Природы, Смерть, Случай, Судьбу, Дух Тишины и Свободы.

Еще один наглядный случай, имеющий отношение к «лаборатории сухово-кобылинского жанра», – это историческая тема, философия истории, имеющая непосредственное отношение к генезису жанра. В драме «Дело» Иван Сидоров говорит: «На русскую землю было три нашествия: татары, французы, чиновники» [33. С. 279]; в «Свадьбе Кречинского»: «Да! Да! Вот и философия явилась. А как Расплюева таскал, ведь философии-то не было: видно, и она, Сократова дочь, хорошую-то почву любит... [33. С. 178]. История переосмысливается. Ее можно разыграть как спектакль или проиграть в карты.

В историческом пространстве торжествует числовой порядок, математически выверенный. Чем выше точность, тем вероятнее абсурд. Кречинский говорит: «...Пучина, неизведомая пучина. Банк! Теория вероятностей – и только. Ну, а какие здесь вероятности? Против меня: папаша – раз; хоть и тупенек, да до фундаменту охотник. Нелькин – два. Ну этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Теперь за меня: вот этот вечевой колокол – раз; Лидочка – два и... да! мой бычок – три. О, бычок –

штука важная: он произвел отличное моральное действие. ...Как два к трем. Гм! надо полагать, женюсь» [33. С. 179].

Сухово-Кобылин, не скупясь на возвращение одной и той же риторической конструкции, не пренебрегает повторами, регулярно напоминая о переводах Гегеля, о создании постгегелевской философии как самостоятельном занятии, но и напрямую связанном с правкой, редактурой пьес. Это «сродство дел» в сухово-кобылинском обиходе и картине мира подтверждается постоянными переходами, взаимопроникновением текстов и жанров. Так, реплики трилогии «перебивают» философские рассуждения, в свою очередь превращая их в фарс.

Замечательно, что Реформация, это всемирно-историческое событие, было плодом совместной деятельности двух великих умов, Коперника и Лютера, которые друг друга не зная и трудясь в различных сферах, один в астрономии и другой в богословии, с двух противоположных концов умственного мира вели работу разрушения и шли к одной цели – упразднить геоцентрическое созерцание». – На полях этого фрагмента размещены следующие фразы: Между тем завтрашний день утром вызовите к себе поверенного, да в глаза ему этим пунктом и пырните»¹ [41. Л. 51, 51 об.].

Параграф: *О парах мыслителей, или Духовные mariaжи:*

Читатель, пойдем по этой дороге, во-первых, брось Канта, он рассудочно кривотолк... Кант врет и фальшивит. В этом его изобличил Гегель. По Канту, от мышления к бытию перехода нет, между ними лежит пропасть: бытие здесь, а мышление там. Супротив этого положения Гегель говорит... (следует пространное рассуждение, а на полях: Да отчего же такая пронзительная вонь? в комнате царствует таинственный мрак; духота и вонь нестерпимые. Однако от любопытных глаз надо еще подбавить вони, чтоб сильный дух пошел. Рассудок-то у них вонью и отшибет...)»² [42. Л. 14, 14 об., 15, 15 об.].

Другой параграф не имеет названия:

Два противоположные речения, взятые совместно, суть тот инструмент или философские щипцы, которыми живая философская истина извлекается... учение о философских щипцах вполне оправдывается в истории тем фактом, что все великие реформы в поступании человеческого духа из его конечной формы в его бесконечную форму были совершены не единичной человеческой личностью, а всегда двумя личностями, т.е. парой мыслителей, по своей натуре взаимно противоположных... На полях рукописи А.В. Сухово-Кобылин карандашом дописывает фразу: Ведь я тихой смертью изведу... Ведь я из брэнного-то тела таким инструментом душу выну, что и не скрипнет...»³ [43. Л. 54, 55, 55 об.].

В рабочих заметках к главе «Темнота Гегеля» (вводной части «Учения Всемир») на полях встречаются записи: *Сидим здесь, как в яме; никого не знаем: темнота да сумление... где же истина, спрашиваю я вас? Где она?*

¹ На полях рукописи, очевидно, приведен вариант реплики Варравина («Дело», действие III, явление XIII).

² На полях рукописи, очевидно, расшифровывается контаминация реплик и авторских ремарок комедии «Смерть Тарелкина» (действие I, явление I, V).

³ На полях рукописи, очевидно, вписана реплика Варравина («Дело», действие V, явление X).

где? Какая темнота!.. Какая ночь!.. и среди этой ночи какая обоюдность!..¹ [44. Л. 28].

Сложно комментировать эти пересечения текстов. Но частота вкраплений в философские наброски отдельных ремарок, диалогов трилогии дает нам право предположить присутствие «параллельного мышления» А.В. Сухово-Кобылина, одновременное осуществление двух типов практики в *разных системах* координат, наличие взаимной «проверки» мысли философской и мыслью художественной, принципиального их сближении и отмены границ. Такое переключение из одной сферы в другую, переход жанра абстрактного философского рассуждения к живой речи персонажа. Логика фарса перелицовывает философию, содействуя переводу ее на театральный язык, гротескно интерпретирующий диалектику Гегеля.

Таким образом, синтетическая природа театральных жанров в творческой лаборатории А.В. Сухово-Кобылина обнаруживается на нескольких уровнях – прежде всего в соединении архаических и современных форм. Площадной фарс, народная комедия масок, мистерия, оперные мотивы, казалось бы, хаотично проникают в водевиль, мелодраму и трагедию, а жанровые «двойники» объединяются в сценическом пространстве сухово-кобылинской трилогии. Их генетический сплав, тревоживший зрителей и критику своей непредсказуемой парадоксальностью, на самом деле рационально регламентируется автором, эпистемологически закрепившим в «Учении Всемир» и в текстах, оставшихся за пределами этой интеллектуальной утопии, тройственные закономерности феноменологии жанра. Создавая новые формы, А.В. Сухово-Кобылин ставил задачу – доказать истину, собственную правоту, восстановить порушенную репутацию. В контексте регулярных умственных упражнений, дневниковых исповедей, эпистолярных документов, отраженных в комедиях «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина», драме «Дело», мы можем говорить не столько о синтезе, сколько о синкретизме жанров в «Картинах прошедшего». В этом синкретизме, может быть, как раз и есть главный залог целостности сухово-кобылинского театра, его неослабевающее воздействие и практическое, наглядное воплощение теории.

Литература

1. Bray R. La Formation de la doctrine classique. Nizet, Paris, 1927. 223 p.
2. Lockemann W. Lyrik-Epik-Dramatik. Hain, Meisenheim, 1973. 315 p.
3. Wirth A. The real and the intended Theater Audiences, in: Thomsen, Ch (ed). Studien zur Aesthetic des Gegenwartstheaters. Carl Winter, Heidelberg, 1985. 345 p.
4. Gross R. Understanding Playscripts – Theory and Method. Bowling Green University Press. 1974. 567 p.
5. Dodd W. Metalanguage and Character in Drama, Lingua e Stile. 1979. XIV. № 1. mars.
6. Хайченко Е.Г. Почтеннейшая публика, или Зритель как Актер. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016.
7. Гроссман Л.П. Преступление Сухово-Кобылина. Л.: Прибой. 1927.
8. Гроссман В.А. Дело Сухово-Кобылина. М.: Худож. лит., 1936.
9. Цимбал С.Л. «Свадьба Кречинского»: комедия в 3 д. А.В. Сухово-Кобылина. Л., 1934.

¹ На полях рукописи, очевидно, соединены слова Атуевой («Дело», действие I, явление I) и Варавина («Дело», действие II, явление VI).

10. Данилов С.С. А.В. Сухово-Кобылин // Классики русской драмы. Л.; М.: Искусство. 1940.
11. Гольдинер В. Драматургический стиль А.В. Сухово-Кобылина // Лит. учеба. 1941. № 5.
12. Гроссман Л.П. Театр А.В. Сухово-Кобылина. [М.; Л.]: ВТО, 1940.
13. Лотман Л.М. А.В. Сухово-Кобылин и его трилогия // История русской литературы Х–XIX вв.: в 10 т. М.; Л.: 1956. Т. 8, ч. 2.
14. Рудницкий К.Л. А.В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М.: Искусство, 1957.
15. Милонов Н.А. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Тула: Кн. изд-во, 1956.
16. Клейнер И.М. Судьба Сухово-Кобылина. М.: Наука, 1969.
17. Горелов А.Е. Три судьбы: Ф. Тютчев. А. Сухово-Кобылин. И. Бунин. Л.: Сов. писатель, 1976.
18. Свершкова Л.И. Жанровое своеобразие пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Дело» // Жанровые формы в литературе и литературной критике. Киев: Наука, 1979.
19. Бессараб М.Я. Сухово-Кобылин. Л.: Современник, 1981.
20. Рассадин С.Б. Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина. М.: Книга, 1989.
21. Макеев М.С. «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина как комментарий к «Делу» // Русская драма и литературный процесс: К 75-летию А.И. Журавлевой. М.: Совпадение. 2013.
22. Соколинский Е.К. Гротеск в театре и А.В. Сухово-Кобылин. СПб.: Б. и., 2012.
23. Купцова О.Н. Система именования персонажей «Дела» // Актуальные проблемы филологии: Литературоведческий сб. Вып. 55–56. Донецк, 2016.
24. А.В. Сухово-Кобылин: pro et contra / вступ. ст. В.М. Селезнева; сост., подгот. текста и коммент. В.М. Селезнева, Е.О. Селезневой. СПб.: РХГА. 2010.
25. Koschmal W. Zur Poetik der Dramentrilogie A.V. Suchovo-Kobylyns «Bilder der Vergangenheit». Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1993.
26. Listengarten J. Russian Tragifarce: its Cultural and Political Roots. Cranbury, N.J.: Susquehanna University Press, 2000.
27. Голицын Д.П. Мысли о театре // Театр и искусство. 1909. №39.
28. Журавлева А.И. А.В. Сухово-Кобылин // Русские писатели: биобиблиогр. сл.: в 2 т. М., 1990. Т. 2.
29. Сухово-Кобылин А.В. Учение Всемир.: Инженерно-философские озарения / предисл. ред.-сост. А.А. Карулина, И.В. Мирзалиса. М.: С.Е.Т., 1995.
30. Сухово-Кобылин А.В. О творчестве. РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 216.
31. Сухово-Кобылин А.В. Триады. РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 68.
32. Сухово-Кобылин А.В. О мышлении // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 217.
33. Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего. М.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. (Литературные памятники).
34. Салтыков-Щедрин М.Е. Современная идиллия // Собр. соч.: в 20 т. М.: Худож. лит., 1973. Т. 15, кн. 1.
35. Лесков Н.С. Детские годы // Собр. соч.: в 11 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. Т. 5.
36. Friedrich Kind und Carl Maria von Weber: Der Freischütz. Romantische Oper in drei Aufzügen. Leipzig, 1822.
37. Сухово-Кобылин А.В. Философия человечества // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 258.
38. Сухово-Кобылин А.В. Рассудочный мир // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 260.
39. Сухово-Кобылин А.В. Философия точки, круга и шара // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 259.
40. Сухово-Кобылин А.В. Философия духа и социума // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 276.
41. Сухово-Кобылин А.В. Реформа Лютера // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 54.
42. Сухово-Кобылин А.В. Прохвост Кант // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 21.
43. Сухово-Кобылин А.В. Две бесконечности // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 312.
44. Сухово-Кобылин А.В. Личность Гегеля и Наполеон // РГАЛИ. Ф. 438, оп. 1, ед. хр. 15.

SYNTHESIS OF GENRES IN THE DRAMA TRILOGY *SCENES OF THE PAST* BY A.V. SUKHOVO-KOBYLIN

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 112–127. DOI: 10.17223/19986645/44/8

Elena N. Penskaya, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: lpenskaya@hse.ru / e.penskaya@gmail.com

Keywords: boundaries of genres, farce, vaudeville, comedy, drama, stage space, character, dialogue, philosophy, drama series, transformation, system of genres.

The dramatic, the melodramatic, the comedian, and the pamphletic can be seen in all parts of the trilogy, but manifest themselves most clearly in *Delo* [The Case], the second play in the trilogy. The choice and recognition of the genre become an aesthetic problem for both the author and the audience. Discrepancies and genre inconsistencies smoothed by vigorous rhetoric are the key structural principle of the trilogy. The pool of characters turns into a full-blown accusatory remark, a showdown and a sentence to all who were guilty before Sukhovo-Kobylin. The trilogy itself is a rigorous statement of historical and personal circumstances and the freak of fate that broke his life once and forever.

The inter-play continuity of the trilogy is provided by temporal indicators (“six years later”) and the balance between old and new characters. The guises familiar to the audience undergo transformations, sprouting the seeds of tragedy and tragifarce seen in the first play. The signs of a total disaster piling up in the second part turn out to be a jeering anecdote, a lampoon, a mockery of life and death, and an alternate substitution of a dead man for a living one and vice versa. No wonder *Kartiny proshedshego* [Scenes from the Past] was perceived as a farce at the beginning of the 20th century.

Today, identification of various genres in each play of the trilogy as well as in the whole dramatic cycle, requires a wider range of sources. The choice of a specific genre always has to do with Sukhovo-Kobylin’s ideological position. He sees himself as a participant of and witness to the painful processes going on in Russia. The author’s development of the genre conception and its philosophical underpinning have not yet been addressed by researchers in this context. Whatever it was he was writing about, Sukhovo-Kobylin always returned to the same speculation about the criminality of the apparatus of the Russian government and the criminal world order. This firm belief was realized in two interrelated forms, two major genres in which he polished his ideas: dramatic trilogy *Scenes from the Past* and philosophical tractate *Uchenie Vsemir* [The All-World Doctrine].

It is not so much synthesis as syncretism of genres in *Scenes from the Past* that we can talk of in the context of regular mental exercises, diary confessions and epistolary documents reflected in comedies *Svad’ba Krechinskogo* [Krechinsky’s Wedding] and *Smert’ Tarelkina* [Tarelkin’s Death]. This syncretism is what makes Sukhovo-Kobylin’s theater so holistic and his theories so persistently and vividly embodied.

References

1. Bray, R. (1927) *La Formation de la doctrine classique* [The Formation of Classical Doctrine]. Paris: Nizet.
2. Lockemann, W. (1973) *Lyrik-Epik-Dramatik* [Lyric-epic-drama]. Meisenheim: Hain.
3. Wirth, A. (1985) The real and the intended Theater Audiences. In: Thomsen, Ch. (ed.) *Studien zur Asthetic des Gegenwartstheaters* [Studies on the aesthetics of the modern theater]. Heidelberg: Carl Winter.
4. Gross, R. (1974) *Understanding Playscripts - Theory and Method*. Bowling Green: Bowling Green University Press.
5. Dodd, W. (1979) Metalanguage and Character. *Drama, Lingua e Stile*. XIV:1. March.
6. Khaychenko, E.G. (2016) *Pochtenneshaya publika, ili Zritel'kak Akter* [Respectable audience, Or Spectator as Actor]. Moscow: The Russian Institute of Theatre Arts – GITIS.
7. Grossman, L.P. (1927) *Prestuplenie Sukhovo-Kobyлина* [The crime of Sukhovo-Kobylin]. Leningrad: Priboy. 1927
8. Grossman, V.A. (1936) *Delo Sukhovo-Kobyлина* [The case of Sukhovo-Kobylin]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
9. Tsimbal, S.L. (1934) “*Svad’ba Krechinskogo*”: *Komediya v 3 d. A.V. Sukhovo-Kobyлина* [“Krechinsky’s Wedding”: a comedy in 3 acts by A.V. Sukhovo-Kobylin]. Leningrad: Tip. im. Grigor’eva; tip. Sov. pechatnik.

10. Danilov, S.S. (1940) A.V. Sukhovo-Kobylin. In: Desnitskiy, V.A. (ed.) *Klassiki russkoy dramy* [Classics of Russian Drama]. Leningrad; Moscow: Iskusstvo.
11. Gol'diner, V. (1941) Dramaturgicheskiy stil' A.V. Sukhovo-Kobylyina [The dramaturgic style of A.V. Sukhovo-Kobylin]. *Literaturnaya ucheba*. 5.
12. Grossman, L.P. (1940) *Teatr A.V. Sukhovo-Kobylyina* [Theatre of A.V. Sukhovo-Kobylin]. Moscow; Leningrad: VTO.
13. Lotman, L.M. (1956) A.V. Sukhovo-Kobylin i ego trilogiya [A.V. Sukhovo-Kobylin and his trilogy]. In: *Istoriya russkoy literatury X–XIX vv.: v 10 t.* [History of Russian literature of the 10th–19th centuries: in 10 vols]. Vol. 8. Pt. 2. Moscow; Leningrad: Nauka.
14. Rudnitskiy, K.L. (1957) *A.V. Sukhovo-Kobylin: Ocherk zhizni i tvorchestva* [A.V. Sukhovo-Kobylin: Essay on the life and work]. Moscow: Iskusstvo.
15. Milonov, N.A. (1956) *Dramaturngiya A.V. Sukhovo-Kobylyina* [Dramaturgy of A.V. Sukhovo-Kobylin]. Tula: Knizhnoe izdatel'stvo.
16. Kleyner, I.M. (1969) *Sud'ba Sukhovo-Kobylyina* [The fate of Sukhovo-Kobylin]. Moscow: Nauka.
17. Gorelov, A.E. (1976) *Tri sud'by: F. Tyutchev. A. Sukhovo-Kobylin. I. Bunin* [Three fates: F. Tyutchev. A. Sukhovo-Kobylin. I. Bunin]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
18. Svershskova, L.I. (1979) Zhanrovoye svoebrazie p'esy A.V. Sukhovo-Kobylyina "Delo" [Genre originality of The Case by A.V. Sukhovo-Kobylin]. In: *Zhanrovyye formy v literature i literaturnoy kritike* [Genre forms in literature and literary criticism]. Kiev: Nauka.
19. Bessarab, M.Ya. (1981) *Sukhovo-Kobylin*. Leningrad: Sovremennik. (In Russian).
20. Rassadin, S.B. (1989) *Geniy i zlodeystvo, ili Delo Sukhovo-Kobylyina* [Genius and villainy, or The Case by Sukhovo-Kobylin]. Moscow: Kniga.
21. Makeev, M.S. (2013) "Smert' Tarelkina" A.V. Sukhovo-Kobylyina kak kommentariy k "Delu" ["Tarelkin's Death" by A.V. Sukhovo-Kobylin as a commentary to "The Case"]. In: *Russkaya drama i literaturnyy protsess. K 75-letiyu A.I. Zhuravlevoy* [Russian drama and literary process. On the 75th anniversary of A.I. Zhuravleva]. Moscow: Sovpadenie.
22. Sokolinskiy, E.K. (2012) *Grotesk v teatre i A.V. Sukhovo-Kobylin* [Grotesque in the theater and A.V. Sukhovo-Kobylin]. St. Petersburg: [s.n.].
23. Kuptsova, O.N. (2016) Sistema imenovaniya personazhey "Dela" [The naming of the characters in "The Case"]. In: *Aktual'nye problemy filologii* [Topical problems of philology]. Vols 55–56. Donetsk: Donetsk National University.
24. Seleznev, V.M. & Selezneva, E.O. (2010) *A.V. Sukhovo-Kobylin: pro et contra*. St. Petersburg: RkhGA. (In Russian).
25. Koschmal, W. (1993) *Zur Poetik der Dramentrilogie A.V. Sukhovo-Kobylyins "Bilder der Vergangenheit"* [On the Poetics of the Dramaturgy of A.V. Sukhovo-Kobylin's Scenes of the Past]. Frankfurt et al.: Peter Lang.
26. Listengarten, J. (2000) *Russian Tragifarce: its Cultural and Political Roots*. Cranbury, N.J.: Susquehanna University Press.
27. Golitsyn, D.P. (1909) Mysli o teatre [Thoughts about the theater]. *Teatr i iskusstvo*. 39.
28. Zhuravleva, A.I. (1990) A.V. Sukhovo-Kobylin. In: Nikolaev, P.A. (ed.) *Russkie pisateli. Biobibliograficheskiy slovar'. V dvukh tomakh* [Russian writers. A Bibliographic Dictionary. In two volumes]. Vol. 2. Moscow: Prosveshchenie.
29. Sukhovo-Kobylin, A.V. (1993) *Uchenie Vsemir. Inzhenerno-filosofskie ozareniya* [All-World Doctrine. Engineering and philosophical insights]. Moscow: C.E.T.
30. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *O tvorchestve* [About creativity]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 216.
31. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Triady* [Triads]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 68.
32. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *O myshlenii* [About thinking]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 217.
33. Sukhovo-Kobylin, A.V. (1989) *Kartiny proshedshego* [Scenes of the Past]. Moscow: Nauka.
34. Saltykov-Shchedrin, M.E. (1973) *Sovremennaya idilliya* [Modern idyll]. In: Saltykov-Shchedrin, M.E. *Sobranie sochineniy v 20 tomakh* [Works in 20 vols]. Vol. 15. Book 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
35. Leskov, N.S. (1957) *Detskie gody* [Early years]. In: Leskov, N.S. *Sobranie sochineniy v 11 t.* [Works in 11 volumes]. Vol. 5. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.

36. Kind, F. & Weber, C.M. von. (1822) *Der Freischütz. Romantische Oper in drei Aufzügen* [The Freeshooter. Romantic opera in three acts]. Leipzig.
37. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Filosofiya chelovechestva* [Philosophy of humanity]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 258.
38. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Rassudochnyy mir* [Reasonable world]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 260
39. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Filosofiya tochki, kruga i shara* [The philosophy of the point, the circle and the sphere]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 259.
40. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Filosofiya dukha i sotsiuma* [The philosophy of the spirit and society]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 276.
41. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Reforma Lyutera* [Reform of Luther]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 54.
42. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Prokhvost Kant* [Kant the scoundrel]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 21.
43. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Dve beskonechnosti* [Two infinities]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 312.
44. Sukhovo-Kobylin, A.V. (n.d.) *Lichnost' Gegelya i Napoleon* [Personality of Hegel and Napoleon]. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 438. List 1. Item 15.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/44/9

О.Н. Турышева

МЕЖДУ ВИННОЙ И СОСТРАДАНИЕМ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА МЫШКИНА

Рассматривается вопрос о вине главного героя романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Несмотря на то, что рефлексия на эту тему имеет давнюю традицию в отечественной науке, в статье предлагается новый подход к решению этой проблемы. Автор актуализирует не столько вопрос о содержании вины князя Мышкина, сколько вопрос об отношении самого героя к собственной вине, сам характер переживания им своей виновности. В рамках такой постановки вопроса предлагается новая интерпретация мотива демонического преследования князя и его финального поражения, что в итоге позволяет настаивать на единстве философской мысли о вине в романном творчестве Достоевского.

Ключевые слова: Достоевский, «Идиот», образ князя Мышкина, тема вины, философия вины у Достоевского.

«Ложное отношение к своей виновности» – так Мартин Бубер определил причину экзистенциальной трагедии Николая Ставрогина. Согласно М. Буберу в истории этого персонажа находит свое выражение сокровенная мысль Достоевского о спасительном потенциале переживания вины. Но если в других романах (в первую очередь в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых») «достоевская» философия вины воплощена в форме прямого утверждения (в словах Сони и Зосимы, в историях Мити, Маркела, таинственного посетителя и самого Зосимы), то в случае с Николаем Ставрогиным Достоевский избирает аргументацию «от противного». В рамках такой логики уклонение от вины, подмена вины «горделивым вызовом» (так, напомним, Тихон характеризует интенцию ставрогинского саморазоблачения) и обуславливает финальное самоистребление героя. Акцентируя эту проблематику, М. Бубер пишет: «Содержание признания [Ставрогина] – подлинно, но акт его свершения – фиктивен. Он не имеет ничего общего с самоосвещением виновного, с настойчивостью самоотожествления, с примиряющим обновленным отношением с миром. Так, даже его “непритворная потребность в публичном наказании” <...> пропитана фикцией» [1. С. 74]. И далее, объясняя самоубийство Ставрогина: «Решающий момент, сокращенный автором и исключенный из обычного варианта романа, – это именно неудача признания: Ставрогин хотел, чтобы священник поверил в экзистенциальный характер его признания и помог ему, Ставрогину, обрести подлинность существования. Но экзистенциальное признание возможно лишь как прорыв к действию высокой совести в самоосвещении, настойчивом самоотожествлении и примиряющем отношении с миром. По мнению Ставрогина, эта возможность либо по самой сути ему не предоставлена, либо разрушена им посредством жизни»

игры. Однако, как считает сам Достоевский, человека можно спасти, когда он хочет спасения как такового и тем самым также собственного вклада в него – великого деяния высокой совести» [1. С. 76].

Выскажем неожиданную на первый взгляд мысль, что «ложное отношение к своей виновности» определяет и романную судьбу главного героя романа «Идиот». Однако если Ставрогин подменяет вину «горделивым вызовом», то Мышкин, конечно, состраданием. Но не только.

Вопрос о вине князя Мышкина давно поставлен в науке о Достоевском. При всех вариантах ее интерпретации¹ в науке рубежа XX–XXI вв. очевидно превалировал тот, в рамках которого вина героя связывалась с незаконным присвоением себе образа Христа и его миссии – миссии «Жениха и Спасителя» (Л.А. Зандер). Этой теме, например, посвящен целый ряд статей издания «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения» (М., 2001) [2–5]. Так, К. Степанян финальное безумие князя Мышкина объясняет сознательным авторским намерением показать неосуществимость подвига Христа в ситуации, когда на его свершение посягает простой смертный: *«Христом-Победителем и Спасителем мира может быть только Богочеловек. Все происходящее в романе является трагической пародией евангельской истории, а судьба князя – псевдоевхаристией: принеся себя на заклание всем, кто пытался использовать его в собственных целях, Мышкин не оживляет и не спасает никого, послужив лишь жертвой царящего в обезбоженном мире закона антропофагии (одна из доминирующих тем в романе)»* [4. С. 162]. Согласно этой идее Мышкин именуется «суррогатом Христа», «самозванцем», «лже-Христом», носителем демонической раздвоенности и гордыни, и потому замысел Достоевского связывается с задачей изображения неизбежного поражения героя, попытавшегося «заменить собой Христа» (О. Меерсон).

Иное решение проблемы вины Мышкина предпринимается в рамках подхода, согласно которому этот вопрос решается не в аспекте его соотношения с образом Христа, а в аспекте его взаимоотношений с другими персонажами романа. В данном случае Мышкин рассматривается как виновник гибели Настасьи Филипповны и сломанной судьбы Аглаи, но по иной причине: не потому, что оказался несостоятелен в предзаданной роли «заслонить Христа» (Т.А. Касаткина), а в силу особенностей и противоречий своей человеческой природы, в которой идеальное, возвышенное, светлое, устремленное к Христу сочетается с болезненным, виновным, «невоплощенным» (как писал о Мышкине М. Бахтин). На почве такой трактовки замысел Достоевского связывается уже не с «дискредитацией Бога-самозванца», а со стремлением изобразить земного, реального «положительно-прекрасного человека», сама натура которого органично вмещает в себя способность к самопожертвованию и смирению [7. С. 157], изобразить и «осмыслить его место в самой реальности» [8. С. 139].

Галина Ребель, исследовавшая тему вины в романе «Идиот», убедительно отвергает большинство версий, сложившихся в русской критике по вопросу

¹ Они подробно анализируются в статье Галины Ребель «Кто “виноват во всем этом”? Мир героев, структура и жанр романа “Идиот”» [6].

виновности князя Мышкина. Однако точку зрения Н. Бердяева исследовательница поддерживает. Напомним это знаменитое высказывание: *«Он любит Настасью Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его беспредельно. Есть что-то испепеляющее в этом сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он переходит границы дозволенного. Бездна сострадания поглощает и губит его <...> Он хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности. В сострадании нет целостности духа. Он ослаблен раздвоением»* [9. С. 105].

Уточним специфику нашего подхода: нас в большей степени интересует не столько вопрос о содержании вины князя, сколько вопрос о его отношении к собственной вине, сам характер переживания им своей виновности. Представляется, что при такой постановке проблемы возможно внести некоторые уточнения в понимание образа князя Христа. Последовательно рассмотрим те фрагменты романа, в рамках которых Мышкин вынужден задаваться вопросом о своей вине.

Первый случай приходится на фрагмент, описывающий размышления князя после первого посещения им дома Рогожина. Обратим внимание: это единственный эпизод, когда князь сам, без посторонних требований и наедине с собой формулирует мысль о собственной вине за страдания других (в дальнейшем проблема вины князя ставится другими персонажами романа, пытающимися принудить его к ответу). «Что же, разве я виноват во всем этом?» – «в мучительном напряжении и беспокойстве» спрашивает себя Мышкин, имея в виду метания Настасьи Филипповны, о которых он только что узнал от Рогожина [10. С. 225]. Этим вопросом открываются «мрачные» размышления князя, оформленные как спор со «страшным и ужасным демоном», «нашептывающим» ему мучительную «идею».

Т.А. Касаткина трактует этот мотив в размышлениях героя как символ его одержимости демоном, который, используя болезнь князя, подчиняет его гнетущим, «мрачным» мыслям [2].

Однако присмотримся к содержанию этой ужасной, вызывающей у князя отвращение мысли. Ее составляет «внезапная идея» о том, что «Рогожин убьет». И она непосредственно сочетается у Мышкина с переживанием собственной вины. Собственно, эта идея и рождается из вопроса князя о собственной виновности. В его внутренней речи она и оборачивается метафорой терзающего его демона. Демон Мышкина (а вернее, то, что он называет демоном) – это «отвратительное», «низкое» и «бесчестное», по его собственным словам, подозрение Рогожина в возможной расправе над мучительницей Настасьей Филипповной. На протяжении всей сцены – от момента, как Рогожин захлопнул за ним дверь своего дома, до припадка на лестнице гостиницы – Мышкин пытается «прогнать демона», связывая с его вмешательством «какое-то внутреннее непобедимое отвращение» [10. С. 227]. Сначала он отказывается обдумывать мрачную мысль, «задумывается совсем

о другом»¹, «прилепляется умом к каждому внешнему предмету», чтобы «забыть» о его присутствии. «Но при первом взгляде кругом себя он тот час же узнавал свою мрачную мысль, мысль, от которой ему так хотелось отвязаться» [10. С. 229]. Тем не менее Мышкин находит способ хотя бы на некоторое время «рассеять мрак» и «прогнать демона». Это происходит в минуту, когда он внушает себе, что «Рогожин способен к свету», он простит все свои мучения Настасьи Филипповны и станет для нее «служгой, братом, другом, провидением». Поэтому, думает Мышкин, «сердце его чисто» перед Рогожиным, и единственное, в чем он может упрекнуть себя, – это «бесчестное» подозрение, возникшее, как он уверяет себя, на почве приближающегося припадка. Однако, не застав дома Настасью Филипповну, Мышкин вновь переживает возвращение демона. «Он опять верил своему демону!», «странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более» [10. С. 233], сложив в его сознании «совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение» [10. С. 234]. Но, как и минутой раньше, князь подавляет «возмущающие нашептывания демона», присваивая себе вину перед Рогожиным за «низкие» мысли: *«О, как мучила князя чудовищность, «унизительность» этого убеждения, «этого низкого предчувствия» и как обвинял он себя самого!» <...> О, я бесчестен! – повторял он с негодованием и краской в лице. – Какими же глазами буду я смотреть теперь всю жизнь на этого человека! О, что за день! О Боже, Какой кошмар! <...> пойти сейчас к Рогожину, дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами»* [10. С. 234–235].

Фактически, сражаясь с демоном предчувствия, Мышкин формулирует другую вину вместо той, которая вызвала демона. Если в начале сцены вина очевидно связывается им с тем, что он неизбежно причастен к страданию Рогожина и Настасьи Филипповны, то демон (т.е. мысль о возможности того, что «Рогожин убьет») глушит мысль о его собственной вине в страданиях других, подменяя ее мыслью о вине за «низкое» подозрение Рогожина. Идея бесчестности подозрений вытесняет, таким образом, идею собственной виновности. Мысль о сущностной вине оказывается выброшена на периферию сознания, будучи оттеснена мыслью о вине за подозрение.

Думается, что демон и вызван сознанием (или бессознательным) Мышкина для того, чтобы (сначала в мучительном подозрении Рогожина, а потом в отчаянном раскаянии в своих подозрениях) отвлечь князя от мысли о действительном содержании своей вины – вины не в подозрении Рогожина, а вины в собственной причастности к возможности трагического исхода. Эта причастность становится очевидной для Мышкина, когда у него возникает ужасное предчувствие. Ведь если им, Мышкиным, «решено, что Рогожин убьет» [10. С. 230], то он сам непременно виноват; если же Рогожин «способен к свету» [10. С. 231] и предчувствие трагедии всего лишь козни демона, то и нет его вины. Очевидно, потому Мышкин пытается пресечь

¹ Он решает думать о том состоянии перед припадком, в котором «самосознание почти удесятерилось». Этот фрагмент в размышлениях князя очень важен для понимания как сути припадка, увенчавшего его мрачные мысли и покушение Рогожина, так и сути его финального погружения в безумие, о чем речь пойдет ниже.

нашептывания демона и уговаривает себя в несправедливости своих подозрений, вместо настоящей вины вменяя себе веру в то, что Рогожин умеет «страдать и сострадать», что им руководит не только страстность и «безумная ревность».

Таким образом, ужасные предчувствия так страшно тяготят Мышкина в силу того, что делают очевидной его подлинную, действительную вину. Стремясь прогнать демона (в переживании стыда за «бесчестные» подозрения Рогожина), он так глушит зов вины, косвенно отрицая ее, стремясь исторгнуть ее из сознания и таким образом уйти от ответственности за возможную катастрофу. И в этом плане действительным демоническим содержанием обладает не столько «низкая» и «бесчестная» мнительность в отношении Рогожина (в чем Мышкин себя убеждает, не желая никого осуждать), сколько попытка эту мнительность подавить, заглушив вместе с ней и голос вины (в чем Мышкин себе не признается). Вот почему свои терзания Мышкин сопоставляет с преследованием демона. Еще раз повторим: он заставляет себя мучиться стыдом за низкое подозрение Рогожина, чтобы подавить голос подлинной вины, упреки в собственном бесчестии искушают его к забвению настоящей виновности. В рамках этой сцены он это искушение – в мучительных борениях духа – принимает.

То, что борьба с демоном предчувствия возрастает на почве сопротивления признанию собственной вины, подтверждает и возглас «Парфен, не верю!». Мышкин отказывается верить ужасным предчувствиям даже в момент покушения – в силу того, повторим, что их признание с неизбежностью влечет за собой и признание собственной вины в их осуществлении.

Обратим внимание на то, что сиюминутная победа над демоном предчувствия вызывает радость в сердце Мышкина: убедив себя в том, что его мрачная идея возникла на почве приближающегося припадка, Мышкин восклицает: «Теперь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, в сердце его радость!» [10. С. 231]. Повторим еще раз: Мышкин здесь празднует победу над чувством собственной вины «во всем этом» – и в том, что уже случилось, и в том, что неминуемо¹ случится в будущем. На мгновение прогнав демона, он освобождается от мучений виновной совести. А ведь эта мысль – мысль о вине – могла быть спасительна: признав вину, Мышкин смог бы не допустить финальной катастрофы. Однако спасительной мысли он приписывает демонический статус и в мучительном напряжении душевных сил пытается ее преодолеть.

Следствием этих борений, этой неспособности принять и вынести вину, и становится приближающийся припадок. Именно так: припадок есть следствие «мрака», хотя сам Мышкин приписывает происходящему противоположную логику. Предчувствуя в начале этой сцены возвращение болезни, он связывает возникновение демона именно с ней: «Через припадок и весь этот мрак, через припадок и “идея”» [10. С. 231]. Однако анализ показывает, что зависимость здесь обратная: не болезнь вызывает демона

¹ О неизбежности трагедии он знает с самого начала: рассматривая портрет Настасьи Филипповны, Мышкин говорит об исходе ее брака с Рогожиным: «Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».

ужасных предчувствий и подозрений, а, наоборот, внутреннее сопротивление чувству вины, породившее ужасного демона, оборачивается припадком. Князь очевидно скрывает от себя настоящие причины подступающей эпилепсии, будучи не в силах выдержать свою виновность.

На подобной трактовке позволяют настаивать и встроенные в данную сцену мысли князя о состоянии перед припадком, которое характеризуется им как «необыкновенное усилие самосознания». Не справедливо ли в рамках этих размышлений героя видеть в приближающемся припадке «усилие самосознания», своего рода потребность в разрешении мучительного самообмана, в который он сам вводит себя, стремясь избежать мысли о вине. *«Все волнения, все сомнения, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясней, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины»* [10. С. 227]. Припадок и приближается, когда герой, в надежде скрыть от себя «окончательные причины», направляет свои внутренние усилия на борьбу с демоном ужасного предчувствия – вместо того, чтобы признать реальность своей вины в возможном свершении этих предчувствий.

Впоследствии мысль о собственной вине становится обыкновенной мыслью князя: «он обвинял себя во многом, по обыкновению» [10. С. 305]. Но в чем и как обвиняет себя князь? *«С недавнего времени он винил себя в двух крайностях: в необычной «бессмысленной и назойливой» своей доверчивости и в то же время в «мрачной, низкой» мнительности»* [10. С. 305]. Однако то и другое свидетельствует скорее не о подлинной виновности князя перед кем бы то ни было, а о, процитируем Г. Ребель, «той самой избыточности человечности, которую Бахтин считал неизменным атрибутом романного героя, в данном случае векторально направленной в сторону Христа, ассоциативно нарочито перекликающейся с миссией и судьбой Иисуса» [6. С. 211]. Он и сам понимает извинительность того, в чем себя упрекает. Так, по поводу обвинения Лизаветы Прокофьевны, что он не заметил «нравственной извращенности» «злых мальчишек» и предложил им виноватое возмещение, «у него было полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно <...> [и потому] долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик» [10. С. 305]. Недаром на прямой вопрос Лизаветы Прокофьевны «Виноват или нет?» он отвечает: «Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно» [10. С. 320]. А в отношении выходки Настасьи Филипповны по адресу Радомского он вообще не может принять решения, «он ли именно виноват и в этой новой “чудовищности”?».

И все-таки можно ли князю предъявить умышленную вину? На первый взгляд вопрос невозможный. Но если Мышкина, действительно, немисливо подозревать в умышленном причинении вреда кому бы то ни было, обвинение в допущении этого вреда на страницах романа сформулировано самым выразительным образом – в словах Евгения Павловича Радомского, упрекающего князя в страданиях Аглаи: *«Как могли вы тогда допустить... все, что произошло?.. И вы могли покинуть и разбить такое сокровище!»* [10. С. 579].

Обращает на себя внимание реакция князя: неоднократное – по ходу разговора – утверждение собственной вины («Да, да, вы правы; да, я виноват!») разрешается смятенными словами «Вероятнее всего, что я во всем виноват!» и «Не знаю, в чем именно, но я виноват». Он так и не уверен в своей вине перед Аглаей, не может согласиться с той формулировкой, которую предлагает Радомский, и вновь отвергает свою ответственность в произошедшем. Его желание избежать признания вины (правда, не самого ее факта, а «его глубины как экзистенциальной вины» (М. Бубер)) выглядит здесь вполне определенным:

– Да, да, вы правы, ах, я чувствую, что я виноват! – проговорил князь в невыразимой тоске.

– Да разве этого довольно? – вскричал Евгений Павлович в негодовании, -- разве достаточно только вскричать: «Ах, я виноват!». Виноваты, а сами упорствуете! И где у вас сердце было тогда, ваше «христианское»-то сердце! Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту: что она, меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая, разлучница? Как же вы видели и допустили? Как?

– Да... ведь я и не допускал... – пробормотал несчастный князь.

– Как не допускали?

– Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как всё это сделалось... я-я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок; а потом меня всё не пускают до сих пор к Аглае Ивановне [10. С. 579].

Обращает на себя внимание и то, что мысль о собственной вине в страданиях других вновь – как и в сцене перед покушением и припадком – сопровождается той же «невыразимой и ужасной тоской». Вынести идею собственной виновности князь не может. Недаром в конце разговора у него «опять начинает болеть голова». Сцена с Радомским также готова завершиться припадком, как и сцена сопротивления демону предчувствия.

В этом разговоре четко обозначена еще одна (помимо неспособности принять вину) причина, принуждающая князя сопротивляться мысли о своей виновности, – сострадание к Настасье Филипповне: «Но ради сострадания <...> разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку <...> До чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение!» – восклицает Евгений Павлович [10. С. 581].

«Невероятно преувеличенное» (по словам Радомского), «испепеляющее», «истребляющее», переходящее все границы дозволенного (по словам Бердяева) сострадание превзошло, пересилило истину вины.

Представляется, что в диалоге с Радомским вопрос о «соперничестве» чувства вины и чувства сострадания поставлен более чем определенно. О несовместимости этих переживаний в сознании князя свидетельствует и его реакция на «наполеоновский» рассказ генерала Иволгина: почувствовав укол вины за смех, которым он разразился после ухода старика, князь «тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала» [10. С. 503]. Здесь в комической тональности представлена та же конфронтация между жалостью и виновностью, которая определит исход основного

события, но уже в ее трагическом варианте. Князю не в чем укорять себя перед лицом Аглаи, потому что ему было бесконечно жаль Настасью Филипповну. Сострадание вытесняет вину.

Еще одно наблюдение: Мышкин мучительно переживает невозможность рассказать другому суть своей вины: «Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!..» – сетует он, при этом отчаянно надеясь, что «Аглая Ивановна поймет!» («О, я всегда верил, что она поймет!») [10. С. 579]. Не является ли надежда на то, что тот, перед кем виноват, обязательно поймет, очередным свидетельством самооправдания со стороны князя – вопреки необходимости признания вины, на которой настаивает Радомский? Кроме того, вспомним, что у героев «Братьев Карамазовых», с признанием вины связывавших обретение рая в сердце, восторг вызывал сам рассказ о вине. Для князя такой рассказ затруднителен. Это подтверждает и странная форма, в которую воплощено его сетование о возможном непонимании Аглаи: «Почему **мы** (выделено мною. – О.Т.) никогда не можем *всего* узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!..». Местоимением первого лица помечен в этой фразе субъект, перед которым виноват другой, хотя размышляет он здесь о *своей* вине и страдает о невозможности рассказать о *своей* вине. Думается, что такая формула свидетельствует о желании уклониться от переживания вины. В противном случае – в случае ее признания – фраза должна была бы представлять собой сетование на то, что «мы не можем всего *рассказать* о своей вине другому, перед которым виноваты». Построение этой фразы вновь выявляет неспособность Мышкина взять на себя вину (при многократном ее риторическом признании в разговоре с Радомским).

Приведенные выше слова Н. Бердяева об испепеляющем характере сострадания Мышкина к Настасье Филипповне завершаются утверждением о том, что «он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности». Однако в первую очередь сострадание приглушает обязанности Мышкина по отношению к другим людям, что неостановимо и приближает катастрофическую развязку.

А.П. Скафтымов заметил, что любовь князя к двум женщинам не становится конфликтом в нем самом [11]. Представляется, что содержание его внутреннего конфликта составляет как раз борьба сострадания и вины. В этой борьбе, повторим, сострадание вытесняет вину. Но только до определенного момента – момента финальной катастрофы.

В этом плане вполне возможно итоговое безумие князя трактовать как имеющее своей причиной невозможность вынести мысль о том, что «окончательной причиной» трагедии является он сам, его «испепеляющее» сострадание, с одной стороны, и сопротивление зову вины – с другой. Не только сострадание убивает разум Мышкина, но и (наконец!) невыносимое для рассудка признание того, что он все и «допустил». Очевидно, это последнее откровение, дарованное ему болезнью, – перед окончательным погружением в полный мрак. Кстати, аргумент в пользу такой интерпретации мы вновь находим в сюжетной линии генерала Иволгина: сам князь связывает смерть старика с ужасом вины: «Он (князь) поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то

старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после поступка, и что к этому не всякий способен» [10. С. 556]. Для самого князя ужас вины оборачивается окончательным безумием¹.

Исследователи много писали о провокативном и экспериментальном характере этого романа. Эксперимент Достоевского в «Идиоте», как правило, связывают с авторским намерением привести в мир христоподобного человека, поставив вопрос о том, осуществима ли миссия Христа в деятельности того, кто присваивает себе его образ – пусть и «не умышленно», не в страсти «головного восторга» подражания (как предполагает Радомский), а в страсти сострадания.

Добавим еще один аспект к разговору об экспериментальном характере «Идиота»: представляется, что эксперимент, предпринятый здесь, касается и решения вопроса о том, что будет, если сострадание другому превзойдет страдание о собственной вине. Поражение Мышкина делает ответ очевидным: сострадание, превзошедшее вину, губительно. Думается, что такое решение темы сострадания (где оно оказывается не просто в связке, но в оппозиции чувству вины – в том случае, если оно само не покоится на переживании вины) подчеркивает цельность мысли Достоевского о вине, свое окончательное воплощение получившей в «Братьях Карамазовых».

Литература

1. Бубер М. О вине и чувстве вины // Московский психотерапевтический журнал. 1999. № 1. С. 59–86.
2. Касаткина Т.А. Роль художественной детали и особенности функционирования слова в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения : сб. работ отечественных и зарубежных ученых. М., 2001. С. 60–99.
3. Местергази Е. Вера и князь Мышкин: Опыт «наивного» чтения романа «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения : сб. работ отечественных и зарубежных ученых. М., 2001. С. 291–318.
4. Степанян К. Юродство и безумие, смерть и воскресение, бытие и небытие в романе «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения : сб. работ отечественных и зарубежных ученых. М., 2001. С. 137–162.
5. Меерсон О. Христос или «Князь-Христос»? Свидетельство генерала Иволгина // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения : сб. работ отечественных и зарубежных ученых. М., 2001. С. 42–59.
6. Ребель Г. Кто «виноват во всем этом»? Мир героев, структура и жанр романа «Идиот» // Вопр. литературы. 2007. № 1. С. 190–227.
7. Щенников Г.К. К проблеме художественной метафизики Ф.М. Достоевского // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе (опыты феноменологического анализа) : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2001. С. 149–163.
8. Казаков А.А. Ценностная архитектура произведений Ф.М. Достоевского. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 254 с.
9. Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 209 с.
10. Достоевский Ф.М. Идиот // Собр. соч.: в 15 т. Т. 6. Л.: Наука, 1989. 670 с.
11. Скафтымов А.П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972. С. 23–87.

¹ Такая трактовка открывает очевидные, хотя и неожиданные параллели между образом князя Мышкина с образом Ивана Карамазова: допущение убийства, сопротивление вине, нашедшее свое воплощение в диалоге с демоном (чертом), безумие.

BETWEEN GUILT AND COMPASSION: STROKES TO THE PORTRAIT OF PRINCE LEV NIKOLAEVICH MYSHKIN

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 128–138. DOI: 10.17223/19986645/44/9

Olga N. Turysheva, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: oltur3@yandex.ru

Keywords: Dostoyevsky, *The Idiot*, Myshkin's image, guilt topic, guilt philosophy of Dostoyevsky.

The article considers the question of the guilt of the main character of F.M. Dostoyevsky's *The Idiot*. In spite of the fact that the reflection on this subject has a long tradition in domestic science, the author offers a new approach to its solution. The article studies the question of the attitude of Prince Myshkin to his own guilt rather than the question of the content of his guilt, that is the problem is the nature of the character's experience of his imperfection. All fragments of the novel where Myshkin asks the question of personal guilt are considered consistently. Such a formulation of the question offers a new interpretation of the major episodes of the novel. First, it is the episode of the internal dispute of the character with the "terrible and awful demon" whose prosecution he tries to avoid after the first visit to the house of Rogozhin. The author of the article comes to a conclusion that this scene symbolizes Myshkin's resistance to recognize the guilt in Rogozhin and Nastasia Filippovna's sufferings.

The following episode which has become a subject of the analysis is Myshkin's conversation with Radomsky. It also testifies to the inability of the character to admit his guilt: in this case, in Aglaia's sufferings. Besides, the dialogue with Radomsky shows the dominant of Myshkin's internal life: rivalry of the sense of guilt and compassion.

Detection of this conflict allows to treat the final madness of the character as the result of the impossibility for him to bear the thought that he is the ultimate cause of the tragedy: on the one hand, his compassion, on the other, resistance to the call of guilt. Not only compassion kills Myshkin's reason (as critics traditionally think), but also recognition of responsibility, intolerable for the mind.

Researchers wrote much about the provocative and experimental nature of this novel. Dostoyevsky's experiment in *The Idiot*, as a rule, is connected with the author's intention to bring a Christ-like person into the world, raising the question of whether Christ's mission is feasible in activities of a mortal imitator of Jesus.

The article offers one more aspect of a conversation on the experimental nature of *The Idiot*: it seems that the experiment also concerns the solution of a question of what will happen if compassion to another exceeds suffering about one's own guilt. Myshkin's defeat makes the answer obvious: compassion which exceeds guilt is pernicious. It is thought that such a solution of the topic of compassion (where it opposes the sense of guilt) underlines the integrity of Dostoyevsky's thought of guilt. This thought received its final embodiment in *The Brothers Karamazov*, where the experience of guilt is considered as a basis of spiritual human life.

References

1. Buber, M. (1999) O vine i chuvstve viny [About guilt and the feeling of guilt]. *Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal*. 1. pp. 59–86.
2. Kasatkina, T.A. (2001) Rol' khudozhestvennoy detali i osobennosti funktsionirovaniya slova v romane F. M. Dostoevskogo "Idiot" [The role of artistic details and features of the functioning of the word in F.M. Dostoevsky's *The Idiot*]. In: Kasatkina, T.A. (ed.) *Roman F.M. Dostoevskogo "Idiot": sovremennoe sostoyanie izucheniya* [F.M. Dostoevsky's *The Idiot*: the current status of the study]. Moscow: Nasledie.
3. Mestergazi, E. (2001) Vera i knyaz' Myshkin. Opyt "naivnogo" chteniya romana "Idiot" [Faith and Prince Myshkin. Experience of the "naive" reading of *The Idiot*]. In: Kasatkina, T.A. (ed.) *Roman F.M. Dostoevskogo "Idiot": sovremennoe sostoyanie izucheniya* [F.M. Dostoevsky's *The Idiot*: the current status of the study]. Moscow: Nasledie.
4. Stepanyan, K. (2001) Yurodstvo i bezumie, smert' i voskresenie, bytie i nebytie v romane "Idiot" [Foolishness of madness, death and resurrection, being and non-being in *The Idiot*]. In: Kasatkina, T.A. (ed.) *Roman F.M. Dostoevskogo "Idiot": sovremennoe sostoyanie izucheniya* [F.M. Dostoevsky's *The Idiot*: the current status of the study]. Moscow: Nasledie.
5. Meerson, O. (2001) Khristos ili "Knyaz'-Khristos"? Svidetel'stvo generala Ivolgina [Christ or "Prince Christ"? Evidence of General Ivolgin]. In: Kasatkina, T.A. (ed.) *Roman F.M. Dostoevskogo*

“Idiot”: *sovremennoe sostoyanie izucheniya* [F.M. Dostoevsky’s The Idiot: the current status of the study]. Moscow: Nasledie.

6. Rebel, G. (2007) Kto “vinovat vo vsem etom”? Mir geroev, struktura i zhanr romana “Idiot” [Who “is to blame for all this?” The world of characters, structure and genre of The Idiot]. *Voprosy literatury*. 1. pp. 190–227.

7. Shchennikov, G.K. (2001) K probleme khudozhestvennoy metafiziki F. M. Dostoevskogo [On the problem of the artistic metaphysics of Fyodor Dostoyevsky]. In: *Evolutsiya form khudozhestvennogo soznaniya v russkoy literature (opyty fenomenologicheskogo analiza)* [Evolution of artistic consciousness in the Russian literature (phenomenological analysis experiments)]. Ekaterinburg: Ural State University.

8. Kazakov, A.A. (2012) *Tsennoznaya arkhitektonika proizvedeniy F. M. Dostoevskogo* [Axiological architectonic of Fyodor Dostoyevsky’s works]. Tomsk: Tomsk State University.

9. Berdyaev, N. (2015) *Mirosozertsanie Dostoevskogo* [Philosophy of Dostoevsky]. Moscow; Berlin: Direkt-Media.

10. Dostoevsky, F.M. (1989) Idiot [The Idiot]. In: Dostoevsky, F.M. *Sobr. soch. v 15-ti t.* [Works in 15 vols]. Vol. 6. Leningrad: Nauka.

11. Skaftymov, A.P. (1972) Tematicheskaya kompozitsiya romana “Idiot” [The thematic composition of The Idiot]. In: Skaftymov, A.P. *Nravstvennye iskaniya russkikh pisateley: Stat’i i issledovaniya o russkikh klassikakh* [Moral quests of Russian writers: Articles and studies on the Russian classics]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070

DOI: 10.17223/19986645/44/10

Н.В. Жиликова, В.В. Шевцов

ЖУРНАЛ «ТОВАРИЩ» (1911/12 г.): ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ ТОМСКА НАЧАЛА XX в.¹

В статье исследуются особенности содержания и оформления журнала «Товарищ» (1911/12 г.) – одного из малоизученных томских органов периодики, относящегося к типу изданий учащейся молодежи. Анализируются основные параметры и функции журнала, его концепция, проблемно-тематические блоки. Выявляются общие черты и отличия провинциальных и столичных ученических журналов. Делаются выводы об эффективности предложенной журнальной модели, продолжающей общерусские традиции изданий этого типа и в то же время являющейся новаторской для томской дореволюционной журналистики.

Ключевые слова: тип издания, журнал учащейся молодежи, сибирская дореволюционная журналистика.

Тема изучения ученической, или школьной, журналистики имеет давнюю традицию, причем существуют разные аспекты ее исследования: с библиографической, педагогической, культурологической, исторической точек зрения. Ученические журналы и сборники становились объектом анализа как дореволюционных исследователей (см.: [1, 2, 3]), которые обращали внимание на историю возникновения феномена, на бытование журналов в школьной среде, так и советских ученых ([4, 5–10] и др.), прежде всего отмечавших свободолюбивый характер ученических изданий, пробуждение революционных настроений в ученической среде. В начале XXI в. дореволюционная школьная журналистика привлекает внимание исследователей социализации детей, их творческих потенциалов, мировосприятия дореволюционных гимназистов и т.д. (см.: [11–13]). Изучаются журналы отдельных российских регионов [14, 15, 16], в научный оборот вводятся новые источники [17, 18].

Исследователи-журналисты также внесли свой вклад в изучение этой темы. Так, в 2007 г. была выпущена книга Ю.Б. Балашовой «Школьная журналистика Серебряного века» [19], в которой обобщен материал по ученическим изданиям на всей территории дореволюционной России. Журналы и газеты учащихся были рассмотрены в ней в культурно-образовательном контексте, с позиции их вклада в формирование школьной субкультуры Сереб-

¹ Статья подготовлена в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009) и при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Томской области в рамках научного проекта № 16-11-70002 «Периодическая печать Томской губернии второй половины XIX – начала XX века в общественно-политической и культурной жизни региона».

ряного века, а также с точки зрения взаимосвязи ученической журналистики с дореволюционной педагогикой. Настоящее исследование продолжает развивать тему, намеченную Ю.Б. Балашовой, и призвано ввести в научный оборот, во-первых, новый материал, связанный с журналами учащейся молодежи Томска начала XX в., а во-вторых, обратить внимание на эксперименты молодежи в области типологии собственного рукописного или малотиражного издания.

Цель работы, методология исследования

Цель настоящей статьи – выявить типологическую специфику самостоятельного дореволюционного журнала «Товарищ», выпускавшегося учениками Первого Сибирского коммерческого училища в Томске в 1911/12 уч.г. Журнал рассматривается как типичный представитель типологического отряда ученических журналов и одновременно как принципиально новый для Томска вид периодики, обладавший своими уникальными характеристиками как в содержательной части, так и в отношении принципов оформления издания.

При анализе основных параметров и функций исследуемого журнала автор исходит из принципов типологического анализа прессы, обобщенных еще в 1985 г. А.И. Акоповым: выделение главных типоформирующих признаков (издатель, целевое назначение издания и его читательская аудитория), зависящих от них вторичных (состав авторов, внутренняя структура издания, используемые жанры и оформление издания) и формальных типологических признаков (периодичность выхода, объем и тираж) [20]. Сохранившийся оригинал журнала «Товарищ» был проанализирован также по нескольким содержательным и визуальным параметрам: жанрово-тематическая структура издания, авторский состав, принципы оформления обложки и подходы к иллюстрированию номера, использование графики и др.

Ученический журнал как тип издания

Историки журналистики отмечают, что первым печатным журналом, который может быть отнесен к типу ученического, можно считать «Праздное время, в пользу употребленное» (1759–1760), объединившее преподавателей и учащихся Сухопутного Шляхетного корпуса. Первым же ученическим рукописным изданием был журнал «Аркадские пастушки», выходивший в 1804 г. в Казанской гимназии (см.: [16. С. 145; 19. С. 5]). Ученические журналы выходили в разных российских учебных заведениях на протяжении всего XIX в., но временем расцвета дореволюционной школьной журналистики стало начало XX в., поскольку в 1901 г. Министерство народного просвещения возбудило вопрос «о беспрепятственном разрешении издавать при средних учебных заведениях ученические журналы, составляемые воспитанниками двух последних классов этих заведений, с условием, чтобы журнал редактировался одним из преподавателей» [3. С. 113]. Положительное решение этого вопроса привело к росту числа ученических изданий по всей России: с 1901 по 1916 г. в гимназиях, реальных училищах, кадетских корпусах издавалось более 150 различных ученических изданий [16. С. 146].

Опираясь на проведенные исследования, можно выделить следующие характеристики типа дореволюционного ученического журнала. В качестве его издателей выступали учащиеся средних учебных заведений, нередко они

поддерживались преподавателями и администрацией: «В одних случаях журнал являлся органом одного класса (преимущественно IV–VIII), в других органом всех старших классов или всего учебного заведения... некоторые издания являлись продуктом частной, личной инициативы» [16. С. 146]. Кроме этого, журналы могли издаваться как группой учащихся конкретных учебных заведений, так и являться межшкольными изданиями, объединяющими учеников разных школ [19. С. 6].

Роль педагогов в таких журналах была самой разнообразной: они могли стимулировать интерес учащихся к журналистике, поддерживать идею издания, курировать процесс подготовки журнала, участвовать в нем как авторы и оказывать другие виды поддержки. Однако при этом издателями журнала были учащиеся, что позволяет выделять группу этих изданий как ученическую журналистику, отдельную от журналистики педагогической, когда в роли издателей выступают сами педагоги. В случае же инициативных авторских изданий роль наставников была сведена к нулю.

Целевое назначение журнала исследователи выявляют, исходя из редакционных заявлений и сохранившихся прошений об издании [16, 19]. Прежде всего, ученический журнал рассматривался как средство объединения и общения учащейся молодежи. Редакционные комитеты также ставили перед собой такие задачи, как выработка мировоззрения, познание окружающего мира, писали о том, что они хотели бы «научить выражать свои мысли» и отстаивать собственное мнение, обмениваться мыслями. Журналы должны были также служить средством самовыражения учащихся, местом, где они могли найти единомышленников, получить поддержку, заявить о себе. При этом журнал не рассматривался как часть учебного процесса, это была деятельность внеучебная, хотя и связанная со школьной жизнью.

Читательская аудитория журналов была невелика, поскольку предназначались издания для дружеского круга: в первую очередь для самих авторов, для их знакомых, друзей, родителей, а также для педагогов учебных заведений, заинтересованных в такого рода журналах. Сведений о тиражах ученических журналов практически не сохранилось. Конечно, рукописные ученические сборники выпускались единичными экземплярами. Что же касается печатных изданий, то из прошения об издании журнала 1-й воронежской мужской гимназии (не поддержанного в 1896 г. Министерством народного просвещения) можно узнать о предполагаемом количестве экземпляров: 300 шт. [16. С. 147]. Можно предположить, что тиражи были как больше этой цифры, так и намного меньше, в зависимости от того, какой объем средств могли привлечь учащиеся для своего издания.

Таким образом, ученические журналы как тип периодики относились к изданиям узкоспециализированным, ставящим перед собой ограниченные цели, рассчитанным на небольшую аудиторию. Круг авторов изданий был очень ограниченным, их качество не соответствовало понятиям о профессиональной журналистике. Что же касается содержательных особенностей ученических изданий, можно отметить, что исследователи условно делят журналы учащейся молодежи на 4 группы: автодидактические, т.е. журналы для самообразования читателей; литературные, сатирические и публицистические (см.: [16. С. 146]). «В содержание отделов многих изданий входили сти-

хотворения, рассказы, повести, пьесы, описания путешествий, научно-популярные и публицистические статьи, критические очерки, хроника ученической жизни, письма в редакцию и многое другое» [16. С. 146].

Разнообразные как по содержанию, так и по оформлению ученические журналы выходили как в Европейской России, так и за Уралом, однако их исследования осложняются тем, что до сих пор не собраны все сведения о существовавших до революции изданиях этого типа. Можно говорить о постоянном вовлечении в научный оборот нового материала, связанного с ученической журналистикой, в том числе журналов «периферийных» учебных заведений дореволюционной России, в том числе учебных заведений Томска, в которых выходили как печатные, так и рукописные издания.

Томские малотиражные журналы учащейся молодежи: места хранения и отражение в каталогах

До недавнего времени о существовании дореволюционных ученических журналов Томска было известно только из каталогов и указателей периодической печати, таких, как, например, «Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959). Ч 1. Журналы. Продолжающиеся издания» (Новосибирск, 1972) [21] или «Повременная печать Сибири (вторая половина XIX в. – февраль 1917 г.): Сводный указатель периодических и продолжающихся изданий» (Томск, 2011), составленный Е.Н. Косых и А.В. Яковенко [22]. Они содержат сведения о двух томских дореволюционных школьных изданиях:

Товарищ. Первое Сибирское коммерческое училище. Изд. ученики старших классов. Томск, 1911–1912. Вышел один нумер. вып. Литограф. издание [21. С. 144].

Мысли учащихся средней школы. Общеученический журнал. Томск, 1916/17. Вышел один нумерованный вып. Типография Томского губернского управления [21. С. 147; 22. С. 94].

К сожалению, оригиналы изданий не сохранились в библиотеках и архивах Томска: единственным местом хранения журнала «Товарищ» является Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), а «Мысли учащихся средней школы» можно найти в РНБ (Санкт-Петербург), РГБ (Москва), а также в Новосибирской и Омской областных библиотеках.

Ученические журналы являются отдельным типологическим отрядом, не примыкающим к общественно-политическим, или сатирическим, или студенческим, или литературно-художественным журналам. Поэтому у исследователей томской периодики не было острой необходимости обращаться к вышеуказанным журналам при описании других типов изданий. Кроме этого, в журналах «Товарищ» и «Мысли учащихся средней школы» не участвовали ведущие томские поэты и писатели, и это не позволило «связать» их с каким-то известным именем и таким образом включить в круг источников. Вероятно, именно эти причины объясняют тот факт, что до настоящего времени журналы ни разу не становились предметом научного исследования или даже просто описания.

После революции в Томске выходили также рукописные журналы, издававшаяся учащимися: «Лес» (1917) и «Родная Сибирь» (1918–1919), которые вводятся в научный оборот сотрудником Научной библиотеки Томского

государственного университета, доктором исторических наук В.А. Есиповой. Они хранятся в архивах и фондах НБ ТГУ.

В настоящей статье речь идет о журнале «Товарищ» – первом известном исследователям журнале учащейся молодежи Томска, который удалось изучить благодаря сотрудничеству с библиографами Российской национальной библиотеки. Работа с оригиналом позволила познакомиться с содержанием и оформлением журнала, выделить его специфические типологические черты.

Функции журнальной обложки и ее связь с концепцией издания

Первый известный нам журнал учащейся молодежи «Товарищ» начинался с информативной рисованной обложки, из которой можно было почерпнуть сведения о названии журнала, о времени издания и издателях. Буквы слова «Товарищ» располагались в верхней трети листа, они шли полукругом, а две средние буквы – А и Р – перекрещивались в центре слова. Слева от названия было указано: «Журнал издается учениками старших классов», над ним – «1911/12», т.е. учебный год, когда издавался журнал, справа – «Первое Сибирское коммерческое училище цесаревича Алексея в Томске».

Таким образом, читатель, не успев открыть журнал, уже получал информацию о его четко выраженном типологическом статусе: это издание учебное, «привязанное» к конкретному учебному заведению – Первому Сибирскому коммерческому училищу цесаревича Алексея, и конкретному городу – Томску. Это подчеркивалось и временем издания – не определенной датой, а обозначением учебного года в целом. Также можно было предположить, что издатели не планировали сделать журнал продолжающимся изданием, отсюда отсутствие нумерации и указания на планируемую периодичность выпусков. Но тем не менее сами издатели позиционировали издание как «журнал».

Изображение на обложке было подписано фамилией автора: Б. Морозов. Рисунок имел целью привлечь внимание потенциального читателя, кроме того, он также был связан с общей концепцией издания и подчеркивал его «топографическую привязку», так как в центре было нарисовано узнаваемое здание томского Сибирского коммерческого училища. Это здание сохранилось в Томске до настоящего времени, и оно по-прежнему служит учебным целям: теперь это корпус № 2 Томского государственного архитектурно-строительного университета (находится по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 2/2). Построенное при участии известного томского архитектора К.К. Лыгина в 1904 г., оно имело несколько уникальных архитектурных элементов, которые просматриваются на рисунке: оригинальная башенка, венчающая крышу, фасад с колоннами, декоративные геометрические элементы отделки и т.д. Здание было трехэтажным, построенным из красного кирпича, и автор отразил на рисунке и его этажность, и кирпичную кладку.

Однако «жизнеподобие» обложки на этом заканчивалось, так как вокруг реально существовавшего здания была нарисована не окружавшая его городская застройка, а разные природные ландшафты: слева – лесистый холм, перед которым размещались чертежная доска, штатив, зонтик и разные чертежные инструменты, справа – гора с пещерой, в которую вела, вероятно, железная дорога. А над коммерческим училищем вставало солнце, от которого расходились многочисленные лучи, доходившие до названия «Товарищ».

В целом композиция обложки была довольно хаотичной, выполненной в непрофессиональной графике, однако она успешно выполняла несколько главных функций. Во-первых, согласно теории журналистики она создавала «узнаваемый и привлекательный для читателя облик издания», поскольку обложка – «это и средство ориентации, обозначающее начало издания, и «образ», выделяющий его среди других ему подобных, его фирменный знак и торговая марка» [23. С. 20]. На журнальном рынке Томска иллюстрированные обложки встречались довольно редко, в основном в сатирических изданиях. Поэтому «Товарищ» сразу заявлял о себе как об издании оригинальном, творческом и одновременно свободном от профессиональных установок. Кроме функции «индивидуализации» журнала, обложка выполняла также информативную функцию, давая читателю сведения о месте и годах издания журнала, а также концептуальную, подчеркивая ученический и неформальный характер нового органа печати.

Содержание журнала «Товарищ»

Всего в журнале было помещено 10 материалов. Это:

- 1) Стихотворение «Товарищам» (публикация не подписана) – с. 1.
- 2) «Летний этюд» (М. Барахович) – с. 2.
- 3) Стихотворение «Ты не заметила угрюмой...» (публикация не подписана) – с. 2.
- 4) «По проторенной дороге» (из Гейгештерна) (П.М.) – с. 4–9.
- 5) Стихотворение «Я помню шум толпы веселой...» (публикация не подписана) – с. 10.
- 6) «Поэзия Никитина» (П.М.) – с. 11–19.
- 7) «История шахматной игры» (без автора) – с. 19–23.
- 8) «Школьная жизнь. 1. Выставка картина художника Прохорова. 2. Юбилей М.В. Ломоносова» (без автора) – с. 23–24.
- 9) «Задачи» – с. 27.
- 10) «Партия № 1» – с. 27–30.

Из этого описания становится ясно, что журнал был наполнен в основном литературно-художественными публикациями, а также текстами, связанными с учебной деятельностью авторов: это перевод иностранного автора (Гейгештерна – сведений о нем не найдено), доклад о поэзии И.С. Никитина, реферат об истории шахмат. Обращает на себя внимание то, что содержательная часть издания открывалась стихотворением, заголовок которого прямо перекликался с названием журнала:

Начнемте с надеждой, что новое дело
Нам дружба объятием блага скрепит,
Работать – так вместе, открыто и смело,
А в сердце науки пусть пламя горит.

Я верю, что скромные наши творения
Нам пользу и благо, друзья, принесут.
Ведь коль не трудиться, заглохнут стремленья,
И чувства благие, и разум уснут.

Товарищи, будем же вместе трудиться,
И дело святое Господь освятит,
Коль каждый своею душой поделится,
Обиду и злобу забудет, простит (Товарищ. 1911/12. С. 1).

Над этим стихотворением было помещено изображение человека, стоящего перед кафедрой: оно давало возможность воспринимать текст как обращение – к товарищам, в полном соответствии с названием стихотворения. Художественные достоинства его, конечно, невелики, но он и служил для иной цели, нежели эстетическое воздействие на читателя: это, по сути, поэтический аналог статьи «От редакции», которым открывались «взрослые» издания. Текст был обращен к потенциальному автору и читателю журнала, приветствовал «новое дело», настойчиво призывал «трудиться», забывая «обиду и злобу». Под этим стихотворением, внизу страницы, помещалось изображение водной глади, омывающей камни, над которой простирались облака. Видимо, этот рисунок должен был олицетворять спокойствие, к которому призывали авторы журнала своих авторов и читателей.

Необходимо отметить, что прием поэтического «введения» в проблематику журналов был достаточно распространен и в русской, и в местной томской журналистике. Так, томский сатирический журнал «Красный смех» 1906 г. открывался одноименным стихотворением; литературно-художественный журнал «Молодая Сибирь» (1909 г.) также начинался со стихотворения И. Тачалова «Молодой Сибири», и т.д. В этом смысле можно отметить ориентацию журнала на уже существовавшие образцы местной печати.

«Летний этюд» М. Бараховича являлся попыткой художественной зарисовки, выводящей на проблемы философского характера: описав прекрасный летний день, автор рассказал историю о попытках спасти птицу с подбитым крылом, однако, несмотря на все усилия рассказчика, она умерла. «За что?» – спрашивали глаза умирающей птицы, но, кроме молчания, автор не мог ничем ответить на этот вопрос. В подобном лирическом тоне было написано и следующее за этюдом стихотворение, повествующее о неразгаданных тайнах души поэта («Ты не заметила угрюмой / Моей измученной души...»), а также стихотворение «Я помню шум толпы веселой...», полное разочарования в избраннице, не понимающей автора и оказавшейся недостойной его («Твоя душа была залита / Волной искусственного света») (Товарищ. 1911/12. С. 10).

Совсем другой характер имел перевод П.М. из Гейгенштерна: эта нравоучительная история была посвящена проблемам выбора молодым человеком жизненного пути. Ее сюжет заключался в рассказе о Людвиге, сыне старого фабриканта, который начал свою судьбу с тяжких проступков, но в итоге пришел к решению продолжить дело отца на достойном уровне. История была актуальна для читателей – учеников старших классов, практически выпускников, стоящих на пороге взрослой жизни и обдумывающих дальнейшие жизненные стратегии.

Два объемных текста, посвященных анализу поэтического творчества И.С. Никитина и истории шахматной игры, были написаны в традиционном реферативном стиле. П.М., автор работы о Никитине, обращался к стихотворениям, которые изображали «крестьянскую жизнь во всех ее мельчайших подробностях» (Товарищ. 1911/12. С. 18), ставили философские вопросы, описывали природу. Рассказав о тяжелой жизни поэта, о сложном отношении к нему критики, автор завершал публикацию следующим выводом: «К счастью, ошиблась критика. В настоящее время поэзия Никитина заинтересовы-

вает публику, и поэту отводят почетное место в ряду наших лучших писателей» (Товарищ. 1911/12. С. 19).

Автор работы о шахматной игре, в свою очередь, представил читателям результаты своих изысканий по истории возникновения шахмат с глубокой древности и до времени их появления в России. Шахматная тема продолжалась и в двух последних отделах журнала: «Задачи» – шахматные задачи, предложенные учениками Головиным, Георгиевским, Степановым, и «Партия № 1» – описание шахматных поединков между Георгиевским и Степановым и Головиным и Малыгиным.

Единственной рубрикой, которая существовала в журнале, была «Школьная жизнь». Под этой рубрикой разместились две заметки: «Выставка картин художника Прохорова» и «Юбилей М.В. Ломоносова».

Первая заметка была посвящена выставке известного томского художника С.М. Прохорова – молодого выпускника Санкт-Петербургской Академии художеств, которого рекомендовал сибирякам И.Е. Репин как талантливый и перспективный (подробнее о нем см.: [24]). Из текста можно было узнать о том, что посещение этой выставки было организовано преподавателем училища М.М. Щегловым, который, в свою очередь, являлся одним из ведущих художников Томска начала XX в. Автор заметки писал: «Нам самим, конечно, трудно было бы разобраться в тонком искусстве художника. Но, благодаря живым и понятным комментариям преподавателя М.М. Щеглова, и нам открылся новый мир, который раньше слишком мало останавливал наше внимание. Надеемся, что и в будущем наши руководители будут обращать внимание на развитие в учениках эстетизма» (Товарищ. 1911/12. С. 23).

Во второй заметке описывалось чествование памяти «великого отца нашей литературы» М.В. Ломоносова в коммерческом училище. Были подробно перечислены мероприятия: панихида и юбилейный вечер, состоявшиеся 8 ноября 1911 г., названы участники выступлений – ученики и преподаватели. Как охарактеризовал чествование автор: «Празднование носило скромный, домашний характер, но прошло оживленно и интересно, оставивши в каждом из нас добрую память о самородном и великом русском таланте» (Товарищ. 1911/12. С. 23).

Эти небольшие публикации показывают интуитивное понимание особенностей журналистской работы и журналистских жанров авторами: заметки лаконичны, написаны достаточно живым языком, содержат факты о реальных событиях, здесь есть даты, имена участников, оценка автором описываемого мероприятия.

В целом номер журнала был хорошо структурирован, его внутренняя организация была продумана, логично выстроена: от поэтического обращения к авторам и аудитории, от философской прозы и лирической поэзии читатели переходили к проблемам выбора жизненного пути, к литературной критике и истории, затем обращались к событиям сегодняшнего дня и завершали чтение упражнениями для ума, разбором шахматных задач и партий.

Большинство публикаций журнала были анонимными, в издании встречаются подписи только двух авторов: М. Бараховича и «П.М.». Можно предположить, что авторский состав «Товарища» был невелик, и, как это чаще всего бывает и в наше время, он создавался силами нескольких энтузиастов.

Об участии в журнале преподавателей училища сведений не сохранилось либо на данный момент не выявлено.

Указания на даты, которые встречались в материалах журнала, позволяют сделать вывод о том, что он был издан в конце 1911 г.: 8 ноября училище чествовало память М.В. Ломоносова, к 5 декабря докладчик готовил свой текст о И.С. Никитине. Выставка С.М. Прохорова также проходила в конце 1911 г. Но, поскольку ученики были вовлечены в учебный процесс, то обозначение именно учебного года – 1911/12 – было логичным для этого журнала.

Особенности оформления и иллюстрирования журнала

На предпоследней странице номера было указано место тиражирования журнала: «Типография Сибирского товарищества печатного дела в Томске». Журнал был создан в литографической технике, что позволило передать все особенности рукописного оригинала. В журнале сохранился специфический шрифт пишущей машинки, на которой был напечатан текст журнала, расположение этого текста на странице – в том же виде, в каком он был создан учениками, в одну колонку, в основном посередине печатного листа. Отдел шахматных задач и партий был написан от руки, что также было отражено в журнале. Также литография передала все особенности иллюстраций, созданных учениками коммерческого училища: всего их в журнале 16, включая рисованную первую обложку и небольшой рисунок на задней обложке.

Рисунки журнала не отличались особыми художественными достоинствами или оригинальной техникой исполнения, это обычная графика, изображающая пейзажи, труд крестьян, морские виды, шахматы и т.д. Есть два схематичных портрета – И.С. Никитина и М.В. Ломоносова, относящиеся к материалам, в которых говорилось об этих русских поэтах. Фотографий, графиков, гравюр в номере не было, поэтому оформление выглядело довольно однообразным, хотя имеющиеся иллюстрации показывали заботу издателей о том, чтобы сделать журнал визуально привлекательным.

Многие рисунки были подписаны, однако исследование подписей выявило всего трех авторов: это Б. Морозов (автор рисунков на передней и задней обложках, подписывался также инициалами «Б.М.»), С. Гомберц («С. Гомб», «С.Г.») – ему принадлежат четыре рисунка в журнале, и Сысоев – этой фамилией подписаны две работы.

Расположение иллюстраций в номере позволяет сделать вывод о том, что их рисовали «поверх» напечатанного на машинке текста: на полях вверху и внизу страницы, реже – по бокам, если оставалось место, или между двумя статьями, в этом случае рисунок воспринимался как разделительный элемент наряду с заголовком публикации.

Томский «Товарищ» и другие издания учащейся молодежи: сравнительный аспект

Можно говорить как об общих чертах, характерных для всех российских ученических журналов, так и о ряде особенностей, которыми обладал томский «Товарищ».

Типологический статус журнала соответствовал определению «ученический»: он издавался учащимися Первого Сибирского коммерческого училища, имел целью объединение творческих сил молодежи, ориентировался на узкий круг читателей, имеющих отношение к училищу – учеников и их зна-

комых, преподавателей. «Товарищ» может быть условно отнесен к типу литературного ученического журнала, в котором сочетались жанры литературно-художественные (стихотворения, зарисовки), журналистские (заметки), учебно-научные (рефераты), развлекательные (шахматная партия, задачи). Учебная и внеучебная жизнь также нашла отражение на страницах журнала, и в этом смысле он был полностью идентичен изданиям, выходившим в европейской части России.

Как и подавляющую часть ученических журналов, «Товарищ» нельзя отнести к какому-то политическому направлению, о чем писала и Ю.Б. Балашова: «Школьные журналы начала прошлого столетия не разделялись по направлениям – их сплавляла единая «социализирующая» идеологическая платформа, а разнообразие ученической журналистики опиралось на вариативность журнальных рубрик и, соответственно, богатства самого материала. Ученическая периодика в плане семантики связана с развитием творческого потенциала учеников (их «самостоятельного мышления»), в аспекте синтактики она выступает в качестве доминантной формы внешкольной деятельности начала XX века, в прагматическом отношении – организует ученический досуг и выполняет важнейшую функцию социализации» [19. С. 44–45].

Можно заметить не только типологические, но и тематические «переключки» ученических журналов. Так, характеризуя сборник «Молодые силы», изданный в период 1911–1912 гг. ученицами третьего класса женской гимназии (место издания не было указано), Ю.Б. Балашова пишет: «Данный альманах гимназисток младшей школы достаточно разнообразен: в нем представлены загадки, шарады, буриме; критико-биографический очерк об И. Никитине; рассказывается о насыщенном «Вечере в память 200-летия со дня рождения Ломоносова», проводимом в гимназии, где были прочитаны доклады, причем и преподавателями и ученицами, звучали стихи и музыка» [19. С. 86]. Буквально в тех же жанрах томский «Товарищ» писал и о И. Никитине (реферат о биографии и творческом наследии поэта), и о чествовании памяти М.В. Ломоносова в Сибирском коммерческом училище.

Однако, несмотря на сходство, были и некоторые отличия журнала от изданий этого типологического отряда. Во многом они связаны с недостаточностью материала, которым располагают исследователи на данный момент. Так, нет никаких сведений об участии в журнале «Товарищ» педагогов, в то время как совместная деятельность учеников и их наставников в журналах была характерной чертой изданий начала XX в. Журнал, по-видимому, был бесцензурным, поэтому он не отражен в архивах Главного управления по делам печати или в делах томского губернатора. В журнале отсутствовали программа издания, а также редакционная статья, что дало бы возможность более точно представлять себе цели и задачи «Товарища». Исследование позволяет говорить о том, что журнал был во многом экспериментаторский: не было четкой рубрикации, отсутствовал даже такой элемент, как содержание; расположение материалов в журнале носит достаточно хаотичный характер. Отсутствие в журнале каких-либо отсылок на другие ученические или любые другие органы печати может говорить о том, что издатели пытались выработать собственную модель издания, опираясь на интуитивные представления о том, каким должен быть ученический журнал.

Выводы

Итак, выступление учеников томского коммерческого училища в качестве издателей журнала позволило заполнить еще одну пустующую «нишу» в складывающейся системе периодической печати в Томске. В 1916 г. здесь было выпущено еще одно издание учащейся молодежи («Мысли учащихся средней школы»), эта традиция продолжилась и после революции 1917 г. («Лес» (1917) и «Родная Сибирь» (1918–1919)).

Журнал в первую очередь служил для реализации творческого потенциала учеников старших классов коммерческого училища. Вообще в нем было два подготовительных класса, младший и средний, шесть общеобразовательных и два специальных – коммерческое и землемерное. Обучение в училище было достаточно разносторонним: здесь изучали такие предметы, как русский и иностранный языки, словесность, Закон Божий, историю торговли, географию, в том числе коммерческую, статистику, космографию, математику, физику, химию, товароведение с технологией, анатомию и физиологию, политэкономия, законоведение, счетоводство, черчение, а также пение, гимнастику, рисование и др. (см.: [25]). Все это позволяло ученикам в последние годы обучения почувствовать необходимость в создании собственного творческого проекта, который объединил бы единомышленников, продемонстрировал творческие и организационные силы участников, а также показал пример младшим ученикам.

Журнал действительно оказался достаточно разнообразным по содержанию, интересным с точки зрения сочетания жанров литературно-художественных, журналистских и «учебных». Анализ особенностей его содержания и оформления позволяет сделать вывод, что издателями была проделана работа по определению концепции издания, его типологической модели. Эта модель органично вписывалась в типологический отряд существовавших в России многочисленных изданий для учащейся молодежи, однако для Томска она была новаторской и в чем-то экспериментальной: впервые в учебном заведении был выпущен собственный ученический журнал, который не повторял существующие в Томске журнальные модели, дал возможность проявить себя в качестве издателей и авторов ранее незадействованный социальный слой.

Одним из вопросов, который требует особого исследования, является проблема литературно-художественного направления издания. Ю.Б. Балашова, к примеру, отмечает, что «школьная субкультура Серебряного века была ориентирована на различные аспекты оказывающей вовлекающее влияние культуры модерна. Данное тяготение, позитивная зависимость проявлялись в таких свойствах, как кружково-журнальная технология организации внешкольных мероприятий, подражание учеников определенным характерным особенностям модернистской художественной практики» [19. С. 4]. Однако это утверждение вряд ли справедливо по отношению к журналам отдаленных российских регионов, которые довольно долгое время с большим подозрением и скептицизмом относились к модернистским экспериментам как в области литературы, так и живописи. Это было обусловлено культурологическим «отставанием» провинции от российского центра. Анализ текстов журнала «Товарищ» позволит прояснить этот вопрос, что также даст основание гово-

речь о специфике томского ученического журнала и будет способствовать введению его в научный оборот как представителя типа ученической периодики.

Литература

1. Мурзаев В. Техника школьного журнала // Русская школа. 1913. № 7–8.
2. Смирнов С. Ученические журналы и сборники // Вестн. воспитания. 1901. № 6–9.
3. Ученические журналы // Русская школа. 1901. № 12, отд. 2. С. 113.
4. Крайнева Н.И. Рукописные журналы и газеты учебных заведений дореволюционной России // Народное образование и педагогическая мысль России кануна и начала империализма (малоисследованные проблемы и источники). М., 1980.
5. Бессонов В.А. Нелегальные ученические библиотеки и издания в период революции 1905–1907 гг. // Центральный музей Революции: Музейное отражение роли культуры в условиях социализма: науч. тр. М., 1990.
6. Богословский П.С. О журналах пермских учащихся недавнего прошлого // Кунгурско-Красноуфимский край. 1925. № 8–10.
7. Копылов Д.И. Нелегальные рукописные журналы тобольской учащейся молодежи в годы первой русской революции // Земля Тюменская: сб. Тюм. обл. краевед. музея. Вып. 4. Тюмень, 1965.
8. Крайнева Н.И. Рукописные журналы и газеты XIX – 1-й четверти XX вв. // Проблемы источниковедческого изучения рукописных и старопечатных фондов: сб. научн. тр. Л., 1980. Вып. 2. С. 51–62.
9. Месеняшин И. Ученические журналы в годы первой русской революции // Народное образование. 1975. № 12.
10. Петряев Е.Д. Рукописная журналистика Сибири и Урала // Сиб. огни. 1968. № 9.
11. Еремин А.Т. Мировосприятие провинциальных гимназистов в начале XX в. (по материалам рукописного журнала «Школьные досуги») // Вестн. РГГУ. 2013. № 10 (111). С. 18–43.
12. Ляровский А.Б. Школьные рукописные журналы и газеты конца XIX – начала XX века как фактор социализации // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2013. Вып. 2(22). С. 117–125.
13. Селедцова В.Н. Ученические издания XIX – первой трети XX века как средство развития творческих способностей учащихся: дис. ... канд. пед. наук. Смоленск, 2003.
14. Рушанин В.Я. Печатные и рукописные издания Уральской учащейся молодежи в 1859–1917 годах. Челябинск, 2011.
15. Рушанин В.Я. Журналы и газеты учебных заведений Урала (вторая половина XIX – начала XX веков) // Вестн. ЮУрГУ. 2012. № 10 (269). Сер. Социально-гуманитарные науки, вып. 18.
16. Леденева Ж.А. К истории гимназической журналистики (по материалам российских педагогических журналов XIX – начала XX в.) // Вестн. ВГУ. Сер.: Филология. Журналистика. 2010. № 1. С. 144–149.
17. Борисов С.Б. Самодельные журналы учащихся // Живая старина. 2001. № 4. С. 26–29.
18. Поздеев В.А. Рукописные журналы семинаристов начала XX века // Живая старина. 2001. № 4. С. 19–22.
19. Балашова Ю.Б. Школьная журналистика Серебряного века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 114 с.
20. Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере специальных журналов). Иркутск, 1985. 95 с.
21. Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959). Ч. 1. Журналы. Продолжающиеся издания. Новосибирск: ГПНТБ, 1972.
22. Косых Е.Н., Яковенко А.В. Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века – февраль 1917 г.): Сводный указатель периодических и продолжающихся изданий. Томск: Ветер, 2011. 376 с.
23. Газанджиев С.Г. Постоянные компоненты газеты и журналы // Дизайн периодических изданий. М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 20.
24. Муратов П.Д. Изобразительное искусство Томска // Изобразительное искусство Сибири. Персональный сайт одного из ведущих искусствоведов Сибири Павла Дмитриевича Мура-

това [Электронный ресурс]. URL: http://www.pdmuratov.org/iso_tomska/5_iso_tomska_obschestvo_1_h.html

25. Маслова И.Е. Первое сибирское коммерческое училище // Государственный архив Томской области. Публикации [Электронный ресурс]. URL: <http://gato.tomica.ru/publications/region/archive1990-1999/1992maslova8>

THE MAGAZINE *TOVARISHCH* (1911–1912): AN EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF A TYPOLOGICAL MODEL OF A PERIODICAL FOR PUPILS IN TOMSK JOURNALISM AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 139–153. DOI: 10.17223/19986645/44/10

Nataliya V. Zhilyakova, Vyacheslav V. Shevtsov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: retama@yandex.ru / totleben@yandex.ru

Keywords: type of publication, periodical for pupils, Siberian pre-revolutionary journalism.

The purpose of this article is to identify the typological specifics of the amateur pre-revolutionary magazine *Tovarishch* [Comrade] published by pupils of the First Siberian Commercial School in Tomsk in the 1911/1912 academic year. This unexplored edition is first given a research reflection.

The article presents a brief history of research of pupil publications, discusses the reasons why student periodicals of Tomsk rarely become the subject of research. The initial description of the content and design of the magazine *Tovarishch* is made, the features of the magazine cover are specified, the topics and blocks of publications are analyzed. The study of the materials makes it possible to identify the main functions that the magazine performed: informative, recreational, educational, but mostly it was the function of personality's creative self-realization.

The comparative analysis of the Tomsk magazine and pupil publications that appeared in the Russian capitals and cities of European Russia identified both common, characteristic of all Russian pupil magazines, and distinctive features that the Tomsk *Tovarishch* had. The magazine had typological features of pupil publications that researchers found: it was published by the pupils of senior classes of the First Siberian Commercial School in Tomsk, it was intended for a narrow audience interested in information related to the education and leisure of pupils. The magazine was called to implement the functions of informing, teaching, creative realization of pupils. *Tovarishch* combined the features of a literary almanac, an illustrated magazine and an academic publication, contained literary, journalistic, entertaining, educational and scientific genres. Like other pupil magazines, it reflected both the academic and the extracurricular lives of young people. The magazine was similar to the all-Russian editions not only in the genre and typology, but also in topics.

A specific feature of the magazine is the lack of information on the participation of teachers in *Tovarishch*, while joint activities of pupils and teachers were characteristic of the early 20th-century editions. The magazine had no publication program, no editorial article, which would make it possible to determine its goals and objectives more precisely.

The analysis of the features of the content and design of the magazine allows concluding that the publishers had done some work on the determination of the concept of the publication, its typological model. This model fit organically into the typological set of numerous publications for pupils existing in Russia, but for Tomsk it was pioneering and somewhat experimental: a school first published its own pupil magazine that did not repeat magazine models existing in Tomsk. The magazine allowed pupils, a new social stratum, to express themselves as publishers and authors.

References

1. Murzaev, V. (1913) Tekhnika shkol'nogo zhurnala [School magazine technique]. *Russkaya shkola*. 7-8.
2. Smirnov, S. (1901) Uchenicheskie zhurnaly i sborniki [Pupil magazines and collections]. *Vestnik vospitaniya*. 6-9.
3. Russkaya shkola. (1901) Uchenicheskie zhurnaly [Pupil magazines]. *Russkaya shkola*. 12:II. p. 113.
4. Kravneva, N.I. (1980) Rukopisnye zhurnaly i gazety uchebnykh zavedeniy dorevolutsionnoy Rossii [Handwritten magazines and newspapers of educational institutions of pre-revolutionary Russia]. In: Dneprov, E.D. (ed.) *Narodnoe obrazovanie i pedagogicheskaya mysl' Rossii kanuna i*

nachala imperIALIZMA (maloissledovannyye problemy i istochniki) [Public education and pedagogical thought of Russia of the eve and the beginning of imperialism (little explored problems and sources)]. Moscow: NIIOF.

5. Bessonov, V.A. (1990) Nelegal'nye uchenicheskie biblioteki i izdaniya v period revolyutsii 1905-1907 gg. [Illegal student libraries and publications during the revolution of 1905–1907]. In: *Muzeynoye otrazhenie roli kul'tury v usloviyakh sotsializma. Nauchnye trudy* [Museum reflection of the role of culture in the conditions of socialism. Research works]. Moscow: Tsentral'nyy muzey Revolyutsii.

6. Bogoslovskiy, P.S. (1925) O zhurnalakh permskikh uchashchikhsya nedavnego proshlogo [About Perm pupil magazines of the recent past]. *Kungursko-Krasnoufimskiy kray*. 8-10.

7. Kopylov, D.I. (1965) Nelegal'nye rukopisnye zhurnaly tobol'skoy uchashcheysya molodezhi v gody pervoy russkoy revolyutsii [Illegal handwritten magazines of Tobolsk pupils during the first Russian revolution]. *Zemlya Tyumenskaya*. 4.

8. Krayneva, N.I. (1980) Rukopisnye zhurnaly i gazety XIX – 1-y chetverti XX vv. [Handwritten magazines and newspapers of the 19th – first quarter of the 20th centuries]. In: *Problemy istochnikovedcheskogo izucheniya rukopisnykh i staropechatnykh fondov* [Problems of source study of manuscripts and early printed funds]. Vol. 2. Leningrad: Iskusstvo.

9. Mesenyashin, I. (1975) Uchenicheskie zhurnaly v gody pervoy russkoy revolyutsii [Pupil magazines during the first Russian revolution]. *Narodnoye obrazovanie*. 12.

10. Petryaev, E.D. (1968) Rukopisnaya zhurnalistika Sibiri i Urala [Handwritten journalism of Siberia and the Urals]. *Sibirskie ogni*. 9.

11. Eremin, A.T. (2013) The Mentality of Provincial Gymnasium Students in early XX century (On the Basis of the Hand-written Journal "School Leisure Activities"). *Vestnik RGGU – RSUH/RGGU Bulletin*. 10 (111). pp. 18–43. (In Russian).

12. Lyarskiy, A.B. (2013) School handwritten journals and newspapers of the late XIX – early XX centuries as a factor of socialization. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya Istoriya – Perm University Herald. History*. 2(22). pp. 117–125. (In Russian).

13. Seledtsova, V.N. (2003) *Uchenicheskie izdaniya XIX – pervoy treti XX veka kak sredstvo razvitiya tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya* [Pupil editions of the 19th – first third of the 20th centuries as a means of development of creative abilities of pupils]. Pedagogy Cand. Diss. Smolensk.

14. Rushanin, V.Ya. (2011) *Pечатnye i rukopisnye izdaniya Ural'skoy uchashcheysya molodezhi v 1859-1917 godakh* [Printed and handwritten editions of the Ural pupils in 1859–1917]. Chelyabinsk: Chelyabinsk Academy of Culture and Arts.

15. Rushanin, V.Ya. (2012) Journals and newspapers of educational institutions of Ural (the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries). *Vestnik YuURGU. Seriya "Sotsial'no-gumanitarnyye nauki" – Bulletin of South Ural State University. Social Sciences and the Humanities*. 10 (269):18. (In Russian).

16. Ledeneva, Zh.A. (2010) K istorii gimnazicheskoy zhurnalistiki (po materialam rossiyskikh pedagogicheskikh zhurnalov XIX – nachala XX vv.) [On the history of gymnasium journalism (based on the Russian pedagogical journals of the 19th – early 20th centuries)]. *Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – Vestnik VSU. Series: Philology. Journalism*. 1. pp. 144–149.

17. Borisov, S.B. (2001) Samodeyatel'nye zhurnaly uchashchikhsya [Amateur magazines of pupils]. *Zhivaya starina*. 4. pp. 26–29.

18. Pozdeev, V.A. (2001) Rukopisnye zhurnaly seminaristov nachala XX veka [Handwritten magazines of seminarians of the beginning of the 20th century]. *Zhivaya starina*. 4. pp. 19–22.

19. Balashova, Yu.B. (2007) *Shkol'naya zhurnalistika Serebryanogo veka* [School journalism of the Silver Age]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

20. Akopov, A.I. (1985) *Metodika tipologicheskogo issledovaniya periodicheskikh izdaniy (na primere spetsial'nykh zhurnalov)* [The technique of typological research of periodicals (by example of specialized journals)]. Irkutsk: Irkutsk State University.

21. Gubkin, T.G. & Suvorov, A.V. (eds) (1972) *Svodnyy katalog periodiki Zapadnoy Sibiri (1789–1959)* [The union catalog of periodicals in Western Siberia (1789–1959)]. Vol. I. Novosibirsk: GPNTB.

22. Kosykh, E.N. & Yakovenko, A.V. (2011) *Povremennaya pechat' Sibiri (vtoraya polovina XIX veka – fevral' 1917 g.): Svodnyy ukazatel' periodicheskikh i prodolzhayushchikhsya izdaniy* [Time-based printing of Siberia (the second half of the 19th century – February 1917): Composite index of periodicals and publications]. Tomsk: Veter.

23. Gazandzhiev, S.G. (2000) Postoyannye komponenty gazety i zhurnaly [Constant components of newspapers and magazines]. In: Lazarevich, E.A. (ed.) *Dizayn periodicheskikh izdaniy* [Periodicals design]. Moscow: Moscow State University.
24. Muratov, P.D. (n.d.) *Izobrazitel'noe iskusstvo Tomska* [Fine Arts of Tomsk]. [Online] Available from: http://www.pdmuratov.org/iso_tomska/5_iso_tomska_obschestvo_1_h.html.
25. Maslova, I.E. (1992) *Pervoe sibirskoe kommercheskoe uchilishche* [The first Siberian Commercial College]. [Online] Available from: <http://gato.tomica.ru/publications/region/archive1990-1999/1992maslova8>.

УДК 070.4(430)“17-18”

DOI: 10.17223/19986645/44/11

А.А. Серебряков, О.И. Лепилкина, С.В. Серебрякова

**«BERLINER ABENDBLAETTER» ГЕНРИХА ФОН КЛЕЙСТА
В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ: К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В ГЕРМАНИИ**

В статье рассматриваются варианты формирования профессиональной немецкой журналистики на рубеже XVIII–XIX вв. На широком эпистолярном материале анализируется редакторская деятельность выдающегося немецкого писателя Генриха фон Клейста, история его взаимоотношений с прусскими властями и цензурой. Представлены результаты исследования типологической специфики и контента издаваемой им региональной ежедневной газеты «Berliner Abendblaetter». Делается вывод о ее принадлежности «издательско-редакторским газетам».

Ключевые слова: история немецкой журналистики XVIII–XIX вв., «издательские» газеты, «издательско-редакторские» газеты, «Berliner Abendblaetter», Г. фон Клейст.

В истории немецкой журналистики вторая половина XIX в., особенно 1880-е гг., часто осознается в качестве периода становления журналистики как самостоятельной профессии [1]. При этом учитываются такие внешние индикаторы, как статистические данные занятости и финансов, структура, содержание газетных статей, специфичность регулирующих механизмов, возникновение и формирование профессиональных сообществ. Если же в качестве индикатора считать ориентированное на принцип публичности (Oeffentlichkeit) и идею профессиональной независимости *самосознание*, то очевидно, что процесс профессионализации журналистики начинался гораздо раньше: в Англии на рубеже XVII–XVIII вв. с политической публицистики Дж. Свифта, Д. Аддисона и Д. Дефо; в Германии – в конце XVIII – первой трети XIX в.

Предметом рассмотрения в данной статье являются характерные для немецкой журналистики рубежа XVIII–XIX вв. тенденции, свидетельствующие о формировании представлений о журналистской деятельности как самостоятельном, профессиональном виде социальной практики, рассматриваемые на примере журналистской деятельности Генриха фон Клейста (1777–1811).

Дитер Баумерт в 1928 г., рассматривая методологические основания развития немецкой журналистики, предложил наряду с «преджурналистским» этапом, продолжавшимся примерно до середины XVI в., выделять три самостоятельных периода: период «корреспондирующей» журналистики – примерно до середины XVIII в.; период «писательской» (schriftstellerisch) журналистики – до 1848 г., и, наконец, длящийся с этого времени период «редакторской» (redaktionell) журналистики [2]. Если предложенную Баумертом схему рассматривать не как механически сменяющие друг друга фазы, а как взаимодействующие и изменяющиеся, доминирующие на определенном ис-

торическом отрезке, то на нее вполне можно опираться в исследованиях как ранних, так и современных этапов редакторской журналистики. Под «корреспондентской» журналистикой Баумерт понимал нахождение, собирание и опубликование полученных преимущественно из письменных источников известий или даже слухов. В этом смысле «журналистами» могли выступать почтальоны, печатники, которые полученные тем или иным образом сведения накапливали и публиковали без какой-либо редакционной правки. Оценка сведений, рассуждения о значимости и содержании информации в таких газетах (*Avisenzeitungen*) полностью отсутствовали, будь то вследствие низкой профессиональной квалификации «редакторов» или строгости цензуры. Тем интенсивнее, однако, они проявлялись в приходящих на смену «писательских» газетах.

Для столетия с 1750 г. по 1850 г. такое разделение на два типа изданий представляется логичным [3]. Однако более обоснованно, на наш взгляд, рассматривать периодические издания как издательские и издательско-редакторские. Такое разграничение основывается прежде всего на сравнительно ясном признаке ответственности за издание (в функции издателя входило прежде всего организационное и финансово-техническое обеспечение выпуска изданий; издатель-редактор наряду с этим отвечал за идеологическую и творческую часть) и позволяет избегать возникающих имплицитных оценочных смыслов, например, при использовании таких номинаций, как «*Schriftstellerzeitung*» или «*Individualzeitung*». К тому же такая дифференциация дает возможность не вдаваться в детальные различия между такими типами периодических изданий, как «*Zeitung*» (газета) и «*Zeitschrift*» (журнал), неактуальные для Германии конца XVIII в. Периодичность выхода, которая является значимым критерием для их разграничения, для того исторического периода не показательна, поскольку многие издания, которые по формату и содержательному наполнению следовало бы определять как «*Zeitung*», выходили реже, чем часть изданий, которые по объему и содержанию публикуемых статей скорее приближались к «*Zeitschrift*». Современники использовали эти обозначения почти как полные синонимы (см.: [4]).

Для газет, обозначаемых как «издательские» (*Verlegerzeitung*), первостепенной задачей всегда оставалось сохранение финансовой основы и тем самым возможности их дальнейшего существования. Невероятная жизнеспособность не только таких газет, как «*Vossische Zeitung*», «*Koenigsberger Zeitung*», «*Leipziger Zeitung*», «*Magdeburgische Zeitung*», «*Schlesische Zeitung*», но и гораздо менее известных, издававшихся в маленьких провинциальных городках, объяснялась тем, что из поколения в поколение они находились во владении одних и тех же издательских семейств, которые преследовали главным образом извлечение экономической выгоды и поэтому стремились к сохранению издаваемых газет. В сравнении с выпускаемыми или редактируемыми такими публицистами, как В.Л. Векрлин, Й. Гёррес, И. Вирт, изданиями этот тип газет доставлял современникам довольно пресную пищу. Таким образом, не может быть никакого сомнения, что интеллектуальное содержание «издательско-редакторских» газет во всех отношениях было неизмеримо выше, чем у «издательских». Этим объясняется и тот факт, что первым доставалось несравненно больше внимания в научной ли-

тратуре. Однако несмотря на то, что «издательско-редакторским» газетам приписывалось гораздо большее значение в процессе формирования общественности и общественного мнения (*Oeffentlichkeit*), «издательские» газеты сыграли не меньшую роль в возникновении и распространении собственно профессии журналиста. Освобождение от непосредственных экономических проблем хотя и не исключало полностью обязательства выполнять во многом экономически обусловленные требования издателя, но тем не менее позволяло заниматься журналистикой уже профессионально. На такой почве и возникла «издательско-редакционная» журналистика, которую Баумерт относил только к середине XIX в., но которая фактически, пусть и медленнее, чем в Англии или Франции, появилась уже с конца XVIII в. и особенно ускоренно развивалась после революционных событий 1830 г.

Как «издательско-редакторские» газеты рассматривались все те издания, которые начиная от «*Deutscher Merkur*» Х.М. Виланда, «*Deutsche Chronik*» Х.Д. Шубарта, «*Journal von und fuer Deutschland*» Г. фон Гёкингка через «*Rheinischer Merkur*» Й. Гёппеца, «*Nemesis*» Г. Лудена вплоть до «*Westboten*» Ф. Зибенпфайфера, «*Deutsche Tribuene*» И. Вирта, «*Telegraph fuer Deutschland*» К. Гуцкова организационно, финансово, идеологически являлись неразрывным целым с именем их основателя-редактора. Они были, как правило, недолговечны. Единоличный редактор – или в некоторых случаях коллективный – нес всю полноту ответственности за все аспекты предприятия. Именно редактор в случае угрозы закрытия принимал решение об изменении идейного содержания издания. В случае же реального закрытия имелась возможность переноса его печатания в другое немецкое государство, как, например, это дважды делал для сохранения издания йенский профессор медицины Лоренц Окен, научный журнал которого «*Isis*», основанный в 1816 г., подлежал закрытию в соответствии с Карлсбадскими соглашениями. Однако это удалось ему только потому, что он отказался от освещения политических вопросов в пользу естественных наук. Нечто аналогичное (правда, безуспешно) пытался предпринять и Л. Бёрне. Однако гораздо чаще, чем от административных запретов, в Германии подобные единоличные газетно-журнальные предприятия прекращали существование из-за очевидного недостатка финансовых ресурсов, как наглядно показала редакторская деятельность Клейста.

В истории немецкой культуры немало великих писательских имен, оказавших влияние на становление и развитие всей европейской журналистики, публицистики, издательского дела. К их числу принадлежат М. Лютер и Т. Мюнцер, Г.Э. Лессинг и И.Г. Гердер, И.В. Гёте и Ф. Шиллер, позднее – Г. Гейне, Г. Веерт, Т. Фонтане, братья Т. Манн и Г. Манн, Л. Фейхтвангер, Г. Бёлль. В этом далеко не полном ряду блестящих имен достойное место должно принадлежать и Генриху фон Клейсту, в творчестве, жизни и самой смерти которого в полной мере проявилась судьба немецкого гения, не признанного своими великими современниками и не сумевшего пережить трагизм поражения Германии в войне с Наполеоном. Если, несмотря на уничтожительную оценку великого Гёте, снисходительное одобрение Брентано, Клейст-поэт признаётся как активный и деятельный представитель немецкой литературы, то Клейст-журналист почти неизвестен русскому читателю.

В отечественной германистике представления о журналистской и редакторской деятельности Клейста, как правило, отрывочны и противоречивы. Так, в академической «Истории немецкой литературы» просто утверждается: «Ближайшие годы после освобождения из французской тюрьмы (1808–1811) заполнены литературной деятельностью и борьбой против иностранных оккупантов. Вместе с Мюллером Клейст издаёт журнал «Феб» («Phoebus»), в котором печатает отрывки из своих новых произведений, а затем «Берлинскую вечернюю газету» (Berliner Abendblaetter), отличающуюся националистической тенденцией» [5. С. 180]. Н.Я. Берковский пишет более объективно: «В 1810 году под главенством Клейста выпускается антифранцузский «Берлинский вечерний листок»... просуществовавший недолго из-за равнодушия читателей. Хотя как публицист и журналист Клейст остался почти без отклика, тем не менее, опыты его в этой области полны остроты и энергии, он здесь был на редкость инициативен и изобретателен, умел оживлять свой репертуар» [6. С. 398]. В контексте событий гражданской, политической и культурной истории оценивает деятельность Клейста-журналиста известный историк немецкой журналистики Г.Ф. Вороненкова: «Наполеон, оккупировавший немецкие земли, после официального введения цензуры во Франции в 1810 г. ужесточил цензурную регламентацию прессы и в Германии. <...> Декреты 1810 г. и дополнения 1811 г. ввели строгие цензурные правила, окончательно отобравшие у немецкой печати самостоятельность. Указом императора предписывалось сокращение количества газет, издаваемых в каждом департаменте Французской империи, – до одной. <...> То, что это возымело действие и на оккупированных территориях, доказывает следующий пример: правительство Пруссии запретило газету, издаваемую Генрихом фон Клейстом «Berliner Abendblaetter» («Берлинские вечерние листки»). В Пруссии и в Австрии периодические издания были вынуждены воздерживаться от политических комментариев, ставивших под угрозу само существование издания. Печать была обречена на развлечение читателя лёгким, поверхностным чтением» [7. С. 75]. Г.Ф. Вороненкова констатирует, таким образом, что условия для функционирования и развития периодических изданий во времена Клейста были неблагоприятными как из-за противодействия оккупационных властей, так и из-за трусливой внутренней политики немецких правителей, и эти факторы в полной мере проявились в журналистской судьбе Клейста.

В целом журналистская деятельность отвергнутого современниками (и прежде всего законодателем немецкого театра самим Гёте) Клейста-драматурга, не чуравшегося и журналистской работы, и ныне на периферии исследовательских интересов. Изучение в течение почти двух столетий наследия Клейста почти ничего не прибавило к распространённым – и неверным – представлениям о Клейсте-редакторе и фактически единственном корреспонденте «Abendblaetter», кроме расхожего мнения, будто это всего лишь работа ради хлеба насущного одержимого идеей смерти Клейста. Исследователи пролистывали страницы его газеты только в поисках его художественных текстов. И таковых нашлось немало; уже первый номер начинался «Молитвой Зороастра»: «Пройми же меня всего, от головы до пят, чувством беды, которой болен этот век. И разумением всей подлости, всей половинчатости, всей неправды и всего лицемерия, которые тому причиной» [8. С. 508].

А.В. Карельский справедливо отмечал, что молитва имеет характер «программного кредо Клейста и как писателя, и как издателя газеты» [8. С. 538]. «Молитву следует рассматривать во взаимосвязи с написанной годом ранее сатирической статьёй «Учебник французской журналистики» и «Катехизисом для немцев» с характерным подзаголовком «abgefasst nach dem Spanischen zum Gebrauch fuer Kinder und Alte», направленными на пробуждение идеи борьбы с французской оккупацией. Своих соотечественников Клейст характеризует как бездуховных индивидуалистов: «Что им дороже всего, что они любят непомерной и нечистой любовью? – Деньги и имущество. Об них они хлопочут в поте лица своего, так что поистине жалко на них смотреть, и полагают, что спокойная, уютная и беззаботная жизнь есть все, к чему надобно стремиться на свете» [9. С. 151]. В последующих номерах газеты были опубликованы новеллы «Локарнская нищенка», «Святая Цецилия, или Власть музыки», эссе «О театре марионеток». Прусские придворные круги не препятствовали журналистской деятельности Клейста, пока она, хоть и опосредованно, совпадала с интересами прусской монархии.

В настоящее время история возникновения и существования газеты «Berliner Abendblaetter» («Берлинский вечерний листок») достаточно известна: «первая ежедневная газета Берлина» [7. С. 82] была региональным изданием, выходила на протяжении шести месяцев, с 1 октября 1810 г. по 30 марта 1811 г., ежедневно, кроме воскресенья, в скромном четырёхполосном варианте небольшого формата и не очень высокого качества печати. Клейст, до этого времени имевший опыт сотрудничества с Адамом Мюллером в журнале «Феб», публиковал самые различные тексты, например новеллы, анекдоты, рецензии, местные новости, а до 31 декабря 1810 г. и выдержки из ежедневных донесений берлинской полиции, т.е. ориентировался на самую широкую читательскую аудиторию. Большая часть публикаций принадлежала перу самого редактора, который основательно редактировал и немногочисленные присылаемые материалы, и информационные сообщения из других периодических изданий. Таким образом, данная газета обнаруживает признаки «издательско-редакторской».

Как оказалось, первоначальный успех был кратковременным – и из-за ужесточённых цензурных условий, и из-за конфликтов с партнёрами или сотрудниками. Так, спустя всего три месяца отказался печатать газету и поддерживать Клейста финансово Юлиус Хитциг, сделавший завидную служебную карьеру в прусском юридическом ведомстве, литератор, издатель, успешный основатель специальных юридических журналов. К этому его побудили материальные причины и политическая осторожность. Клейст в письме к В. Рёмеру от 17 декабря 1810 г., прося об авансе в 50 талеров и предлагая ему взять на себя после отказа Хитцига обязанности по печатанию газеты, наивно продолжал верить в «надёжность и дальнейшие перспективы предприятия» [10. С. 466–467].

В последнем, 76-м, номере Клейстом была помещена редакционная заметка следующего содержания: «Причины, которые здесь в подробностях не могут быть изложены, побуждают меня этим номером прекратить издание газеты. Читательской публике в другом месте будет представлен обзорный очерк реальных причин в сопоставлении с очевидно предполагаемыми, вкпе

с исторической диспозицией, возможными расхождениями. Г. фон К.» (перевод наш) [11. С. 304].

Анализ информационной политики издания показал, что Клейст делал его универсальным по содержанию, что было закономерно в условиях оккупационного режима и строгой цензуры. Так, в 30-м номере от 30 ноября 1810 г. на первой странице помещалось стихотворение издателя и главного редактора «Легенда в манере Ганса Сакса, далее иронически сообщалось о «странном недосмотре» в королевском национальном театре, когда после «единственной серьезной оперы в мире», «Ифигении в Тавриде» Глюка, всё же ставятся танцы из балета «Оперный портной» для «великого», хотя и «не ожидаемого публикой увеселения» [11. С. 121]. Затем размещались две морализаторские эпиграммы сотрудника газеты Карла фон Вольтманна, а за ними – самая важная часть издания – рубрика «Miscellen» («Смесь»), в которой Клейст публиковал в том числе любопытные политические факты из немецких и иностранных газет, доступ к которым в тех условиях имели очень немногие. В качестве источников актуальной информации Клейст использовал около пятидесяти газет: берлинскую «Vossische Zeitung», гамбургскую «Privilegierte Liste der Boersen-Halle», парижскую «Moniteur Universel», нюрнбергскую «Korrespondent von und fuer Deutschland», швейцарские и многие периодические издания ближайших немецких городов.

Для успокоения французской военной цензуры в рубрике «Смесь» были сведения из светской хроники о том, что графиня де Монтескье назначена воспитательницей императорских детей, помещалась заимствованная из номера «Korrespondenten von und fuer Deutschland» от 16 марта 1811 г. курьёзная информация: «В Париже ныне показывают десятилетнего ребёнка, весящего 240 фунтов; немало, если только его кое-где не утяжелили свинцом» [11. С. 288]. Склонность к подобным грубоватым кунштштюкам придаёт особое своеобразие журналистской манере Клейста и напоминает знатокам его творчества аналогичные пассажи в драматургии, новеллистике, анекдотах, которые, «корреспондируя с «большими текстами», придают динамизм национальному литературному процессу, попеременно выступая в качестве текстов-реципиентов и интерпретирующих текстов» [12. С. 168].

Другую информационную нагрузку несли политические известия, например небольшое сообщение, публикуемое из осторожности со ссылкой на «Privilegierte Liste der Boersen-Halle»: «В Российской империи в ближайшее время будет произведён чрезвычайный рекрутский набор» [11. С. 122]. Такая информация в 1810 г. явно отдавала если не бунтом, то неповиновением.

Рубрика «Смесь» заставляет задуматься над вопросом, как должен вести себя журналист, работающий в условиях иностранной оккупации и желающий публиковать в обход цензуры всё, на его взгляд, самое важное. Испытанный в истории метод: он публикует два агентурных сообщения: одно неприятное для властей и здесь же другое – смягчающее смысл первого – для цензуры. Аналогичным образом действовал и Клейст. Так, он поместил на первый взгляд безобидное, однако наполненное духом сопротивления оккупационным властям сообщение: «Из частных источников в Париже известно, что генерал Ренье отеснён превосходящими силами противника от португальской границы и вынужден был отступить, понеся значительные

потери» [11. С. 122]. А рядом, чтобы не навлекать гнев военной цензуры, разместил информацию со ссылкой на официальное французское издание: «Moniteur от 24 октября опубликовал два письма дивизионного генерала Друэ... об удачном продвижении императорских войск в Португалии» [Там же]. Для многих страдающих от бремени оккупации немцев, умеющих сопоставлять информацию из независимых и официальных источников, в этих сообщениях брезжил луч надежды на освобождение. С современной точки зрения Клейст достаточно уравновешенно информировал читателей о боях между Веллингтоном и французским маршалом Массеной, но и эта «уравновешенность» в конечном счёте не уберегла его от преследований военной цензуры. Нашёлся человек, который ясно понимал содержащийся в такой подаче материала дух бунтарства и неповиновения: уже в первый день выхода газеты Клейста французский посланник принёс протест прусскому министру иностранных дел графу фон дер Гольцу в связи с выходом нелояльного издания.

Однако в первое время дела у редактора «Berliner Abendblaetter» внешне складывались вполне благополучно. Он был дружен с влиятельным полицей-президентом Берлина фон Грунером, и для этого были основания: редактор Клейст уже в специальном выпуске, предварявшем первый номер нового издания [11. С. 5], поместил хвалебное, в духе XVII в., обширное посвящение главе полицейского ведомства Берлина: «Президентом Королевской полиции, господином Грунером, который поддерживает всякое общественно полезное мероприятие со всевозможной благосклонностью и готовностью, мы поставлены в положение в подобных специальных выпусках, так же, как и в первом, безотлагательно, подробно и достоверно сообщать обо всём, что происходит в городе и его окрестностях с точки зрения полиции диковинного и интересного» [Там же]. Действительно, Клейст часто, особенно в первых номерах газеты, использовал материал ежедневных и еженедельных донесений берлинской полиции. Местная проблематика, безусловно, способствовала привлечению внимания читателей.

Вскоре, однако, возник закономерный и заурядный для Пруссии и Германии конфликт между обер-полицейским и поэтом, который еще в 1799 г. добровольно, а главное в нарушение незыблемых семейных традиций, совершил немыслимый по тем временам поступок – снял с себя форму прусского лейтенанта, чтобы стать студентом и писателем. Грунер как представитель власти предупреждал Клейста о необходимости строгого соответствия цензурным правилам, а тот уже в следующем номере «успокаивал» насторожившееся начальство явно иронически поданным известием, которое его противники должны были воспринимать как опровержение: «Стало известно, что прибывший в минувший четверг в Берлин французский курьер опроверг слух, согласно которому французские войска в Португалии понесли потери, и, наоборот, передал известие о победе» [11. С. 126].

Следует сделать небольшое дополнение, на которое не обращает внимания никто из исследователей «Berliner Abendblaetter», но которое характеризует Клейста как политически искушенного и безупречного с позиции профессиональной этики одновременно: Клейст-редактор не забывал о коллегах-журналистах, которым он был обязан информацией и которых он своей пере-

печаткой мог поставить в затруднительное положение. Так, 5 декабря 1810 г., т.е. спустя месяц после протеста французского посланника, Клейст с большим достоинством поместил в самом начале информационной полосы, названной «*Bulletin der oeffentlichen Blaetter*», сообщение, которое уже тогда было понятно очень немногим (но очень понятно французскому цензурному начальству) и которое может восприниматься как акт оппозиционности и политического диссидентства. Клейст очень смело для наводнённой секретными агентами Наполеона Пруссии опубликовал сообщение, маскируя его с помощью ссылки на источник под безобидную цитату из иностранного издания: «Издатель «*Schweizerische Nachrichten*» из-за публикации статьи Беленца, касающейся кантона Тессин, заключён в тюрьму» [11. С. 226]. Таким способом Клейст старался защитить своего информанта, ведь первое сообщение (о поражении наполеоновской армии в Португалии) он взял из выходившей в Берне «*Gemeinnuetzige Schweizerische Nachrichten*».

Непродолжительная история издательской деятельности Клейста – это история непрекращающегося противостояния с прусскими цензорами, сталкивавшими Клейста в финансовую пропасть. Поистине трогательны и беспомощны попытки жившего в мире высоких иллюзий и возвышенных страстей поэта справиться или хотя бы на время избавиться от вполне материальных повседневных тягот, связанных с издательским производством и унижительным «добыванием» средств к существованию. Тема денег, вернее их отсутствия, становится особенно характерной в переписке Клейста в последние годы жизни, особенно накануне открытия и закрытия газеты. Обращаясь к своему другу, книготорговцу Георгу Реймеру, 13 августа 1810 г, Клейст вынужден просить денег: «Мой любезный друг, настали плохие времена; я знаю, что много дать Вы не сможете, но дайте хоть сколько-нибудь, я буду всем доволен, только дайте скорее» (перевод наш) [10. С. 450]. Та же просьба и в написанном два дня спустя письме к книготорговцу И. Зандеру: «Не могли бы Вы, дорогой друг, сообщить, когда я могу получить гонорар? И мог ли бы я получить сразу?.. Вышлите мне так много или так мало, сколько пожелаете; я буду рад всему» (перевод наш) [10. С. 450]. 4 сентября того же года в письме к уже упоминавшемуся Г. Реймеру Клейст снова просит денег: «Мой добрый друг Реймер, я прошу денег, если только Вы можете дать; мой кошелёк пуст» (перевод наш) [10. С. 452].

Начиная с декабря 1810 г. в письмах Клейста всё более явственно обозначается тема преследования и организованной травли со стороны правительства. Показательно в этом отношении письмо к Реймеру от 12 декабря, в котором вновь сообщается о недостатке средств из-за тяжёлого состояния газеты: «...её разрушение организовано в полной мере, меня даже уведомили о запрещении информационной рубрики. Я намерен обратиться непосредственно к королю...» (перевод наш) [10. С. 454]. Письмо от 13 декабря 1810 г. к «высокородному господину правительственному советнику фон Раумеру» сообщает о якобы преодоленных в результате аудиенции у канцлера фон Гарденберга разногласиях с правительством – правительство в лице канцлера обещает финансовую поддержку – «как в начале предприятия поддержка г. президента полиции фон Грунера», а Клейст обещает, «что никакая другая информация, кроме соответствующей интересам Его превосходительства,

публиковаться не будет» (перевод наш) [10. С. 462–463]. Однако уже 13 февраля Клейст вынужден вновь обратиться к канцлеру фон Гарденбергу с достаточно подробными разъяснениями сложной и запутанной ситуации вокруг редактируемой им газеты. Для нас важную роль играет излагаемая Клейстом собственная оценка проблемы: «...такая наполовину министерская газета, которую я редактирую в соответствии с целями государственной канцелярии, никоим образом не может существовать без определённой поддержки посредством официальных дотаций. Реализация упала ниже среднего уровня» (перевод наш) [10. С. 469]. Предложения Клейста: «...или так обеспечить финансово в текущем году газету, чтобы были покрыты расходы моего книготорговца, или, если это не соответствует намерениям господина канцлера, правительство берёт на себя покрытие упомянутых ранее оспариваемых 1100 рейхсталеров...» (перевод наш) [10. С. 470]. Как оказалось, эта оживлённая переписка ни к чему не привела, и уже 21 февраля 1811 г. в письме к фон Раумеру Клейст открыто обвиняет этого высокопоставленного чиновника в «уничтожении газеты» («die Zugrundrichtung des Abendblatts») и предупреждает, что если тот по-прежнему будет разубеждать канцлера в справедливости претензий Клейста на возмещение понесённого ущерба, то Клейст «ещё до прекращения издания газеты, которое должно вот-вот последовать, опубликует всю историю вокруг газеты за границей» (перевод наш) [10. С. 472].

Советник ответил в тот же день посланием из четырёх пунктов – кратко и предельно ясно: « 3) Обсуждать с господином канцлером «За или против» у меня нет никаких поводов, так как проблема уже достаточно обсуждалась; более я не буду письменно реагировать на Вашу неправоту, потому как могу лучше использовать своё время; 4) Публикуйте то, за что сможете отвечать» (перевод наш) [10. С. 472].

Получив столь резкий отказ, Клейст на следующий же день, т.е. 22 февраля 1811 г., вновь обращается с пространном письмом к канцлеру, в котором снова напоминает, что «газету следует считать наполовину относящейся к министерству... и во всём, что касается законодательства и финансового управления, она находится под особым наблюдением министерства. И только абсолютно непосвящённый может утверждать, будто в вопросах издания я не был ограничен, потому как чрезвычайные меры, вынудившие меня полностью изменить дух газеты, слишком хорошо известны всем» (перевод наш) [10. С. 473]. В конце письма Клейст «покорнейше» напоминает о своём прошении относительно возмещения понесённого ущерба.

В этот же день, т.е. 22 февраля, Клейст сообщает фон Раумеру, что переслал канцлеру копию касающегося фон Раумера послания с просьбой не привлекать далее фон Раумера к рассмотрению ситуации вокруг газеты. Для нас важно утверждение Клейста, что фон Раумер во время их первой встречи предложил ему «денежное возмещение за соответствующую интересам правительства ориентацию газеты и возмещение убытков за неизбежное в таком случае снижение популярности издания» (перевод наш) [10. С. 474]. Клейст не хочет выглядеть в глазах канцлера лжецом и «в случае двусмысленного или неудовлетворительного ответа фон Раумера Клейст потребует сатисфакции, каковую и должен требовать человек чести» (перевод наш) [10. С. 474]. В итоге, как уже говорилось, редактируемая и издаваемая Клейстом газета

«Berliner Abendblaetter», несмотря на все его невероятные усилия, была закрыта 30 марта 1811 г. прусскими властями. Осознавал ли сам Клейст истинные причины и запущенные механизмы по удушению газеты? Развёрнутые ответы на этот вопрос можно найти в его письмах к другу Фуке и его королевскому высочеству Вильгельму Прусскому соответственно от 25 апреля и 20 мая 1811 г. Обращаясь к «любезнейшему Фуке», Клейст сообщает, что его удерживает в Берлине ожидание решения вопроса о возмещении ущерба, вызванного «подавлением газеты» (wegen Unterdrueckung des Abendblatts). Важнейшая мысль заключалась в следующих словах: «Канцлер посредством неслыханных и граничащих с произволом цензурных строгостей вынудил меня полностью изменить дух газеты в обсуждении общественных вопросов» (перевод наш) [10. С. 482].

В письме к светлейшему принцу Клейст прямо говорит о своём справедливом требовании о возмещении ущерба и рационально объясняет причины гонений на его газету, а именно: одна заметка о принципах государственной экономики не понравилась господину канцлеру [10. С. 486]. Здесь же Клейст вновь упоминает произвол властей в применении цензурных норм, порочную практику давления на прессу или её подкупа. Клейст как редактор и журналист настаивает на совершенно иных принципах: «...если бы мне было разрешено вести газету, основываясь на полной свободе мнений и уважении к закону, как это есть при либеральном порядке вещей» (перевод наш) [10. С. 487]. Далее Клейст прямо обвиняет власти и цензурное начальство в «грубейшем произволе, неслыханнейшем давлении на газету» [10. С. 487]. Примечательно, что по сравнению с неофициальным письмом к «любезнейшему Фуке» Клейст в послании к «милостивейшему принцу» употребляет характеризующие прусскую власть прилагательные «unerhoerte und ganz willkuerliche» в превосходной степени «die willkuerlichsten und unerhoertesten»: поэт явно не признаёт высшего авторитета власти.

Настойчивые требования Клейста о восстановлении справедливости, его стремление добиваться правды и нежелание остановиться в своих требованиях – всё это повторяет ситуацию из его же исторической повести «Михаэль Кольхаас». Конец почти один и тот же: через полгода, 21 ноября 1811 г., Клейст застрелился.

Это была настоящая война без каких бы то ни было шансов на успех для Клейста: прусские власти играли с поэтом исключительно по своим правилам. О стойкости, гражданском мужестве Клейста, явно не сводимым к рутинной редакторской работе, и ныне почти не пишут. И сегодня многие исследователи читают его менее внимательно, чем французские цензоры почти двести лет назад.

Клейст издавал газету не ради хлеба насущного, а ради противостояния оккупационному режиму. Его «Берлинский вечерний листок» является важным свидетельством культурной, социальной и криминально-полицейской истории Берлина и представляет собой самостоятельное «произведение», содержательное уже подбором материала, расположением текстов сообщений. Безусловно, поучительно и для многих современных газет умение Клейста-редактора представлять читателям в течение долгих месяцев действительно волнующие и запутанно-комические сообщения – почти без комментариев –

как органические части истории родного города. Следует признать, что Клейст как редактор и журналист в высшей степени современен; это касается не только эмоционально-экспрессивных составляющих его стиля, но и профессионального умения выбирать и располагать материал на газетной полосе, обращаться с источниками информации, направлять внимание читателя посредством графических и шрифтовых выделений в тексте.

Подводя итоги, можно сказать, что редакторская деятельность Клейста позволяет зримо представить формирование в оккупированной Германии журналистики как социально ответственной практики, ориентированной на представление аудитории объективной информации, насколько возможно это было в тех подцензурных условиях.

Литература

1. Poettker H. The News Pyramid and its Origin from the American Journalism in the 19th Century // Hoyer S., Poettker H. (eds.). Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Goeteborg, 2005. S. 51–64.
2. Baumert D. Die Entstehung des deutschen Journalismus. Eine sozialgeschichtliche Studie. Neudruck. Baden-Baden, 2013. 186 S.
3. Brosda C. Diskursiver Journalismus: Journalistisches Handeln zwischen kommunikativer Vernunft und mediensystemischem Zwang. Wiesbaden, 2008. 429 S.
4. Welke M. Zeitung und Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert // Presse und Geschichte. Muenchen, 1977. S. 71–99.
5. История немецкой литературы: в 5 т. Т. 3. М., 1966. 587 с.
6. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. 568 с.
7. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества: Национальное своеобразие средств массовой информации Германии. М., 1999. 640 с.
8. Клейст Г. Избранное: Драмы. Новеллы. Статьи / пер. с нем.; вступит. ст. А. Карельского. М., 1977. 542 с.
9. Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992. 336 с.
10. Kleist H. von: Saemtliche Werke und Briefe in vier Baenden. Hrsg. von Ilse-Marie Barth u. a. Bd. 4: Briefe von und an Heinrich von Kleist 1793–1811. Hrsg. von Klaus Mueller-Salget u. Stefan Ormanns. Frankfurt a. M., 1997. (Bibliothek deutscher Klassiker. 122).
11. Berliner Abendblaetter. Hrsg. von Heinrich von Kleist / Nachwort und Quellenregister von Helmut Sembdner. Stuttgart, 1965. 338 S.
12. Серебряков А.А., Серебрякова С.В. Интертекстуальность как маркер взаимодействия индивидуально-авторских художественных систем // Вестн. Сев.-Кавказ. федерального ун-та. 2013. № 1 (34). С. 166–172.

HEINRICH VON KLEIST'S *BERLINER ABENDBLAETTER* IN THE CONTEXT OF THE EPOCH: ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL JOURNALISM IN GERMANY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 154–166. DOI: 10.17223/19986645/44/11

Anatoliy A. Serebriakov, Olga I. Lepilkina, Svetlana V. Serebriakova, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russian Federation). E-mail: aasereb@mail.ru / oll5@mail.ru / svetla.na@mail.ru

Keywords: history of journalism in Germany in 18th–19th cc., “publishing” newspapers, “publishing-editorial” newspapers, *Berliner Abendblaetter*, Heinrich von Kleist.

The article highlights the idea that there were two types of periodicals in Germany at the turn of the 19th c., each of which played a significant role in the formation of professional journalism. Those were publishing and publishing-editorial periodicals: the publisher was in charge of management and the financial and technical provision of issues, while the publisher-editor was in charge of the ideo-

logical and creative aspects as well. "Publishing" newspapers (Verlegerzeitung) were primarily focused on financial benefits; still they contributed to shaping journalism as a professional field.

Publishing-editorial newspapers played an important in shaping public opinion and the public in general (Oeffentlichkeit). The first daily newspaper in Berlin *Berliner Abendblaetter* [Berlin's Evening Sheet] (October 1, 1810 – March 30, 1811) edited by the poet Heinrich von Kleist was among them. It was a daily four-page tabloid. The majority of the published works were produced by Kleist, who also edited the few incoming works, texts from other periodicals and dispatches from Berlin police.

The study of the newspaper showed that under conditions of the occupation regime and strict censorship Kleist managed to make it universal by content. The most important part of the periodical was "Miscellen" [Miscellaneous], it featured political news from German and foreign newspapers which were in limited access due to the current conditions. It is revealed that Kleist published data distressing for the authorities, and gave information refuting these data. As a result, the French envoy delivered a protest against the non-loyal periodical to the Prussian Minister of Foreign Affairs.

In the beginning the business was going well. Kleist was on friendly terms with the Berlin policeman-president, referred to dispatches from Berlin police, which attracted the reader's attention. The court clerk and publisher Julius Hitzig funded the newspaper and printed it in his printing house. Some time later the authority-poet conflict arose. It was typical of Prussia and Germany as the poet was the medium of noble values and a true patriot. For that very reason the cautious Hitzig turned his back upon Kleist as well.

The study of Kleist's epistolary heritage reveals the story of his confrontation with censors, which resulted in financial losses. It is noteworthy that Kleist claimed that he was offered "money compensation for the opinion which was in line with government interests and for the decrease in popularity inevitable in that case". Since December 1810, the letters more and more often feature persecution on the part of the government. "The Chancellor by means of outrageous and almost lawless censorship made me change the spirit of the newspaper regarding public issues completely". Kleist insisted on different principles "based on the freedom of opinion and respect of law as it is supposed to be in a liberal way of things".

Thus, Kleist's *Berliner Abendblaetter* is an example of the formation of journalism as a socially responsible practice in the occupied Germany.

References

1. Poettker, H. (2005) The News Pyramid and its Origin from the American Journalism in the 19th Century. In: Hoyer, S. & Poettker, H. (eds) *Diffusion of the News Paradigm 1850–2000*. Goeteborg: NORDICOM.
2. Baumert, D. (2013) *Die Entstehung des deutschen Journalismus. Eine sozialgeschichtliche Studie* [The emergence of German journalism. A socio-historical study]. Reprint. Baden-Baden: Nomos.
3. Brosda, C. (2008) *Diskursiver Journalismus: Journalistisches Handeln zwischen kommunikativer Vernunft und mediensystemischem Zwang* [Discursive Journalism: Journalistic action between communicative reason and media-systemic compulsion]. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
4. Welke, M. (1977) Zeitung und Oeffentlichkeit im 18. Jahrhundert [Newspaper and public in the 18th century]. In: Blome, A. & Böning, H. (eds) *Presse und Geschichte* [Press and history]. Muenchen.
5. Samarin, R.M. & Turaev, S.V. (eds) *Istoriya nemetskoy literatury v 5 tt.* [The history of German literature in 5 vols]. Vol. 3. Moscow: USSR AS.
6. Berkovskiy, N.Ya. (1973) *Romantizm v Germanii* [Romanticism in Germany]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
7. Voronenkova, G.F. (1999) *Put' dlinoyu v pyat' stoletiy: ot rukopisnogo listka do informatsionnogo obshchestva. Natsional'noe svoeobrazie sredstv massovoy informatsii Germanii* [Five-century way: from manuscript to knowledge society National features of German media]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
8. Kleist, H. von. (1977) *Izbrannoe. Dramy. Novelly. Stat'i* [Selected Works. Dramas. Novels. Articles]. Translated from German by A. Karel'skiy. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
9. Karel'skiy, A.V. (1992) *Drama nemetskogo romantizma* [The drama of German Romanticism]. Moscow: Medium.

10. Kleist, H. von. (1997) *Saemtliche Werke und Briefe in vier Baenden* [All works and letters in four volumes]. Vol. 4. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.
11. Sembdner, H. (1965) *Berliner Abendblaetter*. Ed. by Heinrich von Kleist. Stuttgart.
12. Serebryakov, A.A. & Serebryakova, S.V. (2013) Intertextuality as the interaction marker of individual author fiction systems. *Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta – Newsletter of North-Caucasus Federal University*. 1 (34). pp. 166–172. (In Russian).

DOI: 10.17223/19986645/44/12

ПАМЯТИ А.С. ЯНУШКЕВИЧА



26 ноября 2016 г. трагически оборвалась жизнь большого ученого, нашего коллеги, учителя, друга, доктора филологических наук, профессора Александра Сергеевича Янушкевича.

Александр Сергеевич был влюблен в слово, в живое слово русской литературы. Эта любовь привела его в 1961 г. на филологический факультет Томского университета. В 1966 г. он с отличием окончил университет и затем в течение двух лет работал учителем русского языка и литературы в Бакчарской средней школе. Впоследствии одна из учениц этой школы защитила под его руководством кандидатскую диссертацию.

А.С. Янушкевич был не только влюблен в слово, но и сам являлся творцом его, слова ученого о русской и мировой литературе и культуре. В 1971 г. он блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности прозаического цикла 30-х гг. XIX в. и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя», а в 1985 г. – докторскую диссертацию на тему «Романтизм В.А. Жуковского как художественная система». Своеобразным прологом к докторской диссертации стало изучение А.С. Янушкевичем совместно с коллегами по кафедре русской и зарубежной литературы библиотеки В.А. Жуковского, хранящейся в фондах Научной библиотеки Томского университета. Вышедшая из печати трехтомная монография «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» стала событием в мире гуманитарной отечественной науки. В 1991 г. за исследование библиотеки

В.А. Жуковского А.С. Янушкевич был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

А.С. Янушкевич был любимым учеником основателя томской филологической школы Ф.З. Кануновой. Их связывали многолетние творческие и дружеские отношения, умение много работать, слушать и слышать друг друга. Именно Ф.З. Кануновой и А.С. Янушкевичу принадлежала идея издания Полного собрания сочинений В.А. Жуковского в 20 томах силами сотрудников кафедры русской и зарубежной литературы. А.С. Янушкевич стал главным редактором и вдохновителем работы над проектом: его требовательность, широта мысли, умение охватить колоссальный материал, самоотверженность в работе стали эталоном высокой гражданской ответственности ученого. К настоящему времени вышло уже 14 томов сочинений поэта, подготовлены 6 томов писем, изданы два сборника «Жуковский: Материалы и исследования».

А.С. Янушкевич отличался поистине рыцарской преданностью и служением филологии. Он автор таких известных монографий и учебных пособий, как «В мире Жуковского», «В.А. Жуковский в воспоминаниях современников», «Германия в зеркале русской словесной культуры XIX – начала XX века», «Образы Неаполя в русской словесности XVIII – первой половины XIX веков», «История русской литературы первой трети XIX века» и др. Эти исследования сделали его имя широко известным в отечественной и мировой науке.

Он всегда и во всем был для нас прежде всего Учителем – и на лекциях, и в диссертационном совете, и на факультете, и на международных форумах. Его присутствие рядом давало ощущение собственной значимости и живой причастности к великой литературе. Его позицией, его мнением во многом определялся уровень мировой науки.

Его любовь к слову отзывалась вдохновенной любовью к нему студентов, учеников, коллег. А.С. Янушкевич был удивительным лектором. Входя в аудиторию, он преображался, и казалось, что ты присутствуешь на спектакле, посвященном его любимым писателям: В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину, Е.А. Баратынскому, Н.В. Гоголю.

У А.С. Янушкевича было много талантливых учеников. Он подготовил 49 кандидатов и 9 докторов наук. Многие из них впоследствии стали его коллегами и близкими друзьями.

В жизни Александр Сергеевич был очень искренним, артистичным, элегантным, эмоциональным и отзывчивым человеком.

Светлая память великому ученому-подвижнику, дорогому учителю и близкому другу!

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностью: *были*.

ALEKSANDR YANUSHKEVICH. IN MEMORIAM

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 6 (44). 167–168. DOI: 10.17223/19986645/44/12

Faculty of Philology, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: filf@mail.tsu.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНИСИМОВ Кирилл Владиславович – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск); вед. науч. сотр. сектора истории литературы Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург).
E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

ГРИЧИН Сергей Владимирович – канд. филол. наук, зав. кафедрой гуманитарного образования и иностранных языков Томского политехнического университета.
E-mail: grichinsergei@mail.ru

ГЫНГАЗОВА Людмила Георгиевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru

ДЕМЕШКИНА Татьяна Алексеевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка Томского государственного университета.
E-mail: demeta@rambler.ru

ЖИЛЯКОВА Наталия Вениаминовна – д-р филол. наук, профессор кафедры теории и практики журналистики Томского государственного университета.
E-mail: retama@yandex.ru

ИВАНЦОВА Екатерина Вадимовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: ekivancova@yandex.ru

КОНДРАТЬЕВА Ольга Николаевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Кемеровского государственного университета.
E-mail: Kondr25@rambler.ru / Olnik25Kemerovo@gmail.com

КРЮЧКОВА Тамара Александровна – канд. ист. наук, гл. библиотекарь краеведческого отдела Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.
E-mail: kruchkova-tamara@yandex.ru

ЛЕПИЛКИНА Ольга Ивановна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой истории и теории журналистики Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).
E-mail: oll5@mail.ru

МЕЛЬНИКОВА Софья Владимировна – канд. филол. наук, гл. науч. сотр. научно-методического отдела Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.
E-mail: memuaristika@yandex.ru

НАГЕЛЬ Ольга Васильевна – канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии Томского государственного университета.
E-mail: olga.nagel2012@yandex.ru

ПЕНСКАЯ Елена Наумовна – д-р филол. наук, руководитель школы филологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
E-mail: lpenskaya@hse.ru / e.penskaya@gmail.com

СЕРЕБРЯКОВ Анатолий Алексеевич – д-р филол. наук, зав. кафедрой отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).
E-mail: aasereb@mail.ru

СЕРЕБРЯКОВА Светлана Васильевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой теории и практики перевода Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).
E-mail: svetla.na@mail.ru

ТУБАЛОВА Инна Витальевна – д-р филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: tina09@inbox.ru

ТУРЫШЕВА Ольга Наумовна – д-р филол. наук, профессор кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: oltur3@yandex.ru

ШЕВЦОВ Вячеслав Вениаминович – д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной истории Томского государственного университета.
E-mail: totleben@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2016. № 6(44)

Редактор *Т.В. Зелева*

Редактор-переводчик *В.В. Каишур*

Оригинал-макет *Г.П. Орловой*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 21.12.2016 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 11,0; усл. печ. л. 14,9; уч.-изд. л. 14,7.

Тираж 500 экз. Дата выхода в свет 30.12.2016 г. Заказ 2304. Цена свободная

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru